

В.Н. ТОПОРОВ

ПУШКИН И ГОЛДСМИТ



Sir Joshua Reynolds

H. Robinson sc.

Oliver Goldsmith.

WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
SONDERBAND 29

В.Н. ТОПОРОВ

ПУШКИН И ГОЛДСМИТ

в контексте русской Goldsmithiana ы
(к постановке вопроса)

WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
SONDERBAND 29

WIEN 1992

WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
SONDERBAND 29
LITERARISCHE REIHE, HERAUSGEGEBEN VON
AAGE A. HANSEN-LÖVE

EIGENTÜMER UND VERLEGER

Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien (Wien)

REDAKTIONELLE MITARBEIT

Anton Sergl

ANFERTIGUNG DER DRUCKVORLAGE

Susanne Desch

REDAKTIONSADRESSE

Institut für Slavische Philologie, Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1, München (Telefon: 06-089-2180-3781)

DRUCK

E. Zeuner
Buch- und Offsetdruck
Peter-Müllerstr. 43,
D-8000 München 50

© Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien
Alle Rechte vorbehalten

ISSN 0258-6835

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вводные замечания

1. Ранние русские переводы Голдсмита. — "английский" комплекс в русской культуре начала XIX века. 7
2. Роль М.Н. Муравьева в ознакомлении русского читателя с английской литературой. 14
3. Карамзин и английская литература. 16
4. Жуковский и Голдсмит ("Опустевшая деревня") 21
5. О роли Жуковского в ознакомлении Пушкина с английской литературой. 31
6. Николай Тургенев и Голдсмит. — Влияние Тургенева на Пушкина (1817-1819). 34
7. "Деревня" Пушкина и "The Deserted Village". — "Вольность": текст "свободы и закона" 42
8. "Деревня" Пушкина и "The Deserted Village": "пейзажный" текст. 54
9. Некоторые итоги и предположения 61

Примечания

64

- Приложение I. Китайская Повесть. Из Английской книги: The Citizen of the world, or Letters from a Chinese Philosopher. — "Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. Октябрь, 1763 года". СПб, 1763, 348-353 100
- Приложение II. О русских переводах естественно-научных работ Голдсмита. 103

Приложение III.	О первом русском переводе "Векфилдского священника".	112
Приложение IV.	О судьбе "Edwin and Angelina" ("The Hermit") Голдсмита в России	124
Приложение V.	Ранняя рецепция комедии Голдсмита "Ночь ошибок" в России. 1. "Ошибки, или Утро вечера мудренее": первый опыт знакомства с драматургией Голдсмита. 2. К вопросу об отношении "Недоросля" к "Ночи ошибок".	138
Приложение VI.	Голдсмит в России в 40-ые годы.	178
Приложение VII.	К русской "англomании" начала XIX века.	187
Приложение VIII.	Страничка из ранней истории русского байронизма (Жуковский и Пушкин: первое знакомство с Байроном).	205
Приложение IX.	Карамзин о деревне.	218

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Насколько своевременно и даже оправдано выдвижение этой темы?

Голдсмит, естественно, не мог знать Пушкина (как и тех писателей в России, которые так или иначе знали английского писателя — читали его, переводили или хотя бы просто упоминали его имя). Сам же Пушкин не переводил Голдсмита, не оставил высказываний о нем и даже, насколько известно, не упоминал его имени в своих произведениях, хотя английской литературой он, бесспорно, интересовался — следил за нею, оставил ряд оригинальных суждений о довольно широком круге писателей (Чосер, Шекспир, Мильтон, Беньян, Оссиан [Макферсон], Вальтер Скотт, Байрон, Соути, Мур, Корнуол и др.), даже переводил (Вилсон, Корнуол, Соути). И вообще Голдсмит и Пушкин, принадлежа разным эпохам, разным культурным традициям, разным литературным направлениям, не обнаруживают в своих сочинениях сколько-нибудь очевидных точек соприкосновения (по крайней мере, в целом и на первый взгляд), которые, собственно, и дают основание для постановки подобных тем. Во всяком случае за одним исключением, о котором будет упомянуто ниже, литературоведение не сформулировало этой темы и, естественно, никак не отразило ее даже в виде отдельных набросков и частных суждений.¹ Подобную ситуацию, если не оправдывает, то объясняет и то, что нам вообще неизвестно фактически, читал ли Пушкин Голдсмита (между прочим, произведения английского писателя отсутствовали и среди книг библиотеки Пушкина).²

И, тем не менее, вопрос о литературных связях Пушкина с Голдсмитом должен быть поставлен. Но решения (или хотя бы приближения к нему) этого вопроса, — едва ли, впрочем, окончательного и даже просто достаточно полного, — следует искать в "невидимой", так сказать (или "маловидимой" и во всяком случае "неофициальной", чаще всего избегаемой литературоведением) части литературы, точнее, литературного обихода, в той окололитературной или "литературно-бытовой" ситуации, где Пушкин мог впервые услышать о Голдсмите, познакомиться с особенностями его творчества и отдельными его произведениями и заинтересоваться ими. Наличие такой ситуации и, следовательно, того, что Пушкин знал и даже — сильнее и определеннее — не мог не знать о Голдсмите, вне всякого сомнения. Но для исследователя творчества Пушкина важнее другое и как раз менее ясное, — отразилось ли это знакомство на самом творчестве русского писателя и может ли оно, хотя бы в малой степени, быть прослежено по текстам пушкинских произведений, прежде всего художественных. И вот здесь,

в этой более ответственной и более специальной области, есть место для определенных сомнений и даже возражений. Сама постановка темы литературных связей Пушкина с Голдсмитом имеет смысл лишь в том случае, если именно в этой области, при всей неясности ее очертаний и ее реального содержания, будут найдены некоторые *конкретные* факты, которые только и образуют основу для формулирования их объясняющих гипотез.

Вопрос о литературных связях Пушкина с Голдсмитом не может быть введен в замкнутые рамки пушкиноведения или исключительно личных вкусов и пристрастий Пушкина. Поэтому названный вопрос составляет лишь часть общей темы усвоения наследия английского писателя русской литературой и — шире — русской культурой и требует для своего решения обозначения *голдсмитовского* контекста в русской литературе на протяжении примерно полувека после первого (по сути дела) знакомства с Голдсмитом в России. Без некоторых определяющих этот контекст с "русской" стороны фигур (Карамзин, Жуковский, братья Тургеневы, особенно Андрей и Николай) уяснение "голдсмитовского" слоя у Пушкина и самого происхождения его становится практически неразрешимой задачей. Не случайно, что тема Пушкина, хотя бы и косвенно, периферийно, потенциально, так или иначе возникает при обсуждении "голдсмитианства" почти всех перечисленных лиц. Их подступы к освоению творчества английского писателя, к созданию "русской" версии Голдсмита были замечены Пушкиным и, по всей вероятности, учтены им в его собственном поэтическом опыте, причем, видимо, довольно рано.

1. РАННИЕ РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ ГОЛДСМИТА. "АНГЛИЙСКИЙ" КОМПЛЕКС В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НАЧАЛА XIX ВЕКА

Сразу же следует сказать, что русский читатель знакомился с Голдсмитом, как правило, с большим опозданием (если не считать нескольких исключений, о которых см. ниже). Впрочем, в истории усвоения английской литературы в России подобные опоздания сначала были довольно обычными, что, однако, не мешало в иных случаях очень увлеченному, даже "горячему" приему запоздавшей литературной моды. Случай Голдсмита, насколько можно судить по заведомо неполным данным и даже по полному отсутствию некоторых других фактов, неизбежно возникающих в случае "моды", был иным. Первые шаги в освоении этого писателя, если и не были вполне случайными, то обычно выглядели таковыми, были неуверенными, несколько вялыми, и они, кажется, не вызвали заметного интереса и тем более не привели к моде на Голдсмита. Во всяком случае на "поверхности" сведений о реакции на переводы Голдсмита очень мало. Ни о какой популярности его в России в течение этого первого полувека знакомства говорить не приходится. В этом отношении судьба Голдсмита не сравнима с тем исключительным успехом, которым пользовались так пленившие душу русского читателя Юнг, Томсон, Грей, Оссиан, или с той известностью, интересом и высокой оценкой, которой были удостоены Мильтон (позже и Шекспир), Поп, Аддисон, из романистов Ричардсон и (в несколько обособленном кругу) Стерн, отчасти Филдинг, позже Вальтер Скотт, особенно Байрон и др. Русский читатель долгое время по незнанию даже не прельщался тем, что Голдсмит проявлял значительный интерес, существенно более серьезный, чем у большинства западноевропейских писателей и мыслителей того времени, к России, ее быту, нравам, истории и политике.³

Тем не менее, *первый* перевод Голдсмита на русский язык, безусловный случайный в отношении выбора автора и достаточно мотивированный и, следовательно, закономерный в отношении темы, появился очень рано, по горячим следам, с небывалой для практики переводов в России того времени оперативностью. 1-го мая 1762 г. выходит из печати отдельной книгой знаменитое сочинение Голдсмита "The Citizen of the World; or Letters from a Chinese Philosopher, Residing in London, to His Friends in the East" (первая публикация имела место в январе 1760 г. в газете Ньюбери "The Public Ledger" и была озаглавлена "Chinese Letters"). И уже в октябрьском выпуске "Ежемесячных сочинений и известий о ученых делах" за 1763 (СПб., 1763, 348-353) появляется перевод неболь-

шого отрывка под названием — "Китайская Повесть. Из Англинской книги: The Citizen of the World, or Letters form a Chinese Philosopher" (имя переводчика не указано, но перевод был сделан, действительно, с английского, и одно это уже выделяет его среди массы переводов английской литературы в России XVIII века, сделанных с французского языка). Перевод этого отрывка в основном соответствует повести о китайской матроне, сообщаемой в письме Лянь Чи Альтанчжи к ***, амстердамскому купцу (Letter XVIII) и заимствованной самим Голдсмитом у Дю Альда (II, 168-174) со значительными изменениями. Русский перевод опускает излюбленную Голдсмитом "национальную" типологию (как любит свою жену англичанин, как голландец и т.п.), открывающую Письмо XVIII. Также не переведено заключительное прощание, кое-что признанно, видимо, слишком специальным (медицинский термин *anastomose*). В ряде случаев перевод чуть педалирует содержащиеся в английском тексте образы и темы, предлагая несколько более "расширенную" версию. В других случаях, наоборот, предлагается некоторое упрощение текста, иногда сопровождаемое незначительными перестановками. В целом перевод достаточно точен, сделан хорошим языком, как правило, легким и естественным; неточностей и следов переработанности оригинала немного. Ввиду того, что этот перевод практически не введен в научный обиход (Ю.Д. Левин в своей работе об английской просветительной журналистике в русской литературе XVIII в., см. ниже, ограничивается лишь общим указанием на то, что в "Ежемесячных сочинениях" был напечатан очерк из "Гражданина мира", 26, ср. также отсутствие сведений об этом переводе на стр. 88-89), при том, что является несомненным достижением в практике ранних переводов с английского на русский и совершенно неожиданным фактом, открывающим русскую Goldsmithiana'y, — текст этого перевода помещен ниже, см. Приложение I. Здесь же достаточно только сказать, что "исключительность" столь раннего внимания в России к Голдсмиту объясняется в данном случае весьма модным в это время и, в частности, в этом издании интересом к Китаю и всему китайскому. В тех же "Ежемесячных сочинениях" за 1764 г. печаталось "Описание путешествие из Китая" (Июль, 3 сл.; Август, 99 сл.; Сентябрь, 195 сл.; Октябрь, 291 сл.; Ноябрь, 387 сл.), переводы с китайского языка (Декабрь, 516 сл.) и т.п.⁴ Именно в этой связи "Письма китайского философа" и привлекли внимание издателей. Разумеется, что вероятный интерес к "Китайской повести" не означал того, что отныне и имя ее автора стало отмеченным для русского читателя западной художественной литературы. Какие-либо отклики на этот перевод отсутствуют или остаются неизвестными.

Поэтому не случайно, что следующие по времени встречи русского читателя с Голдсмитом открыли как бы совсем другого автора, едва ли всеми соотносимого с создателем "китайской повести" (или — позже — "Векфилдского священника"). На этот раз читатель узнал Голдсмита как ученого-естественника, автора ряда научных очерков о разных представителях животного мира. И работы эти печатались в публикациях самой Академии наук или изданиях, осуществляемых ее иждивением ("Академические известия" и "Новые Ежемесячные Сочинения"). Нужно полагать, что очерки Голдсмита вызывали интерес: они неоднократно печатались и отвечали потребности в познании "трех царств природы", столь ярко проявившейся в век Линнея и Бюффона; кроме того, они были написаны просто, живо и увлекательно; для интересующихся через них открывался прямой путь к более сложным, серьезным и оригинальным естественнонаучным трудам. См. *Приложение II*.

Спустя почти четверть века после первого появления перевода из Голдсмита в России произошло как бы новое открытие писателя. На этот раз знакомство состоялось на почве самого знаменитого сочинения этого писателя — его романа о векфилдском священнике ("The Vicar of Wakefield", 1766). Нужно сказать, что появления перевода этого романа ждали и желали: репутация английских романистов этого времени была высокой и в значительной мере опережала в России знакомство с их творчеством. "Желали-бы мы, чтобы преимущественно переводимы были на наш язык больше хорошие и полезные романы, сочинения Рихардсона, Фильдинга, Гольдсмита и сим подобные", — писал рецензент в "Санкт-Петербургском Вестнике" еще в 1778 г. (ч. I 319)⁵. Это пожелание постепенно стало воплощаться в жизнь. В 1786 г. в Москве иждивением типографической Компании был издан русский перевод романа Голдсмита под названием "Вакефильдской Священник, история. Аглинское сочинение", т. 1-2. Перевод был сделан с французского Николаем Ивановичем Страховым, впоследствии известным писателем. Высоко оценивая этот роман, он называет его "образцом сочинений сего рода" и видит заслугу автора в "изъяснении добродетели и отраслей ея". Помимо "живейших чувствований, дел, собственно изображаемых", по мнению переводчика романа, "особенно находящаяся в оном здравья разсуждения, достойны похвал каждого чувствующаго цену изяществ умопроизведения"⁶. Кажется, нет свидетельств о том, как был принят роман в целом русской читающей публикой, но похоже, что заметного резонанса он не получил (впрочем, есть и драгоценные упоминания о знакомстве с романом: семилетним мальчиком, в самом конце XVIII века, С.Т. Аксаков прочитал его, гостя в Чурасове, под Симбирском, у Прасковьи Ивановны, ср.: "Гораздо боль-

ше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большею свободою, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как-то: "Векфильдский священник" [...] — "Детские годы Багрова-внука". В "Воспоминаниях" Аксаков упоминает этот роман среди книг на французском языке, которые выписал для него в казанские гимназические годы его наставник, воспитанник Московского Университета Григорий Иванович Карташевский). Тем не менее, выход романа в свет должен расцениваться как значительное событие русской культурной жизни конца XVIII века, находящееся — не в последнюю очередь — в русле тех духовно-нравственных исканий, которые связаны с новиковским кругом. См. Приложение III.

Следующее издание романа на русском языке состоялось лишь 60 лет спустя, когда о страховском переводе уже никто не помнил. Но эти десятилетия для русской Goldsmithiana'ы не были "темными": читателя в творчестве Голдсмита в это время стали больше привлекать или исторические его сочинения (см. Примечания, 3), охотно и обильно переводившиеся в десятилетие 1815-1825 гг., или его поэзия, именно та часть наследия Голдсмита, которая в первую очередь усваивалась художественным сознанием в начале XIX века и оставила по себе наиболее заметные следы (о переводах двух прозаических отрывков из Голдсмита, появившихся в 1799 г., см. ниже — Примечания, 36).

Впрочем, первые опыты в переводе поэзии Голдсмита относятся к тому же 1786 г., когда Н.И. Страхов перевел стихами песенку, которую исполнила Оливия (факт, ускользнувший от внимания исследователей), и прозой "Элегию на смерть бешеной собаки" (см. Приложение III), а также вошедшую в состав романа балладу — "Баллад", ч.1, 71-77, которая передает текст "A Ballad", обычно называемой "Edwin and Angelina" или "The Hermit" (ср. первый ее стих — *Turn, gentle hermit of the dale...*; разрядка здесь и далее наша — В.Т.), и была прочитана Берчеллом (Г. Борхель страховского перевода) Софье, дочери векфильдского vicar'а. Эта баллада о невероятной встрече двух влюбленных, навек, казалось бы, потерявших друг друга, полная таинственности и неясностей, которые снимаются внезапной кульминацией — узнаванием, привлекла сердца первых читателей, только еще начинавших постигать прелести сентиментальной поэзии. Поэтому неслучайны повторные обращения к этой балладе. Под названием "Эдвин и Ангелина. Баллада (из сочинений Гольдсмита)" она была переведена стихами П.Политковским ("Цветник" 1809, ч. I, январь, №. 1, 49-58), а четыре года спустя появляется новый ее перевод — "Пустынный", сделанный Жуковским ("Вестник Европы" 1813, июнь, 179; перевод был сделан в 1812 г.)⁷; еще через пять лет в том же "Вестнике Европы" (1818 май, ч. XCIX, №. 9, 91-94)

была опубликована любопытная вариация на тему перевода Жуковского, см. Приложение IV. Следовательно, для десятилетия 1809-1818 гг. именно эта баллада представляла русскому читателю почти все, что было известно ему о поэзии Голдсмита (по крайней мере, на поверхности, в выявленном виде). Впрочем, с одним исключением. Еще раньше, в 1805 году, в "Новостях русской литературы" (ч. XIV, 250) появляется стихотворный перевод другого известного голдсмитовского текста ("On the beautiful Youth struck blind by Lightning") — "На молодую красавицу, ослепшую от молнии" (Из Гольдшмида), перевел Усолец (М.С. Шулейников):

*Не в гневе, в милости удар ниспослан тот,
Которым Небеса Лизетту поразили:
Соделавши ее слепую, как Эрот,
Чрез то от участи Нарцисса сохранили*

(в окружении становящихся популярными английских анекдотов, ср. в том же номере: Дети, каких мало бывает. Английский анекдот, 9 сл.; Английские анекдоты, 219 сл.; Взаимная помощь. Английский анекдот, 320 сл. и т.п.).

В том же 1805 году произошло несравненно более важное, хотя до поры и "невидимое" событие в русской Goldsmithiana'e — первое обращение Жуковского к поэзии Голдсмита. В декабре этого года он закончил перевод первых ста стихов поэмы "The Deserted Village", который под названием "Опустевшая деревня" был опубликован почти через век, в 1902 г.⁸ Но этот неопубликованный при жизни Жуковского перевод в известном отношении не был делом одного только переводчика и не был, видимо, беспосредственным фактом русской поэзии даже до его опубликования. Но об этом см. несколько ниже.

Строго говоря, именно этими переводами в основном (см. Приложение V) и ограничивается знакомство русского читателя с Голдсмитом к началу 10-ых годов XIX века⁹, когда появляются первые поэтические опыты Пушкина-лицеиста. При этом, однако, следует помнить, что лучший из переводов ("Опустевшая деревня") не был известен читателю и в удачном случае мог быть достоянием узкого круга друзей Жуковского. С 1814 по 1821 гг. выходят переводы целого ряда исторических трудов Голдсмита, и русский читатель открывает еще одну ипостась в его творчестве — историка, но это открытие едва ли изменило представление о Голдсмите как художнике слова. И только в 40-ые годы XIX в., уже после смерти Пушкина, состоялось более полное и основательное знакомство русской читательской аудитории с Голдсмитом, но эта страница в истории усвоения английского писателя в Рос-

сии находится, строго гоовря, за пределами настоящей работы и может быть обозначена лишь в общем. См. Приложение VI.

Но русские переводы Голдсмита, разумеется, не могут считаться наиболее вероятным источником знакомства Пушкина с творчеством английского писателя. Естественнее и проще было бы видеть такой источник во французских переводах, которые появлялись во Франции в большом количестве и весьма часто. Особенно это относится к "Векфилдскому священнику", первый перевод которого появился уже на следующий год после появления английского издания¹⁰. Тогда же появляются первые статьи о Голдсмите и его романе во французских изданиях. В 1775 г. была предпринята попытка театральной переделки романа (M. de Magnaville). Но особенно популярен "Векфилдский священник" стал с начала 80-ых годов XVIII в. Называют пять изданий этого романа во французском переводе с 1781 по 1789 гг. и шесть или семь — с 1781 по 1803 гг. (за это же время во Франции вышло восемь изданий английского текста). По окончании наполеоновских войн возобновляются переиздания романа на французском и английском языках (1818, 1819, 1821, 1825, 1826, 1828, 1830, 1831 и т.д.)¹¹. Поэтому возможность пользоваться французскими переводами произведений Голдсмита существовала, но была ли она использована Пушкиным, остается неизвестным. Впрочем, очень вероятно, что, даже если ему приходилось держать в руках французские переводы Голдсмита, едва ли они — до поры — привлекли внимание юного поэта и тем более оставили следы в его раннем творчестве. Все, что мы знаем о литературных вкусах Пушкина до окончания Лицея, пожалуй, если не исключает, то делает маловероятной мысль о живом и актуальном интересе Пушкина к Голдсмиту в это время. Похоже, что этот интерес возник несколько позже и на иных путях. При этом, можно думать, внимание Пушкина было привлечено не "Векфилдским священником", а прежде всего поэмой "The Deserted Village"; с меньшей уверенностью приходится говорить о его знакомстве с другой поэмой Голдсмита — "The Traveller; or a Prospect of Society". Роман же Голдсмита мог актуализироваться для Пушкина позже, видимо, в начале 30-ых годов.

Наиболее вероятным стимулом и источником знакомства Пушкина с Голдсмитом нужно считать тот комплекс идей, образов, вкусов и мод, который сложился к началу XIX в. в России в узком круге лиц, непосредственно соприкоснувшихся с достижениями английской культуры, с ее литературой, философскими, социальными и политическими идеями, с "английским" образом жизни, нравами, привычками. Характерно, что именно на два начальные десятилетия этого века приходится и первая (по сути дела) волна "англомании" с ее ориентацией на внеш-

ние проявления "Englishness" ("английская скалдка" или, с несколько иной позиции, "английская дурь", как определял старик Берестов "некоторое сумасбродство" Григория Ивановича Муромского, своего соседа, — то, что воспринималось как чудачество), с поверхностным интересом к либеральным политико-экономическим идеям, которые оставались не реализованными на практике и, по сути дела, уживались с русскими привычками и русским патриотизмом, до поры, однако, отнесенными и приглушенными, см. *Приложение VII*.

Но, естественно, внешней англоманией не исчерпывался интерес к "английскому" в России. Среди лиц, интересовавшихся английской культурой, были люди, которые сами бывали в Англии, завязывали знакомства с деятелями английской культуры (знание английского языка облегчало общение и дополнительно располагало к нему)¹² и, вернувшись в Россию, поддерживали связи со своими английскими корреспондентами или с "путешествующими" англичанами. М. Г. Алексеев в своем фундаментальном исследовании русско-английских культурных связей напомнил о многих страницах этого раннего этапа русско-английского "знакомства" (почти двухлетнее пребывание поэта Василия Петровича Петрова в Англии¹³, появление первых русских студентов в Оксфорде, "Эдинбургский салон" Е. Р. Дашковой, знакомство И. И. Шувалова с Уолполом и т. п.)¹⁴, и сейчас есть достаточные основания, чтобы говорить о новом этапе в развитии этих связей, первые признаки которого ощутимо выявились в 70-80-ые годы XVIII в. Очень показательно, что уже в середине 80-ых годов в предисловии к русскому переводу романа Голдсмита приводится следующий аргумент: "Впрочем всегда примечаемая склонность Россиян к Англичанам и уважение к сочинениям их, не мало могут способствовать одобрению сей книги" (см. ниже).

Среди этих если не первых, то ранних знатоков английской культуры (в том ее аспекте, который раскрывается прежде всего через художественную литературу), становившихся естественными проводниками английских влияний или, по меньшей мере, информации об английской культуре, были люди, которых хорошо знал Пушкин уже в юношеские свои годы или ближайшие друзья Пушкина. В этом круге, который и для Пушкина был своим, сложилась некая устойчивая традиция знакомства с английской литературой, особенно с поэзией, интереса, глубокого уважения и почтения к ней, насчитывавшая ко времени, когда Пушкин впервые познакомился с ней и начал к ней приобщаться не менее 30-40 лет.

2. РОЛЬ М.Н. МУРАВЬЕВА В ОЗНАКОМЛЕНИИ РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ С АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

У истоков этой традиции стоит Михаил Никитич Муравьев (1757-1807), роль которого (не всегда достаточно хорошо видимая или доказуемая) в развитии русской литературы конца XVIII — начала XIX в. была, несомненно, значительной и во всяком случае существенно более конструктивной, чем принято считать. Что же касается места Муравьева в теме русско-английских литературных связей, то оно определяется, во-первых, тем, что на рубеже 70-80-ых годов именно Муравьев, видимо, лучше других в России знал и понимал английскую поэзию, и, во-вторых, тем, что он выступал как наиболее энергичный поклонник "бритской Музы", сумевший передать интерес и любовь в ней во всяком случае в ближайшем его круге — семейном и дружеском — и, вероятно, среди более широкого круга лиц, признававших авторитет Муравьева. В связи с этим еще раз следует привлечь внимание к стихотворению из жанра посланий "Успех британской Музы. К В.П. Петрову", написанному в 1778 г. и опубликованному по автографу почти двести лет спустя¹⁵. В нем важно не столько упоминание отдельных имен (Шекспир, Драйден, Мильтон, Поп, Томсон), сколько представление английской поэзии как некоего самодостаточного целого, особого мира, как-то сопряженного с великой литературой классической древности (*Тамизы любят брег аттические музы / И сладость льют свою в британские слова. / Слепец, другой Гомер, свергает смертны узы / Мильтон, чтоб созерцать сиянье божества*). Стихотворение свидетельствует о живой и личной заинтересованности автора в упоминаемых английских поэтах, с каждым из которых связывается нечто индивидуальное (в данном случае едва ли существенно, что кое-что в послании Муравьева прекликается с соответствующими характеристиками этих поэтов в английской и французской печати того времени). Наконец, выдвижение некоторых фигур для русского читателя 70-ых годов XVIII в. было новостью, ср. отчасти Шекспира (*Как некий сильный волхв, он действует над миром. / Неправильно велик, мечты любимый сын, / Владыка британских сцен, зовомый Шекеспиром. / Природы дар его устав [...]*) и особенно Томсона. Упоминание и характеристика последнего (*Что есть прекраснее Томсоновых картин, / Где видим рай весны или стихий раздоры / И ту счастливую сень [...]* и далее¹⁶) до появления самых первых русских переводов этого русскому читателю вовсе неведомого поэта, беспорно, делают честь Муравьеву, как бы предсказавшему период бурного увлечения поэзией Томсона в России. Почувствовать в 70-ые годы в России прелесть "Времен года" мог только

тонкий ценитель поэзии и поэт, творческой фантазии которого уже предносились образы близкие к картинам, рисуемым Томсоном¹⁷, которым был Муравьев, горячий поклонник Ломоносова.

Разумеется, Муравьев переоценил адресата своего послания — и его познания в области английской поэзии и тем более его вкусы. В увлечении молодости Муравьев поддался соблазну-иллюзии увидеть в В.П. Петрове человека, любящего то же (и так же) в английской поэзии, что и он сам, но обладающего перед ним преимуществом непосредственной и личной прикосновенности к английской жизни. В этом Муравьев, безусловно, ошибся, и, возможно, вскоре он сам понял свою ошибку и отказался от публикации своего послания. Но сама эта ошибка оказалась диагностически очень важным свидетельством формирования новых эстетических вкусов и соотносимых с ними образов, которыми на относительно протяженный период суждено было стать ряду английских поэтов (Юнг, Томсон, Грей и др.). К этому процессу Петров не имел отношения, и поэтому прав М.П. Алексеев, когда пишет, что "на английскую поэзию они [Муравьев и Петров — В.Т.] несомненно смотрели разными глазами"¹⁸. И Муравьев, никогда не бывавший в Англии, вернее и тоньше определил лучшее и новое, обещающее богатые плоды, в произведениях "бритской Музы", нежели Петров, о котором он писал, что "заметно по его [Петрова — В.Т.] образу мыслить и чувствовать, что он жил в Англии"¹⁹. То, что удалось почувствовать Муравьеву в избранных им английских авторах, через 10-15 лет стало определяться как позиция наиболее чутких ценителей и знатоков, распространяемая и за пределы отмеченного Муравьевым круга²⁰.

3. КАРАМЗИН И АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Эта позиция, связанная с самоопределением русского читателя и соответствующего художественного сознания в отношении английской литературы, проявилась в выборе английских авторов, переводимых на русский язык, и — более непосредственно и остро — в оценках Карамзина, прежде всего, если говорить о раннем периоде его творчества, в стихотворении "Поэзия" (с подзаголовком: сочинена в 1787 г.) и в соответствующем месте "Писем русского путешественника"²¹. То из послания Муравьева об английской поэзии, что не было, видимо, воспринято непосредственно адресатом, как бы "услышал" Карамзин. Мог ли Карамзин знать текст "Успеха британской Музы" в рукописи или, скорее, в списках, сказать трудно. Когда Карамзин в 1785 г. вернулся в Москву, Муравьев жил в Петербурге, сначала будучи на военной службе, а с ноября этого же года — как "кавалер" великого князя Константина Павловича, а затем и наставник будущего царя Александра I. Хотя реальную возможность личных контактов Карамзина с Муравьевым во второй половине 80-ых годов исключать нельзя (Муравьев в эти годы бывал в Москве), знакомство Карамзина с неопубликованным текстом послания Муравьева, если оно, действительно, было, вероятно, имело место на иных путях, и конечно, прежде всего нужно думать о возможных посредниках. Фигура Н.И. Новикова в этом амплуа представляется очень вероятной — тем более, что он был теснейшим образом с конца 70-ых годов связан с Муравьевым, а с середины 80-ых — с Карамзиным.

Сам поиск возможностей объяснения связей между Карамзиным и Муравьевым в это время вызван теми параллелями, иногда весьма далекоидущими, которые обнаруживаются в характеристиках английских поэтов — прежде всего в "Успехе британской Музы" и в "Поэзии" (а позже и в "Письмах русского путешественника").

Несколько таких параллелей, вплоть до совпадений, заслуживают указания, *Что есть прекраснее Томсоновых картин*, поддержанное фрагментом "Но ничто не может сравниться с сельскими картинами Томсона, [...], который в поэме своей *Годовые времена* [...] представляет неподражаемым образом величество природы" ("О пастушеском стихотворстве"), находит соответствия и у Карамзина: *Природу возлюбив, Природу рассмотрев / И вникнув в круг времен, в тончайшие их тени, / Нам Томсон возгласил Природы красоту, / Приятности вермен [...]* | *О Томсон! ввек тебя я буду прославлять!* ("Поэзия") и особенно: "По сие время ничто еще не может сравняться с Томсоновыми *Временами года*; их можно назвать

зеркалом Натуры. [...] а Томсона сравню с какимнибудь Швейцарским или Шотландским охотником, который [...] смотрит вокруг себя, и что ему полюбитя, что Природа вдохнет в его душу, то изображает карандашом на бумаге [...]»²² ("Письма русского путешественника" 151,368). Вообще весь соответствующий отрывок из "Писем", озаглавленный "Литература" и так же, по сути дела, повествующий об "успехах британской Музы" ("Литтература англичан, подобно их характеру, имеет много особенностей, и в разных частях превосходна. Здесь отечество живописной Поэзии (Poésie descriptive) [...]"), обнаруживает довольно близкое следование соответствующим высказываниям Муравьева. Сам набор поэтов (Томсон, Мильтон, Драйден, Шекспир) совпадает с тем, что представлен в "Успехе британской Музы"²³. Едва ли случайна у обоих писателей возникающая здесь тема античности и специально Гомера. Благосклонность "аттических муз" к английской поэзии, наличие в ней "гомеровского" начала (*другой Гомер*, о Мильтоне), упоминаемые Муравьевым²⁴, получают более подробное объяснения у Карамзина: "В Английских Поэтах есть еще какое-то простодушие, не совсем древнее, но сходное с Гомеровским" (ср. также тему Омара в "Поэзии"). Во многом близки и конкретные характеристики писателей: "Самым же лучшим цветком Британской Поэзии считается Мильтоново описание Адама и Евы [...]" или отчасти *Мильтон, высокий дух [...]* / Он душу веселит, когда поет Адам ("Поэзия") у Карамзина — при: *Только небесный певец, единый Мильтон то умеет: / [...]* / И серафимов собор показать Адаму вокруг Евы ("Роца", 1777) у Муравьева²⁵. Особенно показательны переклички в характеристиках творчества Шекспира, хотя у Карамзина они даны существенно подробнее и с большой художественной силой (в "Поэзии"). Поэтому здесь достаточно указать некий остов образа Шекспира в "Успехе британской Музы" и параллели к нему у Карамзина:

Как некий сильный волхв, он действует над миром.
Неправильно велик, мечты любимый сын,
Владыка британских сцен, зовомый Шекспиром.
Природы дар его устав ...

И соответственно: "Величие, истина характеров [...] будут всегда их [драм Шекспира. — В.Т.] магиею [...]. Он есть любимый сын богини Фантазии. [...] у Англичан один Шекспир! Все их новейшие Трагики только-что хотят быть сильными [...]" ("Письма" 151,368-369); — "Напротив того, Шекспировы произведения уподоблю я произведениям Натуры, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности; которые с неописанною силою

действуют на душу нашу ..." ("Московский журнал", 1791, ч.3, 95, рецензия на постановку "Сида"); — Шекспир, *Натуры друг! Кто лучше твоего / Познал сердца людей? [...]* ("Поэзия") и др.

Смысл указания этих переключек и параллелей в том, чтобы подчеркнуть идею *преемства* в освоении английской литературы в России конца XVIII в. и показать, что уже в 80-ые годы был заложен тот фундамент знаний об английской литературе, ее оценок и характеристик, к которому как к источнику прибегали и русские читатели английской литературы, и русские писатели, так или иначе воспринимавшие влияния, исходящие от нее. Поэтому здесь достаточно обозначить лишь самые основные пункты темы.

Начиная с 80-ых годов (и во всяком случае после возвращения в Москву) именно Карамзин быстро становится ведущей фигурой русско-английских литературных связей. Он не просто заметил и оценил дотоле мало известную (и отчасти даже "экзотическую") русскому читателю английскую литературу (как Муравьев), но *о с о б о* выделил ее среди других, в том числе французской и немецкой, отдав именно ей, если не исключительное, то бесспорное предпочтение — *Британия есть мать поэтов величайших*. В конце XVIII в. для русской культурной аудитории подобное утверждение звучало дерзостью, и, нужно думать, эта дерзость была сознательной, эпатирующей и провоцирующей к обсуждению самого этого тезиса и к знакомству с английской литературой. Познания Карамзина в английской литературе вызывают удивление: ничего подобного или хотя бы сравнимого с этим не было известно в России ни до Карамзина, ни в его время (во всяком случае в конце XVIII в.). Круг авторов был достаточно широк (Оссиан, Шекспир, Мильтон, Драйден, Поп, Аддисон, Юнг, Томсон, Грей, Филдинг, Голдсмит, Стерн, Вальтер Скотт, Робертсон, Юм, Гиббон и др.)²⁶, сведения о них и прежде всего об их произведениях относительно разнообразны, подход к авторам и их трудам весьма дифференцирован (явное предпочтение отдавалось Шекспиру, Томсону, Стерну, также Оссиану, Мильтону, Юнгу, Филдингу), начитанность в текстах на английском языке весьма обстоятельна. Но, пожалуй, основным, что отличало "карамзинский" период в истории русско-английских литературных связей от предшествующего и ряда последующих, была та атмосфера напряженного и радостного постижения английской поэзии, вчувствование в нее и такого увязывания ее с жизнью, когда сама жизнь начинает соотноситься с духом и образами этой поэзии, и границы между *Dichtung* и *Wahrheit* становятся не всегда различимыми²⁷. Об этой атмосфере можно догадываться по отдельным описаниям самого Карамзина, письмам его друга А.А. Петрова, с

которым он жил вместе в 1785-1789 г. и который, видимо, сильно способствовал приобщению Карамзина к английской литературе, был его собеседником — критиком, полемистом и вдохновителем одновременно²⁸. Чтение английской литературы²⁹, обсуждение прочитанного и беседы на литературные темы, переводы (нужно напомнить, что в 80-ые годы Карамзин пробует себя в переводах из Шекспира и Томсона), наконец, попытки собственного творчества в "английской" манере (*Шатающаяся по рощам, / Внимая Филомеле, / Я Томсоном быть вздумал / И петь золотое лето...*)³⁰ — все это и было содержанием "карамзинского" периода в русско-английских литературных связях, его днями и ночами, буднями и праздниками.

Высокая оценка Карамзиным английской литературы не только привлекла внимание к ней русских читателей, но и в известной степени предопределила их вкусы и на последующие годы. Личное знакомство Карамзина с Англией (хотя и более короткое, чем можно было бы думать по "Письмам русского путешественника") и прижизненное (при этом довольно раннее) издание переводов его произведений в Англии³¹ делали суждения Карамзина об английской литературе еще более авторитетными. Во всяком случае они высоко ценились и ими очень дорожили, даже испытывая некоторую неудовлетворенность ими³².

Но и эта неудовлетворенность, а позже и несогласие с взглядами Карамзина в поколении детей ближайших друзей писателя (сыновья Михаила Никитича Муравьева³³, будущие декабристы, сыновья Ивана Петровича Тургенева, земляка Карамзина, сыгравшего такую большую роль в его жизни, особенно Андрей и Николай, дружеский круг этих молодых людей), как и согласие с Карамзиным в поколении его сверстников, не говоря уж о более сложных формах отношения к мнениям Карамзина, в частности об английской литературе и Англии в целом, — прямо или косвенно свидетельствовали о роли Карамзина в этом вопросе и — не в последнюю очередь — о сильной зависимости многих среди друзей Карамзина в его собственном и следующем поколении от его оценок. Все, что упоминалось Карамзиным и оценивалось им, в этом круге не проходило даром. И поэтому, в связи с темой статьи, существенно что Карамзин не обошел своим вниманием и Г о л д с м и т а ³⁴.

Читатель "Писем русского путешественника" не мог не обратить внимания на малоизвестное ему имя Годсмита, дважды появляющееся в этой книге — в начале путешествия ("Возвратясь в Лейпциг, зашел я в книжную лавку и купил себе на дорогу Оссианова Фингала и Vicar of Wakefield" «31», 68) и в самом конце его, где описывается Вестмин-

стерское Аббатство и его усыпальница. Осматривая этот "храм бессмертия", Карамзин останавливается у могил дорогих ему поэтов — Шекспира, Мильтона, Драйдена, Томсона, Грея и др. В этом ряду упоминается и Голдсмит: "Автор *Вакефильдского Священника, Запустевшей деревни и Путешественника*, Голдсмит расхвален до крайности «Он был великой Поэт, Историк, Философ; занимался почти всяким родом сочинений, и во всяком успевал; владел нежными чувствами, и по воле заставлял плакать и смеяться. Во всех его речах и делах обнаруживалось редкое добродушие. Ум острый, замысловатый и великой вливал душу, силу и приятность в каждое слово его. Любовь товарищей, верность друзей и уважение читателей воздвигли ему сей памятник»" («154», 375-376)³⁵. Особенно важно, что Карамзин называет основные сочинения Голдсмита, привлекая к ним внимание читателя. К восприятию романа русская читательская публика в это время явно еще не была подготовлена (к тому же роман был уже переведен на русский язык, и нет почти никаких сведений о том, что им заинтересовались). Решительное преобладание интереса к поэзии вообще, определенная традиция восприятия английской поэзии XVIII в. (Юнг, Томсон, Грей и др.), наконец, "преромантическая расположенность и складывающиеся соответствующие вкусы обусловили то, что именно две названные Карамзиным поэмы (и особенно "The Deserted Village") прежде всего были замечены русскими читателями среди других произведений Голдсмита. И, по сути дела, с первых лет XIX века начинается постепенное знакомство с Голдсмитом-поэтом³⁶.

4. ЖУКОВСКИЙ И ГОЛДСМИТ ("ОПУСТЕВШАЯ ДЕРЕВНЯ")

Особая роль в ознакомлении русского читателя с поэзией Голдсмита принадлежала Жуковскому. Но, если перевод баллады "Edwin and Angelina" ("The Hermit") почти сразу же стал достоянием читателей и очевидным фактом русской литературы (см. Приложение IV), то почти сто лет остававшийся неопубликованным частичный перевод "The Deserted Village" долгое время был скрытым фактом русской литературы, не став своевременно достоянием читательской аудитории.

Теперь почти не приходится сомневаться, что своим знакомством с Голдсмитом Жуковский был обязан семье Тургеневых, в которой английского писателя не только почитали, но и любили, увлекаясь его произведениями. Это отношение к Голдсмиту было присуще и Ивану Петровичу Тургеневу (видимо, и его ближайшему окружению), и его детям, особенно Андрею, который, скорее всего, и познакомил Жуковского с творчеством Голдсмита и уж во всяком случае побуждал своего друга к занятиям им. Весной 1802 г. Андрей Тургенев обещает прислать Жуковскому "поэзию" Голдсмита ("Естьли есть здесь поэзии Голдсмита, то ты непременно получишь их", — пишет Андрей Тургенев Жуковскому в письме, написанном около 15 мая 1802 г., см. Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. Публикация В.Э. Вацуро и М.Н. Виролайнен. — В кн.: Жуковский и русская культура. Сборник научных трудов. Л., 1987, 408, № 36). Можно предположить, что именно тогда Жуковский и познакомился с этой "поэзией", остановив свое внимание прежде всего на "The Deserted Village". Такое предположение объясняет вопрос, обращенный к нему Андреем Тургеневым в письме из Вены от 26 ноября (7 декабря 1802 г.: [что делает твой Deserted village?" в указанной выше недавней публикации — несколько иной вариант] 417, № 40): "Что твоя "Deserted Village"? Что делает "Российский Геркулес"? ИРЛИ, ф. 309, № 4759). Принятие первого предположения позволяет выдвинуть и второе, объясняющее, почему перевод "The Deserted Village" не был выполнен тогда же, в 1802 году, но был отложен до декабря 1805 года³⁷ и при этом выполнен лишь частично. Нужно полагать, что непосредственное обращение к переводу этой поэмы Голдсмита в 1802 г. было невозможно потому, что с мая по сентябрь этого года Жуковский работал над "Сельским кладбищем", элегией, являющейся переводом из Грея и посвященный Андрею Тургеневу. Работа над нею началась раньше, еще в 1801 году; перевод был показан Карамзину, который посоветовал переработать его; совет был принят, несколько месяцев потрачено на переработку, и, наконец,

перевод увидел свет в декабрьском номере "Вестника Европы". В этих условиях взяться за перевод "The Deserted Village" было, конечно, невозможно — тем более, что в известных отношениях "элегическая" часть этой поэмы, наиболее привлекавшая Жуковского и в конце-концов им только и переведенная позже, довольно сильно напоминает некоторые места "Греевой Элегии". Не исключено, что в какой-то момент перед Жуковским даже встал вопрос о выборе между этими двумя английскими элегиями; возможно даже, что были сделаны пробные переводы некоторых мест из "The Deserted Village", о чем могли бы свидетельствовать отдельные фрагменты в переводе 1805 года, обнаруживающие в "непереработанном виде ту же стилистику, которая определяет характер "Сельского кладбища"³⁸.

Эта смежность "Опустевшей деревни" и "Сельского кладбища" во времени и в стилистике, использованной Жуковским в переводах этих произведений, сильно предопределила дальнейшую судьбу замысла перевода поэмы Голдсмита и самого текста частичного перевода. Появление "Сельского кладбища" на русском языке означало освоение русской поэзией некоей весьма авторитетной версии элегического жанра и соответствующей стилистики. Признание публикой этого основоположного опыта нужно расценивать, как то, что и она усвоила принципы этой новой для нее жанрово-стилистической системы. В этих условиях Жуковский, видимо, не мог пойти на повторение, а известный нам вариант частичного перевода "Опустевшей деревни", сильно "элегизированный", лишенный сюжета и существенно приглушивший социальный пафос подлинника, несомненно, выглядел бы своего рода повторением или, по меньшей мере, близкой вариацией уже сделанного. В этой связи уместно выразить несогласие с недавно высказанной точкой зрения, согласно которой "перевод «Опустевшей деревни» выполнен с наибольшей степенью близости [разрядка наша. — В.Т.] к оригиналу, возможной для уровня переводческой теории и практики того времени"³⁹. Признавая, что этот перевод, действительно, обладает, подобно многим переводам Жуковского, "самостоятельной ценностью в истории русской поэзии"⁴⁰, нужно все-таки подчеркнуть, что для текста элегического характера, лишенного сюжета, пространство которого позволяло бы компенсировать отклонение от подлинника, по крайней мере, на этом уровне, степень близости и точности русского текста по отношению к английскому не велика⁴¹. Бесспорно, что "Сельское кладбище" в варианте 1802 г. (не говоря уж о версии 1839 г.) несравненно точнее передает смыслы, образы и форму (строфика, распределение содержания по стихам и т.п.) английского текста.

Отклонения русского перевода от поэмы Голдсмита знаменательны и достаточно многообразны: опущение ряда образов английского текста, замена их другими, не имеющими себе подобия у Голдсмита, введение целого ряда новых ("своих") образов и мотивов (*согбенный дуб с дерновою скамьей; скромны сельски домы*, добавления в описании вечерних забав поселян: *спорный бег, стрельба в далеку цель, отважные скачки, хор песней, гул рогов, живость стариков за чашей круговой* и т.п.) или уточняющих характеристик⁴². Эти отклонения касаются не только сферы "рационального", предметно-образного, но и сферы "экспрессивного"; ср., с одной стороны, эмфатизацию за счет отсутствующих в английском тексте приемов, особенно в начале стиха (ср.: *Где игры поселян... / Где пышность и краса ... Где счастье? где любовь ...; Где золото множится ...; Где дни, о Альбион...; Где прежде нив моря...; Где роши и холмы...; Там ныне хищников... Там все под грудами... / Там муками сует... / Там роскошь посреди...; Где вы, прелестные?.. или: О родина моя, Обурн благословенный; / О сени счастья...; О сладостный Обурн!..; О родина моя, о сладость прежних лет! / О нивы, о поля... / О виды скорбные развалин... и т.п.), а с другой стороны, дополнительную гармонизацию по сравнению с английским текстом путем введения отсутствующих в подлиннике однородно-параллельных элементов — от отдельных слов до фраз; причем некоторые из них выступают как места введения или концентрации "лично-биографического", связанного с русскими реалиями и с самим Жуковским⁴³.*

Среди отклонений русского перевода от подлинника следует упомянуть еще два, которые оказываются диагностически важными. Прежде всего 100 стихам Голдсмита соответствует 115 стихов русского текста. Это нарушение "соразмерности" переводимого и переводящего следует признать значительным (~13%). Не менее важно и другое — переводчик не чувствует себя "жестко" связанным с необходимостью соблюдать соразмерность по принципу "стих к стиху". И здесь, в отличие, например, от "Сельского кладбища" в варианте 1802 г. принцип нарушается не потому, что переводчик в данном конкретном месте не смог быть верным ему, но рассчитывал компенсировать это отклонение в ближайших же стихах, но именно в силу установки на более "свободное" и частичное следование подлиннику. Подобная ситуация очень напоминает ту, которая позникла в связи с первой (1801 г.) версией перевода "Сельского кладбища", возвращенной Карамзиным переводчику и переработанной вскоре последним. Напрашивается предположение, что и дошедший до нас текст перевода "Опустевшей деревни" не был для Жуковского окончательным, что он, возможно, надеялся, во-первых,

перевести "The Deserted Village" до конца⁴⁴ и, во-вторых, переработать его, как он переработал в свое время "Сельское кладбище". Возможные намеки на планы возвращения к Голдсмиту и именно к переводу "The Deserted Village" можно видеть в записях, которые делал Жуковский на книгах, ему принадлежащих. Так, в книге, представляющей собой немецкое издание "Потерянного Рая", на нижнем форзаце и нижней обложке книги сделана запись, в которой перечисляются авторы (иногда и их произведения) предполагаемых, видимо, переводов (такие списки-планы Жуковский любил составлять в течение всей своей жизни. Начало списка выглядит так:

- Из Мильтона
- - Шекспира — Макб<ет>. Отелло.
- - Томпсона —
- - Попа
- - Г о л ь д с м и т а. Desert<ed> vill<age>⁴⁵

(этот список был составлен не ранее 1819 года, что подтверждает устойчивость интереса Жуковского к этой поэме).

К 1810 г. относится запись Жуковского на обороте нижнего форзаца книги И.-Г. Эйхгорна "Всеобщая история культуры и литературы новой Европы"; в этой записи дается список источников для собственного балладного творчества:

Для баллад

Persi reliques

Немецкие баллады

Шиллер

Бюргер

Пфэффель⁴⁶

Г о л ь д с м и т

Walter Scott

Наконец, читая "Опыт риторики" И.С. Рижского (М., 1809), Жуковский делает запись на нижнем форзаце, подтверждающую его постоянный интерес к тому, что он называл "слог":

Некоторые способы слога Образцы мысли

————— слов

————— предл<ожений>

Слог

Боссюэт

Шиллер

Фильдинг

Фенелон
Монтань
... 47.

Гете
Лессинг

В. Скотт
Гольдсмит

И еще одно соображение в пользу не только очевидной незавершенности русского перевода поэмы Голдсмита, но и намерения Жуковского продолжить работу над текстом. Оно основано на заглавии — "Опустевшая деревня", соответствующем английскому названию, но странным образом не подкрепленном в тексте русского перевода. Всюду, где в английской поэме стоит слово *village*, очень важное для Голдсмита и особенно в связи с темой разорения и запустения деревни, русский перевод избегает его вовсе или прибегает к малоудачным заменам, ср. *Sweet Auburn! loveliest village of the plain... — О р о д и н а моя, Обурн благословенный!*; *And all the village train, from labour free... — Все жители села [под древний вяз стекались]; These were thy charms, sweet village! sports like these... — Вот прежние твои утехи, мирный край!*; *Sweet smiling village, loveliest of the lawn — О р о д и н а моя, о сладость прежних лет!* — Объяснять эту несогласованность тем, что слово *деревня* с трудом ложится в избранную метрическую схему, разумеется, можно, но в завершённых переводах Жуковский, как правило, избегал таких несоответствий, находя удовлетворительные решения. Вместе с тем слово *родина* (не *деревня!*), вступаая в связь с мотивом опустения, разорения конкретного места — крестьянских жилищ и угодий, — препятствовало адекватной передаче этой темы в поэме Голдсмита.

Наконец, существовали, видимо, особые причины, чтобы не продолжать дальше работу над переводом. Та часть поэмы Голдсмита, которая осталась в не перевода, была, вероятно, с точки зрения Жуковского, излишне "социально-конкретной" и относительно далекой от его умонастроения и в 1805 году и особенно в 1813-1814 годах и на рубеже 10-ых и 20-ых годов, когда перед русским поэтом, видимо, возникал вопрос о продолжении перевода. Кроме того, после того как был написан "Пловец" и, положенный на музыку А.А. Плещеевым, исполнен Жуковским для Маши Протасовой, после имевшего вслед за этим место объяснения с матерью Маши Екатериной Афанасьевной и вынужденного отъезда из Муратова, новые настроения и чувства определяли топику и образы поэзии Жуковского этого ответственного в его жизни периода. Именно в эти годы актуализируется образ *с т р а н - н и к а*, одинокого и бесприютного в этом мире (соответственно и тема странничества, путешествия, плаванья "в океане неисходимом")⁴⁸, к которому задним числом подключаются и более ранние опыты обраще-

ния к этой теме, еще не осложнявшиеся в такой степени, как теперь, личными переживаниями⁴⁹.

К этим опытам, несомненно, принадлежит и перевод "Опустевшей деревни", в особенности последней строфы в русском тексте (она соответствует предпоследней строфе того фрагмента "The Deserted Village", который был переведен Жуковским). Возможно, не случайно, что тема странничества была сделана русским поэтом заключительной в переводе и, следовательно, особенно отмеченной. Точно так же, видимо, больше чем случайность, то, что Жуковский придал этой теме более отчетливый конкретно-личный характер — действитель вместо действия, прямое я, введение мотива одиночества-уединенности. Ср. голдсмитовское *In all my wand'rings round this world of care...* в "усиленном" переводе Жуковского — Я в свете странник был, пещец уединенный!" (ср.: *Увы! отчуждены от родины своей! / Далеко странствуют! Их путь среди степей! / Их бедственный удел — скитаться без покрова!...* вне опоры выделенных слов-мотивов в английском тексте, если не считать: *Far, far away, thy children leave the land*). В этом контексте оказывается, что те строки из поэмы Голдсмита, которые у Жуковского стали концовкой, —

Так мнил я, переждав изгнанничества срок,
Прийти, с остатком дней, в свой отчий уголок!
О дни преклонные в тени уединенья!
Блажен, кто юных лет заботы и волненья
Венчает в старости беспечной тишиной!..⁵⁰ —

послужили в дальнейшем основой для поэтической мифологемы благого, счастливого исхода странствия — увенчания, блаженства, конечного и окончательного приюта здесь — и в более поздних разработках этой темы, в частности, в "Пловце" и особенно в "Теоне и Эсхине".

Последнее стихотворение Жуковского в данной связи важно в двух отношениях: с одной стороны, оно, несомненно, связывалось для русского поэта преемственной цепью с темой ухода, расставания с родиной и запоздалого возвращения на родину, в "The Deserted Village" (и отчасти, в "The Traveller" того же автора⁵¹); с другой стороны, оно и именно оно предлагает совершенно самостоятельную и тоже "углубленную" разработку темы в художественном и философско-нравственном, почти религиозном, планах (*Все в жизни к великому средство*). И в том и в другом случае, активно или пассивно, как образец, к которому стремятся, или норма, которую нужно преодолеть, Голдсмит своей поэмой оказывался существенной точкой притяжения-отталкивания в

творчестве Жуковского определенного периода. Забывать об этом нельзя — тем более, что об этом пронизательно (хотя и очень кратко) писал Веселовский уже много лет назад: "[...] в это же время он возвращается [...] и к темам расставанья: баллады 'Эльвина и Эдвин' [...], 'Алина и Альсим' [...], 'Эолова арфа' [...], все говорят о двух любящих, разлученных отцом или матерью, [...]. Между 10-м и 24-м октября написан и 'Теон и Эсхия' на тему, знакомую сентиментальной поэзии; тему Гольдсмитовых 'Deserted Village' и 'Traveller', которые в период 'Вертера' читал Гете; 'Опустевшую Деревню' принимался когда-то переводить Жуковский. Счастье дома, нечего гоняться за ним по свету, чтобы, вернувшись, пожалеть о том, что было так близко, так возможно. У Жуковского странствует за счастьем Эсхин и не находит его, но и Теон, оставшийся о очага, ограничил счастье — воспитанием сердца [...]"⁵².

Некоторая смазанность границ между текстами "The Deserted Village" и "The Traveller" или, точнее, наличие в обеих поэмах некоего общего фонда мотивов, образов и способов их выражения, о чем уже мельком упоминалось, способствовала тому, что и в русской культурной традиции оба этих произведения склонны были рассматривать вместе, как бы заодно, не проводя между ними слишком отчетливых границ. Во всяком случае подобный взгляд, кажется, был присущ Жуковскому. Именно поэтому в переводе "Опустевшей деревни" время от времени (иногда и в ключевых местах) появляются образы или слова, отсутствующие в "The Deserted Village", но обнаруживаемые в "The Traveller". Прежде всего это относится к центральной фигуре — к субъекту рассказа, выступающему в английском тексте первой из названных поэм только как я (я), которое в русском переводе конкретизируется и уплотняется как *странник* (также *пешец уединенный*) — слово, отсылающее к названию "The Traveller" и центральному образу этой поэмы (ср. так же *stranger*, стихи 4, 16, 21, как бы помогающее актуализации сходного фонически русского слова — *странник*, ср. особенно: *...Against the houseless stranger shuts the door*⁵³. Мотив уединенности — одиночества, реализуемый, в частности, в атрибуте странника-пешца (эпитет *уединенный*), также находит свои преимущественные аналогии не в "The Deserted Village"⁵⁴, но в "The Traveller", ср.: *My fortune leads to traverse realms alone, / And find no spot of all the world my own*, ср. *solitudes* в следующем стихе, и отчасти даже в открывающем поэму и сразу задающем ей основную идею стихе: *Remote, unfriended, melancholy, slow... и далее: Where 'er I roam, whatever realms to see...*

Это последнее место, будучи рассмотренным в более широком контексте, подтверждает предположение о достаточно хорошем знании

английского текста "The Traveller" Жуковским уже к началу 1806 года, когда началась работа над "Вечером" (май-июль 1806 г.; напечатано — Вестник Европы 1807, февр., 278 — с добавлением: "Белев 1806 года. В июле. В. Ж-ий"). Поэт придавал этому стихотворению особое значение, и действительно, в ранний период его творчества именно "Вечер" должен быть признан лучшим и наиболее значительным из оригинальных стихотворений Жуковского, подтвердившим его славу как поэта. Для самого Жуковского в этом произведении было скрыто много личного, переживаемого, но еще не всегда пережитого. Внутренне для поэта "Вечер" был связан с Андреем Тургеневым. В раннем плане стихов о весне (будущий "Вечер") Жуковский набрасывает среди прочего: "Разрушение и жизнь — А... краткость его жизни — гроб его — надежда пережить [...] (ГПБ, рукописн. отд. Б № 12, л. 51)⁵⁵. И мечтания в час вечера "над тихой юноши могилой" в заключительном стихе, конечно, о нем, об Андрее Тургеневе. Память о нем влечет за собой воспоминания и о других друзьях прошедших дней — *Где вы, мои друзья, вы, спутники мои? / Ужели никогда не зреть соединенья?...*

В этом контексте особенно значимо присутствие в этом стихотворении несомненных переключек с отдельными стихами из "The Traveller" того самого Голдсмита, с которым именно Андрей Тургенев познакомил, видимо, Жуковского и переводить которого он убеждал его. Прежде всего речь идет об общей экспозиции. Субъект обоих текстов находится в одиночестве, в разъединении с друзьями (*unfriended* и *Где вы, мои друзья...; И где же вы, друзья?...*), но мыслью, воспоминаньем обращается к тем временам, когда все были вместе (*К протекшим временам лечу воспоминаньем...*) и испытывает чувство благодарности за то, что *было*, усиливающееся и углубляющееся от сознания своей собственной судьбы — быть странником, скитальцем в мире. Начальные строки поэмы Голдсмита, обращенные к его брату Генри, избравшему священнический жребий, естественно могли напомнить русскому поэту о его преждевременно умершем друге, которого он тоже считал своим братом⁵⁶, и послужить некоей "внешней" основой для соответствующей части "Вечера". Ср.:

Where 'er I roam, whatever realms to see,
 My heart untravell'd fondly turns to thee;
 Still to my brother turns, with ceaseless pain,
 All drags at each remove a lengthening chain.
 Eternal blessings crown my earliest friend,
 All round his dwelling guardian saints attended;
 Blest be that spot, where chearful guests retire

To pause from toil, and trim their ev'ning fire;
 Blest that abde, where want and pain repair,
 And every stranger finds a ready chair;
 Blest be those feasts with simple plenty crown'd,
 Where all the ruddy family around,
 Laugh at the jests or pranks that never fail,
 Or sigh with pity at some mournful tale,
 Or press the bashful stranger to his food,
 And learn the luxury of doing good.

Но сходным, по сути дела, является и переход к основной части обоих сопоставляемых текстов. Ср., с о д н о й стороны:

But me, not destin'd such delights to share,
 My prime of life in wand'ring spent and care,
 Impell'd, with steps unceasing, to pursue
 Some fleeting good, that mocks me with the view...

и, с д р у г о й стороны:

..... Иль всяк своей тропюю,
 Лишенный спутников, влача сомнений груз,
 Разочарованный душою,
 Тащиться о с у ж д е н до бездны гробовой?..

Именно этот переход в обоих случаях ведет к "общему" стиху и, следовательно (особенно учитывая сходное окружение, должен считаться своего рода голдсмитовской "цитатой" у Жуковского. Ср.:

My fortune leads to traverse realms alone
 And find no spot of all the world my own.

при стихе из "Вечера":

М н е Р о к судил: б р е с т и неведомой стезей... .

И следующий в ближайших за приведенными стихах мотив одинокого раздумья, мечтанья в "The Traveller" — *Even now, where Alpine solitudes ascend, I sit me down a pensive hour to spend* — воспроизводится (правда, с изменением места в цепи мотивов и с удвоением) и в "Вечере": *Си жу, за д у м а в ш и с ь; в д у ш е м о е й м е ч т ы... и в финале стихотворения (с переменной субъекта): Придет сюда Альпин в*

час вечера мечтать / Над тихой юности могилой! В этом контексте едва ли приходится сомневаться, что Альпин "Вечера", подвергавшийся содержательно к имени Эдвин в переводе голдсмитовской баллады "The Hermit" (*Edwin*), сделанным Жуковским, формально спровоцирован эпитетом *Alpine* 'альпийский' в стихе, следующем в "The Traveller" непосредственно за тем местом, которое "цитируется" Жуковским в соответствующем месте "Вечера" (ср. также *Альсин* в балладе, важной для Жуковского в биографическом плане).

И далее обнаруживаются отдельные схождения между двумя текстами, но едва ли стоит останавливаться на них: число их резко падает, степень близости (подобия) сильно уменьшается, они становятся менее диагностичными, и сами по себе, без предыдущих параллелей и перекличек, едва ли привлекли был к себе внимание⁵⁷.

Впрочем, предлагаемый здесь подступ к очень мало изученной теме "Жуковский — Голдсмит", достаточен в том смысле, что демонстрирует круг текстов английского писателя, привлекавших к себе преимущественное внимание Жуковского, и технику усвоения и освоения им английских текстов Голдсмита. Еще важнее, видимо, то, что, помимо выяснения принципов "переложения" этих текстов на русский язык, удалось приоткрыть завесу над проблемой отражения поэзии Голдсмита в оригинальном творчестве Жуковского ("голдсмитовский" слой) и отчасти определить степень интимности в обращении русского поэта с текстами Голдсмита, тот формируемый им уровень, на котором происходит контакт элементов английского и русского текстов, их обмен и взаимодействие. Первые результаты позволяют с уверенностью говорить, что роль Голдсмита в поэтическом творчестве Жуковского несравненно значительнее, чем полагали до сих пор или, если быть точнее, чем казалось при сопоставлении известных науке фактов связи русского поэта с английским.

5. О РОЛИ ЖУКОВСКОГО В ОЗНАКОМЛЕНИИ ПУШКИНА С АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Но есть еще один важный аспект в теме "Жуковский — Голдсмит". Представляется не только возможным, правдоподобным, но и очень вероятным предположение о роли Жуковского в ознакомлении юного Пушкина с поэзией Голдсмита. Настаивать на этом нельзя, поскольку в распоряжении исследователей пока нет каких-либо конкретных фактов. Но вся ситуация дружеских отношений Пушкина и Жуковского, роли в них литературных интересов и т. п. делает почти невозможным полное игнорирование темы Голдсмита, так занимавшего в это время Жуковского, в беседах двух русских поэтов. Эта ситуация будет дополнительно конкретизирована несколько ниже, но хронологически ее можно, почти точно, приурочить к 1817-1820 годам⁵⁸, т.е. к периоду после окончания Лицея до южной ссылки Пушкина⁵⁹. Новые условия, в которых оказался Пушкин в Петербурге, способствовали быстрым и значительным изменениям в его поэтическом кругозоре. В орбиту внимания поэта легко и естественно попадали новые имена и новые книги. Менялись литературные вкусы, репутации, пристрастия лицейского периода. Намечались еще большие перемены, и еще неясные предвестники их улавливали в литературно-художественной и духовной атмосфере тех дней. Приближалась пора увлечения байронизмом (см. Приложение VIII), который с 1820 г. захватит Пушкина достаточно властно, чтобы исключить в этот период какие-либо другие существенные (или сравнимые с ним) литературные влияния и симпатии. Но уже за несколько лет до увлечения Байроном можно, видимо, говорить о том, что до того безраздельный и монолитный интерес к французской литературе был уже отчасти потеснен возникающим вниманием к еще не ясной и мало знакомой Пушкину "бриганской Музе"⁶⁰. Этот новый интерес был результатом не столько знакомства с самими текстами английской литературы, сколько чуткого улавливания мнений о них и их оценок, высказываемых в беседах и разговорах со старшими друзьями и знакомыми Пушкина, более чем он осведомленными в английской литературе. Поэтической интуиции Пушкина этого было, видимо, достаточно, чтобы остро почувствовать притягательную силу нового и увлечься им.

Многое говорит за то, что Байрон не был первым английским писателем, привлечшим внимание русского поэта, и что этому интересу, возникшему с конца 1819-1820 г., предшествовал другой — к Г о л д - с м и т у . И если Жуковский, действительно, был для Пушкина "про-

водником" к Голдсмиту (или одним из них), то эта его заслуга должна быть оценена особо, а в теме "Жуковский — Голдсмит" тогда естественно образуется еще одна глава — о Жуковском, знакомящем молодого Пушкина с Голдсмитом.

Судя по всему, Жуковский мог прежде всего познакомить Пушкина с тем, что он сам высоко ценил и хорошо знал, — с "The Deserted Village" (и, может быть, с "The Traveller"). Но похоже, что самостоятельность Пушкина в оценке литературных явлений сделала невозможным для него ограничение Голдсмита только описанием идиллической жизни деревни, ее ландшафтов, мирных занятий и развлечений, как это, по сути дела, произошло у Жуковского. Возможно и даже более чем вероятно, что были дополнительные обстоятельства, толкавшие Пушкина не проходить мимо "социального" аспекта голдсмитовских поэм (или того, что о них говорили в близком круге), к которому в эти годы русский поэт был очень внимателен вообще ("свободолюбивые" стихи). Иначе говоря, с Голдсмитом в "версии Жуковского" у Пушкина произошло примерно то же (но скрытно), что несколькими годами позже с Байроном: там, где остановился Жуковский, начинается "новый" (не по Жуковскому) путь Пушкина⁶¹. Автор упоминаемой ниже критической статьи о Байроне в "Вестнике Европы" в 1818 г. отмечал в его поэмах "разительную картину противоположности между благодеяниями попечительной природы и опустошительным действием деспотизма (ср. также письмо Вяземского А.И. Тургеневу от 15 февраля 1821, также цитируемое далее), — ситуацию, которая практически в той же степени характеризует и поэмы Голдсмита. Пользуясь этой терминологией, можно сказать, что в отношении английского поэта Жуковский сосредоточился на описании "благодеяний попечительной природы", тогда как Пушкин пошел дальше, к демонстрации "опустошительного действия деспотизма" (к позиции Жуковского в отношении Байрона ср.: "Многие страницы его вечны, но и в нем есть что-то ужасающее, стесняющее душу. Он не принадлежит к поэтам-утешителям" [см.: Русская старина, т. XXXI 1881, 196] или в письме к Гоголю: "[...] обратил взор на Байрона — дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения [...], а в Байроне она [прелесть. — В.Т.] есть сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения. Но Байрон сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувствительность, его гений все имеет высоту необычайную [...] [Полн. собр. соч., т. 10, 86]).

В исторической, точнее, историко-литературной перспективе Голдсмит мог быть для Пушкина кратковременным и невведенным нару-

жу, напоказ эпизодом именно как переходная в его сознании фигура между просветительской литературой "французского" типа (свобода, закон и т.п.) и классицистической эстетикой Просвещения, с одной стороны, и байроническим романтизмом и эстетикой романтизма (ср. "традиционную" позицию Голдсмита и С. Джонсона в эпоху становления предромантической эстетики в трудах братьев Уортонов и Р. Херда), с другой; между *poésie descriptive* и поэзией активной гражданственности. Этот переходный этап получил отражение в пушкинской лирике, но в силу жизненных обстоятельств, иногда носивших и насильственный характер, и быстрой эволюции чисто литературных вкусов и пристрастий этот этап оказался очень кратковременным.

В цепи подступов и "проводников" Пушкина на пути к Голдсмиту не хватает еще одной фигуры, которая, видимо, замкнула эту цепь и послужила последней причиной, *ultima ratio*, приведшей Пушкина к Голдсмиту. Этой фигурой был, почти очевидно, Николай Иванович Тургенев, и, следовательно, семье Тургеневых в первую очередь были обязаны своим знанием Голдсмита и Жуковский и Пушкин, а русская поэзия — "русским" Голдсмитом, от переводов его до введения в русскую лирику голдсмитовских образов и мотивов уже в освоенном виде.

6. НИКОЛАЙ ТУРГЕНЕВ И ГОЛДСМИТ. — ВЛИЯНИЕ ТУРГЕНЕВА НА ПУШКИНА (1817-1819)

Николай Тургенев должен был, конечно, слышать о Голдсмите у себя дома, в семье, от отца и старших братьев, которые любили английского писателя⁶². Но он и специально занимался им, подробно изучал и анализировал его произведения, пытался для себя переводить кое-что из прозы Голдсмита. Разумеется, сведения по теме "Николай Тургенев — Голдсмит" во многом зависят от источников, документов, которых в общем немного. И тем не менее, нельзя не заметить, что они относятся в основном к 1807 году, когда умер (18 февраля) уехавший в Петербург и уже тяжело больной отец Иван Петрович Тургенев. Трудно отделаться от мысли, что в предчувствии утраты и вскоре после нее Николай Тургенев, проводивший последние месяцы в России и собиравшийся надолго покинуть ее ради учения в Геттингенском университете, обращается к Голдсмицу как приятному воспоминанию о счастливом прошлом, когда все были вместе, об отце и старшем брате. Еще 13 февраля 1807 года Николай Тургенев открывает в своем дневнике раздел, обозначенный как "Переводы из разных английских книг". В него входит любопытный образец перевода фрагмента голдсмитовской прозы — начало главы VI из "Векфилдского священника"⁶³, сделанный почти два месяца спустя.

Еще интереснее (особенно в связи с Жуковским и тем более с Пушкиным, см. далее) дневниковая запись Николая Тургенева, помеченная им "20 Ноября [1]807":

"С Английским учителем я читаю the Deserted village, прекрасное произведение славного и любимого мною Голдсмита. В сей деревне проводил свою молодость, после, через несколько лет, возвращается туда, находит все опустошенным, и одна только старуха, собирающая корни для пропитания, рассказала ему все случившееся с сею деревнею, из которой поселяне, населявшие оную, были выгнаны, и которая принадлежит теперь богатому помещику. Между прочим старуха описывает ему то место, где прежде собирались мужики во время праздничное.

Vain transitory spendours! Could not all
Reprieve the tottering mansion from its fall!
Obscure it sinks, nor shall it more impart
An hour's importance to the poor man's heart;
Thither no more the peasant shall repair
To sweet oblivion of his daily care;

No more the farmer's news, the barber's tale,
 No more the wood-man's ballad shall prevail;
 No more the smith his dusky brow shall clear,
 Relax his ponderous strength, and lean to hear;
 The host himself no longer shall be found
 Careful to see the mantling bliss go round;
 Nor the coy maid, half willing to be prest,
 Shall kiss the cup to pass it to the rest.

Смысл двух последних стихов соблазнителен, если кто захочет толковать их, как ему угодно, так как и Г. Корд [учитель-англичанин. — В.Т.] сперва толковал. Но тут значение стихов самое невинное.

Пора в Архиву. — Но еще два стихика, которые следуют за теми:
 Yes! let the rich deride, the proud disdain,
 These simple blessings of the lowly train:
 To me more dear, congenial to my heart,
 One native charm, than all the gloss of art.

Последние стихи мне понравились. Для них взял я *Бред мой*. — Хотел их вписать; суди, Н.Т., о их достоинстве, которое было в состоянии преодолеть твою и мою ясность".

(Архив..., вып. 1-ый, 92; "Бред" — записная книжка Николая Тургенева, см. о нем еще 204 и 423).

Эта запись из дневника драгоценна тем, что она опять отсылает к "The Deserted Village" и окончательно исключает возможность случайного интереса к ней; что автора записи эта поэма привлекает несколько иным по сравнению с Жуковским, а именно картиной опустошения деревни, наглядностью ушедшего крестьянского быта, подчеркнутым сочувствием к простой жизни крестьян; что поэма Голдсмита разбиралась столь внимательно и подробно, и описываемое в ней так близко принималось к сердцу. Анализ этой записи, как и некоторых других упоминаний о Голдсмите⁶⁴, убеждает не просто в интересе Николая Тургенева к английскому писателю и прежде всего к "The Deserted Village" и не только в вероятном и правдоподобном соотношении описания ирландской деревушки с знакомой Тургеневу симбирской деревней и ее крестьянами, но в идеологичности восприятия картины опустошенного крестьянского уголка. В этом плане "The Deserted Village" для Николая Тургенева — "чужой" комментарий к тем "своим" проблемам рабского состояния русских крестьян и деревни, которые волновали его, как и его братьев, с юности и решению которых он посвятил почти всю свою жизнь. Запись дневника о поэме Голдсмита

отражает один из самых ранних из известных нам эпизодов формирования взглядов Николая Тургенева на положение крестьян, и уже достаточно определенно за нею вырисовывается то, что через несколько лет станет постоянной темой его разговоров, споров, переписки, записок (ср. "Нечто о барщине", 1818; "Нечто о крепостном праве в России", 1819), печатных трудов — от "Опыта теории налогов" (1818) до "La Russie et les Russes" (1847)⁶⁵.

Николай Тургенев обращался к Голдсмиту и позже, попрежнему высоко оценивая его творчество. Положение русской деревни и крепостного крестьянства, дворовых людей к 1817 г., когда вносились последние поправки и дополнения в "Опыт теории налогов", политика вытесняла литературу⁶⁶, настроения становились все более радикальными и решительными, и время вступления в тайное общество стояло уже при дверях — все это, несомненно, способствовало аккумуляции и актуализации всех примеров рабства и связанного с ним разорения деревни. Легко предположить, что столь хорошо знакомая Тургеневу и глубоко пережитая им поэма Голдсмита продолжала, видимо, быть литературным "козырем" и одним из дежурных аргументов русского ненавистника рабства (*И, плети рабства ненавижда,*...).

Именно в этом контексте и может быть понята и оценена (а задним числом и дополнительно восстановлена и аргументирована) та важная роль, которую, судя по всему, сыграл Николай Тургенев в ознакомлении молодого Пушкина с Голдсмитом и, возможно, в ориентации его на "The Deserted Village", особенно на социальный аспект поэмы⁶⁷. Применительно к условиям русской действительности "социальность" поэмы должна была транспонироваться в отчетливо "антикрепостническую" доминанту "свободолюбивых" стихов Пушкина и тем самым решительно увести его от опыта перевода этой поэмы Жуковским и, если принимать несомненно существовавший более широкий и на этот раз русский контекст проблемы, от опыта "Деревни" (1792) и "Письма сельского жителя" (1802) Карамзина, см. П р и л о ж е н и е I X .

Несмотря на добрые отношения с Жуковским, дружескую привязанность к нему и высокое мнение о его поэтическом таланте, Николай Тургенев старался (и, конечно, сознательно) оторвать Пушкина от линии Жуковского ("элегическое"), "либерализовать" и политизировать его творчество. Именно в эти годы имя Пушкина не раз упоминается в дневниковых записях и письмах Н.И. Тургенева. Некоторые упоминания весьма характерны. Ср. отмеченную подчеркнутость таланта Пушкина и легкое противопоставление его Жуковскому: "Но за что не вратится тебе поэма Жук[овского] и стихи Батюшкова? Поэма не поэма, но написана хорошо; картины или описания превосходны. У нас

есть теперь молодой поэт, Пушкин, кот[орый] точно стоит удивления по чистоте слога, воображению и вкусу, и все это в 18 лет от роду" (письмо С.И. Тургеневу из Петербурга от 16 октября 1817 г.). Направление и стиль бесед с Пушкиным отчетливо выявляются из письма тому же адресату от 13 октября 1818 г.: "Беда как мы и в просвещении пойдем назад. По крайней мере итти недалеко. "Мы на первой станции образованности" сказал я недавно молодому Пушкину. "Да, отв[е]чал он, мы в Черной Грязи". Впрочем у нас можно довольно смело говорить; но зато писать совсем нельзя". В письмах С.И. Тургеневу от 20 и 23 апреля 1820 г. и в приписке к письму А.И. Тургенева от 11 мая 1820 г. он кратко сообщает о тех событиях, которые привели к высылке Пушкина на юг. Сергей Тургенев, полностью, видимо, разделявший мысли брата, 1-го декабря 1817 года заносит в свой дневник: "Мне опять пишут о Пушкине как о развертывающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и вместо оплакиваний самого себя пусть первая его песнь будет: Свобода". Впрочем, он пыгается "либерализовать" и самого Жуковского, причем непосредственно и открыто, "идя на Вы". В письме ему, написанном в декабре 1817 г., находим: "Помните, что талант ваш не весь вам принадлежит, но и отечеству. Употребляйте его не только для себя, но и к просвещению России. — Грешно другим писателям не употреблять его совсем в противную сторону. — Я укоряю в этом и Карамзина. Зачем не оставить Пеззаровию и подобным проповедовать мрак, деспотизм [по русски самодержавие] и рабство? — Как бы приятно было видеть все дарования на стороне либеральных идей, коими если не честь, то душа моя пламенеет, все невежество, всю скуку, всю глупость на стороне противной! Пишите же в пользу либеральности"⁶⁸. В дневнике Н.И. Тургенева (запись от 27 мая 1817 г.) иной акцент: "Вчера после библ. общ. сидел я с Жук[овски]м долго у Мих. Орлова. Много говорили, много болтали. Такие разговоры, при теперешнем положении нашем, утомляют более, нежели оживляют. Прежде, когда положение вещей у нас представлялось мне несколько в другом виде, подобные мысли и разговоры меня оживляжали, воспаляли, теперь дают, наводят отчаяние". См. также Приложение IX.

Б.В. Томашевский проницательно восстанавливает сложившуюся ситуацию:

"[...] в год окончания Лицея Пушкин был как бы на распутье. Он писал унылые элегии, где воспевал нежную любовь. Первые его стихи, писанные в Петербурге, были того же настроения:

Не спрашивай, зачем унылой думой
 Среди забав я часто омрачен,
 Зачем на все подъямлю взор угрюмый,
 Зачем не мил мне сладкой жизни сон...

В доме Тургеневых, повидимому, не очень сочувственно относились к подобным ламентациям молодого Пушкина. Николай Иванович не был поклонником "чистого искусства" и от стихов требовал смысла. Старший Тургенев, вероятно, вторил своему более темпераментному брату и тоже упрекал Пушкина за излишнюю элегичность его лирики. По крайней мере в послании Пушкина, обращенном к А.И. Тургеневу, датированном 8 ноября 1817 г., мы читаем:

К чему смеяться надо мною,
 Когда я слабою рукою
 На лире с трепетом брожу
 И лишь изнеженные звуки
 Любви, сей милой сердцу муки,
 В струнах незвонких нахожу?
 Душой предавшись наслажденью,
 Я сладко, сладко задремал...

В послании Пушкин называет Тургенева:

... гонитель
 И езуитов, и глупцов,
 И ленисти моей бесплодной,
 Всегда беспечной и свободной,
 Подруги благотворных снов!

Как видим, Тургенев был гонителем тех черт поэзии Пушкина, которые так характерны для его лицейской лирики⁶⁹.

Можно добавить к этому, что как раз к 1818-1819 годам относится работа Н.И. Тургенева над уже упоминавшимися записками о барщине и о крепостном состоянии. Последняя писалась им для Александра I и была в 1820 г. представлена ему через Милорадовича. Друзья Н.И. Тургенева, естественно, были в курсе этой работы. Путь, которым рукопись "Деревни" попала Александру I — через Чаадаева и Васильчикова — упреждает путь тургеневской записки. В этом смысле "Деревня" и "Нечто о крепостном состоянии в России" представляют собой как бы

двойной демарш против крепостничества — поэтический и сугубо деловой (социально-экономический), рассчитанный на прочтение царем. Идя, по сути дела, вслед за Н.И. Тургеневым и находясь под сильным его влиянием, Пушкин в случае "Деревни" даже опережает своего старшего друга и наставника. Но интересно, что, по крайней мере, за год до написания "Деревни", Тургенев в своих дневниковых записях, относящихся к лету 1818 года, когда он жил в имении под Москвой, предвосхищает общую конструкцию пушкинского произведения. Записывая свои впечатления о пребывании на лоне природы, о том, как ему понравились "горы, деревья, зелень", "прелестные рощи", он заключает это контрастным по содержанию высказыванием — "наслаждение парализуется этим нечестивым рабством, коорому я не предвижу скорого уничтожения", равно предвосхищающим и *Но мысль ужасная здесь душу омрачает [...], и Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный | [...] Взойдет ли наконец прекрасная заря?*

Поэтому едва ли можно сомневаться, что истинный *spiritus movens* этой складывающейся вокруг Пушкина ситуации — именно Николай Тургенев, возможно, первый демон-искуситель на пушкинском жизненном пути. Безусловно, за многими образами и фразеологией "Вольности" и "Деревни", двух важнейших "свободолюбивых" стихотворений послелицейского периода, написанных на протяжении немногим более чем полутора лет, стоит Тургенев, его идеи, планы, способы выражения⁷⁰. Как уже указывалось выше, эти же два пушкинских произведения наиболее близки к отдельным частям голдсмитовских поэм "The Deserted Village" и в меньшей степени "The Traveller". И это совпадение Голдсмита и Николая Тургенева в контексте их влияний на Пушкина в 1817-1819 годах или, при ином ракурсе, известная близость (и даже зависимость) некоторых мест "Вольности" и "Деревни" и от Голдсмита, и от Николая Тургенева представляются не только не случайными, но достаточно закономерными и отчасти даже ожидаемыми в свете всего, что было уже сказано выше на эту тему. Объяснение этой ситуации можно видеть в усвоении Пушкиным элементов голдсмитианства с помощью Н.И. Тургенева (о Жуковском в этой связи говорилось выше). При этом, естественно, трудно различить в этом случае голдсмитовское от тургеневского и установить, где Тургенев выступал как посредник-передатчик, а где всего лишь как советчик-ознакомитель. Но на этом этапе попытка более подробного и тонкого разграничения сфер и форм влияния не вызвала бы доверия исследователей, поскольку большая часть предположений относится к "невидимой" части литературы.

К счастью, в описываемой ситуации есть и очень важная в и д и м а я часть. Она касается истории создания оды "Вольность", подробнее всего описанной Ф.Ф. Вигелем в его "Записках" (I, 151-152):

"Из людей, которые были его старше, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то-есть к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа генерала Ганнибала и гибкостью членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Стихи были хороши, не превосходны; слегка похвалив свободу, доказывал он, что будто она одна правителей народных может спасти от ножа убийцы, потом с омерзением и ужасом говорил в них о совершившихся злодеяниях в замке, который имел перед глазами. Окончив, показал стихи и не знаю почему назвали их "Одой на свободу". Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь, чтобы он много ходил по рукам. Ничего другого в либеральном духе Пушкин не писал еще тогда".

(ср. и дальнейший рассказ о том, что это стихотворение послужило причиной ссылки Пушкина).

Рассказ Вигеля, несмотря на ряд неточностей и некоторую его "литературность" (существует предположение, что сам автор "Записок" не был свидетелем описываемой сцены), бесспорен в главном и не должен вызывать сомнений именно в этом главном. Хорошо известны приятельские отношения между Пушкиным и братьями Тургеневыми, частое посещение Пушкиным их дома (дом князя А.Н. Голицына, теперь — Фонтанка 20), нередко вместе с Жуковским, "вольнолюбивые" беседы. Более того, полвека спустя сам Н.И. Тургенев в письме П.И. Бартеневу (май 1867 г.) засвидетельствовал описанное Вигелем:

"У меня никаких писем Пушкина не было и нет. Есть стихи, его рукою написанные, например, его ода "Вольность", которую он в половине сочинил в моей комнате, ночью dokonчил и на другой день принес ко мне написаную на большом листе"⁷¹.

Наконец, долго смущавшая исследователей проблема датировки стихотворения оказалась решенной: с достаточной надежностью написание "Вольности" относят теперь к ноябрю, декабрю 1817 г.⁷², и это тоже усиливает мнение об особой роли в этом случае Н.И. Тургенева.

Поэтому единственным недостающим звеном нужно считать неизвестность "голдсмитовских" мест в "Вольности" (как и в "Деревне"), но, нужно заметить, до сих пор никто не подходил к этим произведениям Пушкина с этой точки зрения. Далее будут показаны некоторые переключки между ними и обеими поэмами Голдсмита⁷³.

7. "ДЕРЕВНЯ" ПУШКИНА И "THE DESERTED VILLAGE". — "ВОЛЬНОСТЬ": ТЕКСТ "СВОБОДЫ И ЗАКОНА"

Сопоставление "The Deserted Village" и "Деревни" не должно удивлять. В обоих случаях речь идет о запустении деревни как результате ее разорения и о пустынности, уединенности. В известном смысле само заглавие английской поэмы как бы синтезируется в самом начале пушкинского стихотворения: Деревня. Приветствую тебя, пустынный уголок (> *пустынная деревня*, ср. "Опустевшая деревня" у Жуковского и уже приводившееся каразминское "Деревня моя должна быть деревнею — пустынею") при *deserted village* ⁷⁴, — хотя эта близость не акцентирована, приглушена.

Зато при первом же подходе, предполагающем сопоставление пушкинской "Деревни" с "The Deserted Village", бросается в глаза некое весьма значительное, хотя и не резко выраженное, общее сходство. Оно вытекает из соотношения частей, которые определяют особый эффект обоих произведений, коренящийся в формировании известной напряженности структуры, контраста между двумя наличными в каждом из этих текстов частями: первой, — изображающей красивый, уютный ландшафт в духе *poésie descriptive*, мирную жизнь деревни, занятия крестьян, их довольство, с одной стороны, и, с другой, то ощущение радости, счастья, блаженства, которое испытывает лирический субъект произведения при созерцании деревни, и второй, — где все описанное в первой части сводится на нет ("контркартина") тем вызывающим резкий протест субъекта стихотворения насилием над крестьянами, над всем исконно добрым укладом деревенской жизни, который творится сильными мира сего, лишаящими крестьян простого счастья вольной, мирной, "своей" жизни. Идиллическая первая часть противопоставлена взволнованно-патетической, протестующей второй части, которая в наиболее горячих местах превращается в гневную филиппику, разоблачение тех, кто творит несправедливость, нарушает естественный (почти природный) закон. Счастье и органичность деревенской жизни превращается в состояние извращенности природных начал, в несчастье, в проклятье. Хотя конкретно-исторические, специфические и национальные облики этой беды различны (в одном случае изгнание крестьян со своих земель, в другом, напротив, их закрепление на земле — "крепость", "крепостничество", в их злоупотреблениях), они не меняют главного: и в том и в другом случае крестьяне, по сути дела оказываются лишенными земли и плодов своего труда. Сходство между обоими текстами усиливается и от того, что "движение" темы развертывается в обоих

случаях сходным образом (одинаковый порядок частей: "положительное" —> "отрицательное"), что реакция лирического субъекта едина, что соотношение "подъемов" и "спусков" в этом движении темы довольно одинаково. Сходно и поведение лирического субъекта, нуждающегося, впрочем, в экспликациях и дополнительных разъяснениях и уточнениях: он приходит, видит или вспоминает блаженство деревенской жизни, но *ныне и здесь* находит нечто новое и противоположное, безоговорочно отменяющее привычное и милое.

При всех этих сходствах, выявляемых сопоставлением, разумеется нужно помнить, что поэма Голдсмита более чем в семь раз превышает размером стихотворение Пушкина; что жанровое задание поэмы предполагает (вернее, образует) более сложную ее структуру; что, наконец, Голдсмит и Пушкин писали эти свои произведения с разрывом почти в полвека, в разных историко-культурных, социально-экономических условиях, принадлежа к различным литературно-художественным направлениям и традициям. Уже только в силу этого любое сопоставление названных текстов должно считаться с неизбежностью различий, и при сравнении должна выбираться некая соотносимая с обоими текстами мерка (так сказать, общее "кратное" обоих текстов). С избранной здесь точки зрения существенны не различия, но сходства: они при избранном подходе оказываются информативно наиболее богатыми элементами в теоретико-информационном смысле (как наибольшее отклонение от ожидаемого, наиболее неожиданное и "случайное"). Именно поэтому о различиях специально здесь говорить не придется (хотя по ходу изложения, в контексте "сходства", они, естественно, сами обнаруживают себя), и достаточно ограничиться лишь общим, но очень важным указанием на то, что различия в том, как реализуется вторая часть в каждом из сопоставляемых текстов, несравненно больше, чем различия между их первыми частями, образующими значительное единство. Не подлежит сомнению, что и по размеру, и по содержанию, и по форме первые части существенно ближе друг к другу, чем вторые. Поэтому в известном отношении целесообразнее начать с сопоставления вторых частей "Деревни" и "The Deserted Village", ограничиваясь лишь наиболее существенным.

В стихотворении Пушкина эта вторая часть занимает всего 20 стихов (от *Но мысль ужасная здесь душу омрачает...*⁷⁵ до *Дворовые толпы измученных рабов*), тогда как в поэме Голдсмита — во много раз больше, несколько страниц. Принимая во внимание эту разницу масштаба, не трудно заметить, что довольно лаконичной картине в "Деревне", построенной на противопоставлении *барства дикого* (неу-

молимый владелец) и рабства тощего (*измученные рабы, земледелец*), основанном на насильственном присвоении и результатов крестьянского труда и исконных условий жизни крестьян, на попрании закона (*Здесь барство дикое, без чувства, без закона, / Присвоило себе насильственной лозой / И труд, и собственность, и время земледельца... и т.д.*), отвечают как бы несколько вариантов (или разных "заходов" к теме) той же самой схемы насильственного присвоения в поэме Голдсмита. Общая картина получается более разнообразной и детализированной, инвентарь образов и ситуаций, "разыгрывающих" тему опустошения деревни оказывается шире, объяснения причин этого процесса развертываются подробнее (и так сказать, "научнее", в духе социально-экономических и филантропических идей второй половины XVIII века, но суть схемы, лежащей за этой картиной и ее определяющей, остается той же, хотя, конечно, стилистико-языковые формы воплощения достаточно самостоятельны.

Несколько примеров, реализующих эту схему, из "The Deserted Village" (в порядке их следования и, так сказать, в конспективном изложении):

... Thy sports are fled, and all thy charms withdrawn;
Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen,
And desolation saddens all thy green:
One only master grasps the whole domain...

Sunk are thy bowers, in shapeless ruin all,
And the long grass o'ertops the mouldering wall,
And trembling, shrinking from the spoiler's hand,
Far, far away thy children leave the land.

Ill fares the land, to hastening ills a prey,
Where wealth accumulates, and men decay:
Princes and lords may flourish, or may fade;
... But a bold peasantry, their country's pride,
When once destroyed, can never be supplied.

A time there was, ere England's grief began,
When every rood of ground maintained its man...

But times are altered; trade's unfeeling train
Usurp the land and dispossess the swain...
Sweet Auburn! parent of the blissful hour,
Thy glades forlorn confess the tyrant's power.
Ye friends to truth, ye statesmen, who survey
The rich man's joys encrease, the poor's decay,

'Tis yours to judge, how wide the limits stand
 Between a splendid and an happy land.
 And shouting Folly hails them from her shore;
 Hoards, even beyond the miser's wish abound,
 And rich men flock from all the world around
 Yet count our gains. This wealth is but a name
 That leaves our useful products still the same.
 Not so the loss. The man of wealth and pride,
 Takes up a space that many poor supplied...⁷⁶

Where then, ah where, shall poverty reside,
 To scape the pressure of contiguous pride?
 If to some common's fenceless limits strayed,
 He drives his flock to pick the scanty blade,
 Those fenceless fields the sons of wealth divide,
 And even the bareworn common is denied,
 If to the city sped — What waits him there?
 To see profusion that he must not share;
 To see ten thousand baneful arts combined
 To pamper luxury, and thin mankind;
 To see those joys the sons of pleasure know,
 Extorted from his fellow-creature's woe.
 Even now the devastation is begun,
 And half the business of destruction done...

На фоне этих этих совпадений общего характера, пожалуй, можно выделить две более конкретные параллели. Едва ли их можно назвать достаточно специфическими, с одной стороны, и, с другой, вполне доказательными в отношении определения зависимости одного текста от другого. Тем не менее, отвергать возможность такой зависимости тоже нет оснований. Во всяком случае эти два ярких, непосредственно обращенных к добрым чувствам человека и рассчитанных на отклик эпизода помещены в соответствующих друг другу местах обоих произведений — как завершение перечня злоупотреблений и насилий. Речь идет от коротком "двуметном" отрывке из "Деревни":

... Здесь д е в ы юные цветут
 Для прихоти бесчувственной злодея.
 Опора милая стареющих о т ц о в ,
 Младые с ы н о в ь я , т о в а р и щ и трудов,

Из хижины родной и д у т собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов⁷⁷.

Ему отвечают два отчасти разъединенных и более подробных фрагмента из поэмы Голдсмита с теми же двумя мотивами:

..... Ah, turn thine eyes
Where the poor houseless shivering f e m a l e lies.
She once, perhaps, in village plenty blest,
Has wept at tales of innocence distrest;
Her modest looks the cottage might adorn,
Sweet as the primrose peeps beneath the thorn;
Now lost to all; her friends, her virtue fled,
Near her betrayer's door she lays her head,
And pinch'd with cold, and shrinking from the shower,
With heavy heart deplores that luckles hour
When idly first, ambitious of the town,
She left her wheel and robes of country brouwn, —

а также, чуть далее:

Good Heaven! what sorrows gloom'd that parting day,
That called them from their native walks away
.....
The good o l d s i r e , the first prepared to go
To new found worlds, and wept for others woe
.....
His lovely daughter, lovelier in her tears,
The fond c o m p a n i o n of his helpless years,
Silent w e n t ... — ,

ср. также: *Far, far away the children leave the land*⁷⁸ и особенно сходный фрагмент из "The Traveller":

Have we not seen at pleasure's lordly call,
The smiling long-frequented v i l l a g e fall?
Beheld the duteous s o n , the s i r e decay'd,
The modest matron, and the blushing maid,
Forc'd from their homes ...

(ср. там же: *Have not seen, round Britain's peopled shore, / Her useful s o n s
exchang'd for useless ore*).

Для более точного уяснения контекста, в котором появляются эти сходные отрывки, нужно учитывать, что в "Деревне" сразу же после второго отрывка следуют три стиха, которые можно понимать как своего рода трансформацию традиционного обращения к Музе, к Поэзии с просьбой о вдохновении, о даровании творческого духа. В данном случае в основе этой трансформации — признание неадекватности поэтического, витийственного дара субъекта стихотворения той задаче, которую нужно решить:

О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар,
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?

В поэме Голдсмита в соответствующем месте появляется обращение к Поэзии, причем мотив известной неадекватности отнесен уже не к поэту (как у Пушкина), а к самой Поэзии. Тем не менее, автор призывает ее помочь истине, научить заблудших:

And thou, sweet Poetry, thou loveliest maid,
Still first to fly where sensual joys invade;
U n f i t in these degenerate times of shame,
To catch the heart, or strive for honest fame;
.....
Thou source of all my bliss, and all my woe,
That found'st me poor at first, and keep'st me so;
Thou guide by which the nobler arts excell,
Thou nurse of every virtue, fare thee well.
Farewell, and O where 'er thy voice be tried,
.....
Still let thy voiceprevailing over time,
Redress the rigours of the inclement clime;
Aid slighted truth, with thy persuasive strain,
Teach erring man to spurn the rage of gain;
Teach him, that states of native strength possesst,
Tho' very poor, may still be very blest ...

Это общее сходство между двумя финальными (по сути дела) обращениями к творческому дару слова, к Поэзии должно быть дополнено, помимо уже указанного параллелизма в месте этого обращения в

композиции целого и мотива неадекватности (*О, если б..., Почто... бесплодный жар, И не дан мне судьбой...* при *Unfit & Poetry...*), некоторыми другими деталями, из которых здесь придется упомянуть диагностически наиболее важную, — выражение сознания (разочарование, расстройство, почти досада) невозможности прямого воздействия на сердца людей словом, голосом с тем, чтобы помочь истине, оказать помощь слабым, образумить заблуждающихся. Ср., с одной стороны, *О, если б голос мой умел сердца тревожить!* в "Деревне" при *Unfit... / To catch the heart*⁷⁹ & *O where 'er thy voice be tried... (Still let thy voice....)* в "The Deserted Village", с другой (уместно заметить, что семантика *О, если б...* и *Unfit...* в этом контексте получается парадоксальным образом сближенной)⁸⁰. В этом случае оказывается, что и у Голдсмита и у Пушкина, по сути дела, отражены разные версии одного и того же образа-идеи: Поэзия — помощница Истины, проводница ее на пути к сердцам дюдей или же: Поэзия на службе Истины, делающая ее доступной через пробуждение добрых чувств (*Что чувства добрые я лирой пробуждал*)⁸¹. Эта неслучайная для Пушкина тема, к которой он в последний раз обратился незадолго до смерти, в знаменитом "Памятнике", конечно, имеет сложную генеалогию и этиологию. И та и другая едва ли могут быть надежно и достоверно изолированы от собственно типологических проблем, и поэтому, не предвешая конечных выводов, приходится здесь ограничиться указанием на важность привлечения внимания к этим двум обращениям к Поэзии и к проблеме будущего объяснения отмеченного параллелизма. Во всяком случае наблюдается большое внутреннее сходство (по существу) этих двух сопоставляемых отрывков, рядом внешних переключек сигнализирующих, возможно, о более чем случайной их близости.

Заключая сопоставительный анализ "вторых частей", необходимо указать еще на одну важную черту, несомненно, объединяющую оба эти текста и, более того, подключающую их в этом отношении к некоему более обширному классу явлений (ср. "The Traveller", с одной стороны, "Вольность", с другой). Речь идет об отчасти уже упоминавшемся пристрастии обоих авторов в указанных произведениях к введению "терминологического" — как на уровне отдельных понятий, так и целых выражений, концептов, заимствованных из злободневной социально-экономической литературы (или соответствующего устного обихода), — и в этом смысле противостоящего сфере собственно "поэтического". Эта черта, отчасти "прозаизирующая", рационализирующая и даже "сциентифицирующая" текст, ценится обоими авторами, хотя, вероятно, и по разным причинам. Голд-

смиит в этом отношении достаточно прочно укоренен в английской просветительской традиции. Для него важна установка на учительность, на несколько "смягченную" жанрово проповедь-объяснение, на положительный отзыв заблудших, как только они поймут разъяснение причин их отклонения от правого пути. Для Пушкина пристрастие к "терминологичности", о котором можно судить и по более поздним и более четким образцам (напр., в "Евгении Онегине"), помимо ряда других причин, было своего рода игрой, предполагающей сталкивание "не-поэтического" с поэтическим, обращение к метаязыковому уровню, некоторым щегольством последней модой дня, знаком связи с другими текстами и внетекстовыми реалиями, своего рода "шиболетом", отсылающим к узкому и вполне определенному кругу лиц, идей, мнений, "слов". Довольно скоро эта "терминологичность" ("квази-трактатность") для читателей послепушкинской поры стала выплывать, слабее ощущаться как нечто новое, оригинальное, иногда и вовсе исчезать с тем, чтобы быть восстановленной в своих правах литературоведческим комментарием. Но в конце 10-ых годов, когда еще были живы многие заветы классицизма и Державин продолжал оставаться поэтическим авторитетом, когда русская социально-экономическая и политическая терминология и фразеология была развита еще незначительно (и опыты Карамзина еще не стали нормой), пушкинская "тепминологичность" в указанном смысле слова была чертой, резко выделяющей его среди других поэтов, своеобразным вызовом "авангардизма" того времени. К этому "тепминологическому" слою в "Деревне" (с учетом сказанного выше о последующем "опускании" его в сферу "нетермино-логического") можно отнести *друг человечества, закон, свобода просвещения* (ср. *толпа непросвещенная*), *барство дикое, рабство тощее* (и *рабство, рабы*), *владелец, земледелец*, его *труд и собственность, ярем, отечество свободы* и др., причем все это сконцентрировано в весьма ограниченном текстовом пространстве (ср. в "Вольности" — *тираны мира, увенчанный злодей, несправедная власть, падшие рабы, рабство, мгла предрассуждений, вольность, святая вольность, свобода, закон, природа*).

"Терминологичность" в "The Deserted Village" носит несколько иной характер: с одной стороны, она разветвленнее и более специальна, с другой стороны, она усиленнее втягивается в "нетерминологическую" сферу, метафоризируется, растворяется в ней. Тем не менее, номенклатура отражает примерно те же социальные ипостаси и функции. ср. *peasant, peasantry, poverty, poor* и т. д. при *rich men, the man of wealth and pride, master, lords, statesmen, princes, the tyrant* и т.п.; *possess and dispossess, usurp the land, wealth, useful products and needful product*³² заставляющие вспомнить о простом продукте — "produit net" физиократов (... Как

государство богатеет, / И чем живет, и почему / Не нужно золото ему, / Когда простой продукт имеет) и о подобных "экономических" экскурсах Пушкина, иногда оформляемых как цитата.

"The Traveller" еще специальнее в этом отношении и, следовательно, "терминологичнее" (впрочем, вместе с "The Deserted Village" он разделяет многие терминологические loci communes)⁸³; этим, как и некоторыми другими чертами, это произведение приближается к гибриднему жанру поэмы-трактата, где "поэтическое" не отделено от "ученого" ("научного"). Существенно, однако, что и здесь присутствует специально "деревенская" тема — и в виде ландшафтов, и в картинах разорения, "падения" деревни (*Have we not seen at pleasure's lordly call, / The smiling long-frequented village fall?*). Но эта тема здесь не является самодовлеющей: она лишь эпизод, иллюстрирующий общий вопрос, отчего зависит счастье народов — от властителя, от закона, от Природы, от самого народа или от чего-либо иного. Именно поэтому, в поисках ответа, Голдсмит развертывает широкую серию картин-"исследований", *my weary search* (Италия, Швейцария, Франция, Голландия, Англия), где не только демонстрируется типология разных вариантов соотношения счастья и власти, закона, Природы и т.д., но и устанавливаются некоторые зависимости между названными элементами.

Но что особенно характерно для этой поэмы, что отличает ее довольно решительно от "The Deserted Village" и вносит важный новый аспект, — это тройственный узел проблем: свобода, власть, закон, в точности воспроизводящий концептуальную основу пушкинской оды "Вольность". Не останавливаясь здесь на отдельных примерах⁸⁴, нужно сказать, что вывод из "поэмы - трактата" оказывается иным, чем тот, к которому позже приходит Пушкин в "Вольности". Голдсмиту ясно, что опору нужно искать только в самих себе, ибо сами люди творят свое счастье. Но счастье ли это или просто спокойная, мирная жизнь? Скорее последнее, и поэтому первое из заключений финальной строфы носит скорее негативный характер — напрасно искать блаженства: оно живет лишь в нашем уме, власть, государство не могут быть гарантами блага для людей (сама свобода может порождать несчастье), но где благо (блаженство — *bliss*), — там уже или тиран или закон⁸⁵:

Vain, very vain, my weary search to find
That bliss which only centers in the mind:
Why have I stray'd, from pleasure and repose,
To seek a good each government bestows?
In every government, though terrors reign,
Though tyrant kings, or tyrant laws restrain,

How small of all that human hearts endure,
 That part which laws or kings can cause or cure.
 Still to ourselves in every place consign'd,
 Our own felicity we make or find:
 With secret course, which no loud storms annoy,
 Glides the smooth current of domestic joy [...]

Но последняя строфа "The Traveller" содержит в себе еще два заключения, но уже не столько теоретического, "социально-экономического", "политического" свойства, а сугубо практического, и опять-таки на тему, которая так волновала и юношу Пушкина в "Вольности" и его старших друзей и наставников, прежде всего Н.И. Тургенева. На вопрос "что делать?", столь роковой в русской истории, английский поэт дает два продуманных и твердых ответа — отказ от насилия, покушения на убийство⁸⁶, бунта (ср. упоминание Дамьена, покушавшегося на Людовика XV и Луки, брата предводителя восстания в Венгрии в XVI в. Дьердя Дожи, с которым автор и путает Луку; обе попытки закончились неудачей) и выбор жизни по своему собственному разумению, вере и совести:

The lifted ax, the agonizing wheel,
 Luke's iron crown, and Damien's bed of steel,
 To men remote from power but rarely known,
 Leave reason, faith, and conscience, all our own.

Пушкинская "Вольность" пронизана этими же мотивами, и при этом все они, а свобода и закон особенно⁸⁷, взяты во взаимосвязи и взаимозависимости. Если учесть, что эти два мотива включены в "терминологически" насыщенный текст (см. выше о "Вольности"), в значительной части своей использующий те же "термины"-понятия, что и "The Traveller"), то сходство между английской поэмой и русской одой приобретет еще большую степень. Но здесь можно ограничиться лишь пунктирным обозначением в "Вольности" т. наз. "текста свободы и закона" (с минимальными расширениями):

Где ты, где ты, гроза царей,
 С в о б о д ы гордая певица?

 Разбей изнеженную лиру ...
 Хочу воспеть с в о б о д у миру,
 На тронах поразить порок.

... Питомцы ветренной судьбы,
Т и р а н ы мира! трепещите!

.....
Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
З а к о н о в гибельный позор
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть

.....
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с в о л ь н о с т ь ю святой
З а к о н о в мощных сочетанье

.....
Владыка! вам венец и трон
Дает з а к о н , а не п р и р о д а ;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас з а к о н .

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль н а р о д у , иль ц а р я м
З а к о н а м властвовать возможно!

.....
Молчит з а к о н — народ молчит,
Падет преступная секира ...
и се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

... И днесь учитесь, о цари:
.....
Склонитесь первые главой
Под сень надежную з а к о н а ,
И станут вечной стражей трона
Народов в о л ь н о с т ь и покой.

Сходство этих двух "текстов свободы и закона" в сопоставляемых произведениях, действительно, велико, и то там, то здесь возникают соблазны объяснения некоторых пушкинских ходов заимствованием — вольным или невольным, прямым или косвенным, опосредство-

ваным рядом передаточных инстанций с неизбежными в таких случаях деформациями. В любом, однако, случае верно заключение, что "The Traveller" (отчасти "вторая" половина "The Deserted Village"), "Вольность" (и отчасти "Вторая" половина "Деревни") отражают некий единый круг представлений, возникших во второй половине XVIII века, эволюционировавших в течение нескольких десятилетий, и в конце 10-ых годов XIX в. достигших России в варианте, несколько осложненном теорией и практикой французской социальной мысли. Но как бы ни объяснять эти схождения, — некими общими предпосылками или историко-литературной зависимостью⁸⁸, — посредничество Н.И. Тургенева между Голдсмитом и Пушкиным именно в "тексте свободы и закона" представляется очень правдоподобным, и, если это так и было, то тогда мог бы отчасти проясниться и характер посредничества — беседы, разговоры, споры в обстановке, описанной в незавершенных строфах десятой главы "Евгения Онегина", где изображен и "хромой Тургенев", и лишь потом возможность обращения для Пушкина более непосредственно к текстам (видимо, все-таки переводным) Голдсмита. При всей близости содержания и форм выражения английского и русского текстов, при сходстве в общем и в частности, при очень однообразном "социальном" словаре этих текстов, — сходство все-таки носит несколько абстрактный, "книжный" характер: значительное само по себе, оно много теряет в цене при учете, что существуют и другие тексты того времени, которые в той или иной степени могли бы подключиться к тем, что были здесь сопоставлены. Однако и это заключение ограничительного характера никак не может считаться окончательным. Проблема лишь поставлена и слегка намечены возможные варианты ее решения. Ответ принадлежит будущим исследователям.

8. "ДЕРЕВНЯ" ПУШКИНА И "THE DESERTED VILLAGE": "ПЕЙЗАЖНЫЙ" ТЕКСТ

Существенно иной характер носят сходства, наблюдаемые между "первыми" частями поэмы Голдсмита "The Deserted Village" и пушкинским стихотворением "Деревня". Выше уже говорилось о большей близости этих частей по сравнению со "вторыми". Отчасти, конечно, это объясняется тем, что в отличие от "второй" части "первая" в обоих произведениях представлена одним и тем же жанром — пейзажная картина (ландшафт местности, где расположена деревня) и взята в общем обоим текстам стилистическом ракурсе — идиллический пейзаж. Следовательно, в этом отношении возможности обоих авторов в отношении разнообразия были существенно ограничены. Еще большие ограничения (уже не только для авторов, но и для исследователей, сравнивающих эти "пейзажные" тексты с точки зрения их сходство и различий) возникают из-за того, что пушкинский "пейзажный" текст очень короток (12 стихов, к которым условно можно присоединить еще два-три стиха). В этих условиях описание пейзажа, по сути дела, сводится к конспекту элементов пейзажа, некоему реестру реальных картины, в которой они объединены "слабой" связью, не позволяющей должным образом иерархически упорядочить предметы изображения. Естественно, что предикативный (прежде всего — глагольно-предикативный) слой отрывка (собственно — описания) подавлен в главных предложениях и обнаруживает себя в придаточных (только *шумят и белеет*), что вообще характерно для подобного типа описаний. Слабое упорядочение (перечисление в "необязательном" порядке, — так, как элементы пейзажа фиксируются взглядом) достигается вводными узлами почти бесконечной валентности, но малой интенсивности — *люблю &...; Везде передо мной подвижные картины: & ...; вижу & ...* Некоторые пространственные уточнения (в частности, по оси — *б л и з к и й — д а л е к и й*, *п е р в ы й п л а н — в т о р о й п л а н*) вносятся локальными кванторами: *Везде ... здесь ... За ними ... Вдали ... Везде ... Ср.:*

Я твой — л ю б л ю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной п о д в и ж н ы е к а р т и н ы :
Здесь в и ж у двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака белеет иногда,

За ними ряд холмов и нивы полосаты,
 Вдали рассыпанные хаты,
 На влажных берегах бродящие стада,
 Овины дымные и мельницы крылаты;
 Везде следы довольства и труда...⁸⁹

Естественно, что между этим отрывком и пейзажем Оберна (*Auburn*) в "The Deserted Village" немало общего — преобладающая тональность; установка на "перечислительность" (также с подавленной предикативностью), вуалируемая отчасти "расширениями" в виде придаточных предложений с *Where*, выносимым в начало стиха (ср.: *Sweet Auburn, loveliest village of the plain, I Where health and plenty cheered the labouring swain, I Where smiling spring its earliest visit paid .. или ... Where humble happiness endeared each scene* — при *Сей луг [...]*. | *Где светлые ручьи в кустарниках шумят или Здесь вижу двух озер лазурные равнины, | Где парус рыбака белеет иногда*) или эмфатическими подъемами, начинающимися с *How often...* (*How often have I loitered o'er thy green...; How often have I paused on every charm...; How often have I blest the coming day...* и т.п.)⁹⁰; набор элементов пейзажного описания: деревня (у Пушкина только в заглавии), роща (дубрава), сад, луг, ручей, поля, холмы, кустарник, мельница, жилища крестьян (хаты) и т.п.⁹¹; кое-что относящееся к порядку введения (следования) этих элементов в текст; слова, оценивающие изображаемую картину, отношение к ней автора, его настроение в связи с нею (счастье, блаженство и т.п.), но находящиеся, строго говоря, за пределами самого "пейзажного" текста; начальное возгласие-приветствие (*Sweet Auburn, loveliest village of the plain* — *Приветствую тебя, пустынный уголок...*) и т.п. Нельзя не отметить и более тонкого сходства — портретность, автобиографичность описываемой картины, живое чувство личной связи с ней, актуальность переживаемого (отсюда и характерная для обоих авторов повторяемость этих описаний, ср. у Пушкина "...Вновь я посетил" и некоторые другие отражения пейзажей Михайловского и Тригорского)⁹².

Но этот довольно гутсой слой сходств, которые при определенных условиях могли бы толковаться как переключки, и даже сугубая конкретность целого ряда деталей, давая многочисленные основания для постановки вопроса о знакомстве Пушкина с творчеством Голдсмита, все же не позволяя, видимо, дать однозначный ответ.

И, однако, существует еще один очень важный аргумент, который, вероятно, склоняет к положительному ответу на поставленный вопрос. В данном случае речь идет о до сих пор не отмечавшемся факте весьма

значительной близости "Деревни" к русскому тексту перевода голдсмитовской поэмы — "Опустевшей деревни" Жуковского, близости, существенно и, можно сказать, принципиально иного рода, нежели то общее сходство, которое объединяет "Деревню" с английским текстом "The Deserted Village" (далее — DV). Эта близость основана, в частности, и на таких деталях (самых по себе, может быть, и незначительных), которые обладают большой свидетельской силой.

Несколько примеров проясняют ситуацию. Стих из "Опустевшей деревни" (далее — ОД) *Крылатых мельниц ряд, в кустарнике ручей*, 15 (в соответствии с *The never failing brook, the busy mill* у Голдсмита — DV) откликается в "Деревне" в двух стихах — *Где светлые ручьи*⁹³ *в кустарниках шумят* и *[Овины дымные] и мельницы крылаты* (к связи мельницы и ручья ср.: *Журча еще бежит за мельницу ручей*. — "Осень", 1833; ср. также *Журча — шумят*). "Крылатость" мельниц и кустарник, отсутствующие здесь у Голдсмита⁹⁴, могут быть мотивированы только обращением к тексту Жуковского (впрочем, похоже, что и *ряд / крылатых мельниц /* отразился в "Деревне" по соседству — *За ними ряд холмов...*). Усвоение этих уроков обнаруживается и позже, ср.: [...] *там за ними / Скривилась мельница, на силу крылья / Ворочая при ветре...* — "Вновь я посетил..." в контексте, близком к описанию пейзажа в "Деревне".

Другой пример. Четыре стиха из DV, начинающиеся с обращения к деревне — *Sweet smiling village, loveliest of the lawn...* и т.д., Жуковский передает в ОД более чем условно: некоторая близость присутствует лишь в первом стихе этого отрывка; далее следует вставка, в которой можно видеть дань воспоминаниям о Мишенском и которая практически почти ничего общего не имеет с "социальной" инвективой Голдсмита: *Thy sports are fled, and all thy charms are withdrawn; / Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen, / And desolation saddens all thy green*. Вставка Жуковского имеет следующий вид:

О, родина моя, о, сладость прежних лет!
 О, нивы, о, поля, добычи запустенья!
 О, виды скорбные развалин, разрушенья!
 В пустыню обращен природы пышный сад!
 На тучных пажитях не вижу резвых стад!
 Унылость на холмах! В окрестностях молчанье!

Вероятно, объектный состав этой картины и некоторые интонации были учтены в пейзаже "Деревни" и ряда других, более поздних, стихотворений Пушкина, хотя следует помнить, что "идиллически-поло-

жительный" пейзаж "Деревни" отличен и даже противоположен "отрицательной" картине в ОД. Эта противопоставленность четче всего выявляется в ключевой конструкции (по существу, единой в своей основе) обоих сопоставляемых отрывков. Ср., с о д н о й стороны:

Здесь в и ж у [...] & На влажных берегах бродящие с т а д а и, с д р у г о й стороны (в реконструкции инварианта):

**Не в и ж у & *На тучных пажитях резвых с т а д*

(реально: *На тучных пажитях не вижу резвых стад* — ОД)⁹⁵. В этих рамках *На в л а ж н ы х б е р е г а х* связывается с *На тучных п а ж и т я х*. В основе этих двух примеров — общая конструкция *На & Loc. Pl. Adj. & Subst.*, фонетически скрепленная (помимо общих звуковых комплексов в соответствующих морфемах) ярким сочетанием *аж* (под ударением)⁹⁶. Все это создает условия, когда начинают актуализироваться и другие схождения, почти приобретая статус переключек (ср. *нивы, поля, сад, холмы; пустынный* и т.п.).

Эти и подобные им совпадения, разумеется, не исключают отдельных примеров, когда текст "Деревни" как бы через голову ОД соотносится с английским текстом DV. Таков случай с важным в зрительном восприятии пейзажа мотивом *разбросанности*, *рассредо-точности*, *"рассыпанности"* крестьянских поселений — от изб, домиков, хижин до деревушек. *Вдали рассыпаные хаты* из "Деревни" (как и ... *По берегам отлогим / Рассеяны деревни* ... — "Вновь я посетил...") под этим углом зрения сопоставимы со стихом из DV — *Along the lawn, where scattered hamlets rose...*, повторяющим аналогичный стих из "The Traveller" — *And over fields where scatter'd hamlets rose* ... В переводе Жуковского никакого соответствия стиху из DV нет. Есть, наконец, случаи, когда именно "The Traveller" мог бы быть понят как источник отдельных образов и мотивов "Деревни" при том, что их нет ни в ОД, ни в DV. Для стихотворения Пушкина важен образ *паруса рыбака*, который белеет на о з е р н о й равнине — *Здесь вижу двух озер лазурные равнины, / Где парус рыбака белеет иногда*. Этот образ документален, и отсылает к личному жизненному опыту поэта. Более чем через полтора десятилетия, оказавшись снова в Михайловском, в стихотворении, написанном 26 сентября 1835 г., поэт вернется к той же картине:

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижно — и глядел
На о з е р о , вспоминающая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив золотых и пажитей зеленых

Оно синяя стелется широко;
 Через его неведомые воды
 Плывет рыбаки и тянет за собой
 Убогий невод⁹⁷.

Ни паруса, ни рыбака, ни озера нет в DV. Нет их и у Жуковского в ОД, если не считать *Рыбачья хижина*, 14, *хижина рыбачья*, 93 (теме рыбака в DV нет соответствия, ср. в первом случае *The sheltered farm*, во втором — *the cottage*). Зато образ паруса, как и озера, как бы восстанавливается (и тоже в описании пейзажа) в поэме Голдсмита "The Traveller": *Ye lakes, whose vessels catch the busy gale*, о судах на озере, ловящих (парусами) свежий ветер⁹⁸.

Продолжая тему переключек между "Деревней" и ОД (а следовательно, и поэмой Голдсмита DV, хотя бы и опосредствованно), можно привлечь внимание еще к ряду примеров.

На фоне *тишины полей, в пустынном уголке, приюте спокойствия, в уединенной величавом*, когда в душевной зреют глубине творческие думы, особенно рельефно выступает мотив шума. Этот шум исходит от природы, он мирный и по-своему тоже успокаивающий, пробуждающий то творчество, которое не терпит суеты (*Служенье Муз не терпит суеты*). Поэтому поэт и променял эту суету (шум, отвлекающий от творчества) — *порочный двор цирцей, / Роскошные пиры, забавы, заблужденья* — на нечто ей противоположное, *на мирный шум дубров, на тишину полей*, которую, на глубине, не нарушает то, что *светлые ручьи в кустарниках шумят*. Мотив этого благотворного шума отсутствует в DV, в самом тексте, на уровне языкового выражения, хотя и легко восстанавливается (ср. мирные забавы и развлечения поселян — смех, веселые пляски, состязания молодежи и т.п.). Жуковский в ОД, наряду с усиленным подчеркиванием мотива тишины, уединения, мира (*мирный край*, 35 при невыраженности этого мотива в DV, *мир души*, 82, *дубравы тихие*, 6 при отсутствии соответствия в DV, *Все тихо! все мертво! замолкли песней клики*, 49, *В окрестности молчанье!*, 45, ... *Повременно сие молчанье нарушают*, 53, *Скитаюсь по полям — все пусто, все молчит*, 91, *тихий сон*, 79, ср. *беспечной тишиной*, 115 и т.п., как правило, без соответствий в английском тексте), вводит и мотив благотворного шума, также отсутствующий в DV: *Когда ж, в досужный час, шумящая толпой, / Все жители села под древний вяз стекались...*⁹⁹.

Тишина и шум, принадлежа пейзажу (так сказать, "озвучивая" его), вместе с тем не укладываются в "Деревне" целиком в его рамки: скорее, они определяют условия бытия, объектный мир и субъекта его воспри-

ятия, творчества, самого поэта. В этой связи нужно сказать, что к тому же кругу, что тишина, принадлежат и другие определения типа — *пустынный уголок, приют спокойствия трудов и вдохновенья, на лоне счастья и забвенья, в уединении величавом* и др. Некоторые из них находят себе близкие соответствия в ОД, чаще всего или помимо DV или точнее и ближе в отношении языковой формы, чем в DV. Несколько примеров.

Пустынный уголок перекликается с *отчий уголок* (Так, мнил я, переждав изгнанничества срок, / Придти, с остатком дней, в свой отчий уголок — ОД, 112, ср. у Голдсмита: *Here to return — and die at home at last* в соответствующем стихе) по теме *у г о л к а*¹⁰⁰ и по теме *п у с т ы н н ы й* с целым рядом воплощений этой темы в ОД (*пусто*, 91, *пустыня*, 43, 95, *запустенье*, 41, *пустырь*, 50, 88 и др.).

В *уединении* обнаруживает соответствие в переводе Жуковского также в ряде примеров — *Я миром почитал свой край уединенный*, 10, *пещер уединенный*, 98, *О, дни преклонные в тени уединенья*, 113.

К *лону счастья и забвенья* ср. в ОД *О, сени счастья* [...], 7 (вместо *Seats of my youth*. — DV), как *здесь я счастлив был!*, 11 (при *Where humble happiness*. — DV), *Где счастье? где любовь?...* 39 (в DV отсутствует), с одной стороны, и ... *Волшебных, райских дней, когда судьбой забвенный* [...], 9 (стих, не имеющий опоры в DV); ... *Я мечтал, в сих хижинах забвенных*, [...], 105 (без соответствия в DV), с другой стороны.

Примерно то же можно было бы сказать и о других перекличках этого типа¹⁰¹, иногда захватывающих и "отрицательную" сферу. *Тягостный ярем* в "негативном" контексте "Деревни", похоже, ориентирован на фрагмент ОД, данный в несколько иной тональности — ... *где селянин, трудами утомленный, / Свой тягостный удел обилем услаждал*, 2-3 (при весьма отличном стихе в DV: *Where health and plenty cheered the labouring swain*)¹⁰².

Все перечисленные сходства между пейзажным открывком "Деревни" и соответствующей ему частью в ОД, чаще всего не распространяющиеся на поэму Голдсмита, переводом которой является ОД, должны быть признаны весьма существенным аргументом в пользу знакомства Пушкина с ненапечатанным к тому времени переводом Жуковского. Доказательность этого предположения отчасти может возрасти при учете всего контекста сходств, касающихся элементов пейзажа, концентрированно поданных на очень ограниченном пространстве. Ср. в порядке следования (на первом месте примеры из "Деревни", на втором — из ОД):

- Дубровы (мирный шум дубров) — Дубровы тихие..., 6;
 Густой, согбенный дуб..., 16; Иль дуба на холме..., 94; Где
 роши и холмы стадами оглашались, 74;
- поля (на тишину полей — Где лето медлило разлукою с
 полями, 5; Где пышность и краса полей одушевленных,
 38; О, нивы, о поля..., 41; Скитаюсь по полям..., 91;
- сад (люблю сей темный сад с его прохладой и цветами) — природы
 пышный сад, 43 (к прохладности и цветущести ср. в ОД:
 с тенистыми главами, 6 / к темный X прохладный/
 цветущий рай, 36; Где ваш цветущий рай? 83);
- луг (Сей луг, уставленный душистыми скирдами) — Где вы, луга,
 цветущий рай?, 36;
- ручей (Где светлые ручьи в кустарниках шумят) — в кустарнике
 ручей, 15;
- кустарник, см. ручей;
- холм (За ними ряд холмов...) — Где роши и холмы..., 74; Ищу
 ли [...] | Иль дуба на холме..., 94; И церковь на холме..., 18;
 Унылость на холмах!, 45;
- нивы (... и нивы полосаты) — О, нивы, о, поля..., 41; Владелец
 нив своих..., 66; Где прежде нив моря..., 73;
- хаты (Вдали рассыпанные хаты) — Рыбачья хижина с
 соломенным покровом, 14; Ищу ли хижины рыбачьей..., 93;
 ... Я мечтал, в сих хижинах забвенных..., 105; Оратай
 отчужден от хижины родной!, 72; ... скромны сельски
 дома, 18¹⁰³;
- стада (На влажных берегах бродящие стада) — ... не вижу резвых
 стад, 44; Где роши и холмы стадами оглашались, 74;
- мельницы крылаты (Овины дымные и мельницы крылаты) —
 Крылатых мельниц ряд..., 15.

Наконец, характерной чертой, сближающей этот пейзажный инвентарь "Деревни" и ОД, нужно считать некоторые особенности распределения элементов пейзажа. В ряде случаев в обоих текстах (и опять-таки чаще всего вразрез с DV обнаруживается тенденция к одинаковому попарному введению этих элементов, ср. соседство дубровы — поля, ручей — кустарник, холм — хата, нивы — стада (ср. также мельницы крылаты — хаты).

9. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Весь этот сравнительный анализ "Деревни" и "Опустевшей деревни" приводит как к ряду выводов, представляющихся вероятными, так и к выдвижению новых вопросов, от решения которых зависит и уточнение самих выводов и наметки будущих исследовательских перспектив в этой области. О последних здесь говорить не придется, а среди напрашивающихся выводов наиболее важны:

1. "пейзажные" отрывки "Деревни" и "Опустевшей деревни" реализуют некий единый комплекс образов и тем, выдержанный в сходной стилистической и языковой манере;

2. объяснение сходству между этими текстами следует видеть скорее всего в знакомстве Пушкина с неопубликованным переводом Жуковского;

3. тем самым предполагается, что через посредство Жуковского Пушкин познакомился с Голдсмитом, конкретно — с "The Deserted Village";

4. некоторые данные позволяют считать возможным как знание некоторых других текстов Голдсмита ("The Traveller"), так и вообще допущение об обращении Пушкина к текстам английского писателя и в не переводческого опыта Жуковского.

В связи с последним пунктом снова встает вопрос, который когда-то был поставлен относительно "Странника" в соотношении с "The Pilgrim's Progress"¹⁰⁴, — обращался ли Пушкин к английскому тексту в подобных случаях. Сознвая недостаточность (или недостаточную выявленность) данных и трудности их истолкования, пока приходится констатировать то, что уже наблюдалось некоторыми исследователями в сходных ситуациях — весьма правдоподобное знакомство с русским (или французским) переводом данного английского текста при помощи вероятного (хотя бы очень неполного, частичного) представления и об английском тексте; точных и вполне надежных свидетельств знания английского текста мало, но некоторые детали позволяют предполагать обостренное внимание к отдельным элементам этого текста и большую тонкость в усвоении и передаче их средствами русской поэзии. Подобное положение, как показывает опыт, чаще всего возникает при так называемом "подсобном" пользовании подлинником, связанном с неполным (или даже просто слабым) знанием соответствующего языка, но умением отождествлять "нужные" (избранные) места и при случае "обыгрывать" это знание, подчеркивая, так сказать, "документальность" перевода, создавая иллюзию подлинности. Такое пользование текстом подлинника предполагает конечно, знание его содержания

по какому-либо другому источнику (переводу на родной язык или некий третий язык, выступающий как посредник)¹⁰⁵.

И, наконец, последнее в связи с изучаемым здесь аспектом. Разумеется, даже при безусловно положительном ответе на поставленный выше вопрос о знании Пушкиным голдсмитовского текста было бы глубоким заблуждением рассматривать хотя бы какую-то часть "Деревни" как перевод, даже и с сугубо ограниченными целями или же "переложение" этого текста. В любом случае речь идет о более тонком "общении" художественных текстов и их структур в двух разных литературных традициях и о создании таких синтезов "своего" и "чужого", "субъективно-биографического" и "объективно-безличного", индивидуального и универсального, которые ведут к высшим художественным достижениям, к тому, что "личностно-жизненная" *Wahrheit* становится плотью самой *Dichtung*. Не случайно, что каждый из трех этих поэтов в своем творчестве возвращался к изображению того же самого пейзажа, и эта его "возвратность", значимая и сама по себе, в данном случае приобретает особый смысл: речь идет о некоем эмпирическом пейзаже дней счастливой молодости, который стал "основным" пейзажем, пейзажем *par excellence*, пейзажем-эталоном, пейзажем-идеей и тем самым обнаружил свою живую связь со сферой "прототипического".

Одна из тонкостей проанализированного взаимодействия проистекает из ситуации посредничества, в которой главную роль играл перевод "The Deserted Village", сделанный Жуковским. Эта ситуация объясняет и то сложное соотношение, которое существует между "Деревней" и сопоставимыми с нею частями поэмы Голдсмита, и эффект "вторичной" отраженности, доставляющий исследователю столько трудностей при попытках эксплицировать взаимосвязь двух текстов, одновременно и разъединенных и соединенных третьим текстом, текстом-посредником. Наконец, важно учитывать, что сама эта ситуация посредничества, будучи принята, неизбежно вызывает другой вопрос — каким образом мог стать известен Пушкину текст "Опустевшей деревни". Строго говоря, нет никаких фактов (или во всяком случае они никогда не были приведены), свидетельствующих об этом знакомстве, кроме результата сопоставления двух текстов — данных об их соотношении, но сами эти результаты образуют новый уровень "вторичных" фактов, которые только и могут осветить то, что оставалось "невидимым" как раз из-за отсутствия (или неизвестности) "первичных" фактов¹⁰⁶. "Невидимое" и внутреннее как бы меняется своей ролью с "видимым" и внешним, и исследователь должен, преследуя свои цели, помнить об этой парадоксальной ситуации. Что же касается определения конкрет-

ных условий, в которых Пушкин мог познакомиться с переводом Жуковского (а через него и поэмой Голдсмита), то некоторые предположения на этот счет были сделаны выше.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Характерно отсутствие всяких упоминаний имени Голдсмита в связи с Пушкиным в основоположных и очень детальных трудах М.П. Алексеева о русско-английских литературных связях, с одной стороны, и о Пушкине в контексте его связей с европейскими литературами, с другой. См. *М.П. Алексеев. Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века)*. — Вкн.: *Литературное наследство*. Т. 91, М., 1982; *Он же. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования*. Л., 1984. То же можно сказать и о других исследованиях о связях Пушкина с английской литературой. Ср. также *E.J. Simmons. English Literature and Culture in Russia (1553-1840)*. Cambridge. Mass., 1935 и др.
- 2 См. *Б.Л. Модзалевский. Библиотека А.С. Пушкина. Библиографическое описание*. — В кн.: *Пушкин и его современники. Материалы и исследования*. СПб., 1910 вып. 9-10; *Он же. Библиотека Пушкина. Новые материалы*. — В кн.: *Литературное наследство*. Т. 16-18, М., 1934. Среди книг Пушкина сохранились отдельные тома серии "Bibliothèque universelle des romans", в которой в свое время была дана перепечатка "Векфилдского священника", а также комплект издаваемого Гриммом и Дидро журнала "Correspondance littéraire", поместившего в 1767 г. статью (как предполагают, Дидро), в которой положительно оценивается французский перевод романа Голдсмита, сделанный мадам de Montesson в том же 1767 г. См. *М.В. Разумовская. К вопросу о некоторых литературных традициях в "Станционном смотрителе"*. — *Русская литература*. 1986, № 3, 131-132.
- 3 Тема России занимала Голдсмита, по крайней мере, в двух отношениях — актуально-политическом и культурно-типологическом. С одной стороны, он видел в России обширнейшую и могущественную империю, занимающую почти треть Старого Света и благодаря форме ее правления грозящую стать еще сильнее и опаснее для Западной Европы (ср. вышедшую в 1762 г. книгу Голдсмита "The Citizen of the World or Letters from a Chinese Philosopher Residing in London to His Friend in the East", особенно Letter LXXXVII; русский перевод — *Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке*. М., 1974; впрочем, один из фрагментов был переведен более чем на два века раньше, вскоре по выходе в свет английского издания, и появился в академических "Ежемесячных сочинениях и известиях о ученых делах", ср. *Ю.Д. Левин. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века*. — В кн.: *Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы*. Л., 1967, 26). С другой стороны, Россия интересовала английского писателя как совершенно особый культурно-исторический тип, характеризующийся экзотичностью, разно-

образием и многокомпонентностью. Китаец Lien Chi Altangi в письмах в Пекин к Fum Hoam'у, "First president of the ceremonial academy", сообщает детали своего путешествия через всю Россию (тунгусы, дауры, остяки, татары, калмыки; Иртыш, Урал, Уфа, Казань, Волга, Москва и т.п., особенно в "Письме XCIV" — *From Hingpo in Moscow to Lien Chi Altangi in London*). Среди них есть и интересные в этнографическом отношении наблюдения, которые по достоинству могут быть оценены лишь теперь (ср. рассказ "A Mushroom feast among the Tartars", Letter XXXII в связи с культурно-микологическими исследованиями R.G. Wasson'a о галлюциногенных свойствах некоторых видов грибов); иногда они носят курьезно-юмористический характер (ср. "The Russian method [scil. of treating women caught in adultery]. Letter XIX, который получает высокую оценку: "Of all nations, the Russians seems to me to behave most wisely in such circumstances..."); в других рисуются важные черты жизни, в частности, относящиеся к структуре общества и социальным конфликтам. Особый интерес в этой связи представляет отрывок, описывающий ситуацию на Волге за десять лет до пугачевского бунта:

Upon leaving Terki, we took the nearest road to the dominions of Russia. We passed the Ural mountains covered in eternal snow, and traversed the forests of Ufa, where the prowling bear and shrieking hyena keep an indisputed possession. We next embarked upon the rapid river Bulija, and made the best of our way to the banks of the Wolga, where it waters the fruitful valleys of Casan.

There were two vessels in company properly equipped and armed in order to oppose the Wolga pyrates, who we were informed infested this river. Of all mankind these pyrates are the most terrible. They are composed of the criminals and outlawed peasants of Russia, who fly to the forests that lie along the banks of the Wolga for protection. Here they join in parties, lead a savage life, and have no other subsistence but plunder. Being deprived of houses, friends, or a fixed habitation, they become more terrible even than the tyger, and as insensible to all the feelings of humanity. They neither give quarter to those they conquer, nor receive it when overpowered themselves. The severity of the laws against them serve to encrease their barbarity, and seem to make them a neutral species of beings between the wildness of the lion and the subtilty of the man. When taken alive their punishment is hideous. A floating gibbet is erected, which is let run down with the stream; here upon an iron hook stuck under their ribs, and upon which the whole weight of their body depends, they are left to expire in the most terrible agonies; some being thus found to linger several days successivley [...]" (Letter XCIV).

О "русской" теме и ее источниках в "Гражданине мира", а также в публицистике Голдсмита, связанной со злобой дня, см. М.П. Алексеев. Русско-английские связи..., 117-118, 171-172; ср. также

А.Г. Ингер. Проблематика творчества Голдсмита-журналиста. — Ученые записки Читинского государственного педагогического института. Труды кафедры русского языка и литературы. Вып. V. Чита, 1961, 85-98 и др. Но Голдсмита интересовала и русская столичная жизнь, нравы и обычаи двора и высшего слоя общества. В одном из своих "Очерков" он описал петербургские ассамблеи (Essay VII), -приложив к описанию перевод "Объявления, каким образом ассамблеи отправлять надлежит" (СПб., 1718), сделанный, как утверждается, впервые самим Голдсмитом.

"Русская" тема в "Гражданине мира" как бы восполняет (точнее, предвзвешивает) "итальянскую", "швейцарскую", "французскую", "голландскую" и "британскую" темы в поэме "The Traveller" и других сочинениях. Наконец, "русская" тема находит себе место на фоне еще более обширной схемы историко-культурной типологии, ср. такие исследования Голдсмита, как "History of England", "The Roman History" и др., не говоря уже о посмертно вышедшей двухтомной "Истории Греции". Следует отметить, что с середины 10-ых годов эти исторические сочинения Голдсмита начинают — при этом очень концентрированно — появляться в русских переводах. Ср.: Сокращенная история Греции. Сочинение Гольдшмида. Перевел с англ. Алексей Огинский. Ч. 1-2. СПб., 1814-1815 (2-ое изд. — 1815-1823); История Римская от основания Рима до падения Западной Империи, Сочинение Гольдсмита. Перевел с франц. Павел Яковлев. Ч. 1-4. СПб., 1815-1818; История Римская от основания Рима до разрушения Западной Империи. Перевел с англ. Алексей Огинский. Ч. 1-2. СПб., 1819-1820; Сокращенная история Англии. От нашествия Юлия Цезаря до смерти Георга III [так! — В.Т.]. Сочинение Гольдсмита. Перевел с англ. Алексей Огинский. Ч. 1-2. СПб., 1820-1821.

- 4 Интересно, что значение китайской темы не уменьшается и позже, и соответствующие публикации помешаются в тех же изданиях, где и переводы естественно-научных работ Голдсмита, нередко бок о бок с ними. Ср. "Академические известия" на 1779: "Та-Гио или Великая наука" (в переводе Д.И. Фонвизина), 59-101; "Описание чиноположения об освящении земледелия производимаго в Китае императором и государственными людьми", 267-274; на 1780 г.: "О Китайских и Индийских математиках", 2-18 (сент.); "О благоговении сыновнем у китайцев", 516-528; на 1781 г.: "Дневные записи караванному пути... до Пекина. 1736 году", 466-505; — "Новые Ежемесячные Сочинения", 1788; "Описание Китайских войск и военного их порядка", 47-55; 1789: "О чае", 93-99 (июль); "О Китайских Мандаринах", 100-106 (сентябрь); "О Китайском лаке", 68-73 (декабрь); 1790: "Обряды Китайцев во время их пиршеств", 77-92 (январь); 1791: "Описание камня Ю в Китае находящегося", 11-14 (август); 1793: "Примечание о прикосновенных около Китайской границы жителях [...], деланныя Егором Пестеревым с 1772 по 1781 год", 59-82 (январь) и др.

- 5 Характерна очередность реализации этой программы. В 1770 - 1771 гг. выходит перевод "Повесть о Томасе Йонесе" Филдинга (2-ое изд. — 1787), в 1786 г. — "Векфилдского священника", в 1787 г. — "Памелы" Ричадсона (1796 г. перевод был издан в Смоленске), в 1791-1792 гг. — "Клариссы", в 1793-1794 гг. — "Грандисона", см. *В.В. Сиповский*. Из истории русского романа и повести. СПб., 1903; ср. *В.И. Резанов*. Из разысканий о сочинениях Жуковского. СПб., 1906, 312. — Здесь стоит упомянуть о любопытной встрече с Голдсмитом на "чужой" почве: В 60-ые годы во Франции появилась книжечка под названием: *Asême, conte philosophique, traduit de l'anglois de Goldsmith par le Prince Boris A. Golitzyn, suivi de contes et d'essais du même auteur [S.l. n.d.]*. In — 8 (= *Asem, an Eastern Tale /3rd Essay/*. 1765). Несмотря на многие неясности, князь Б.А. Голицын был очевидно, одним из первых русских людей, познакомившихся с Голдсмитом и переведивших его. См. *Bibliography of French Translations of English Works. 1700-1800*. By Charles Alfred Rochedieu. Chicago, Illinois, 1948, 126-127.
- 6 См. *А.В. Западов*. Английские авторы в изданиях Н.И. Новикова. — В кн.: "Русско-европейские литературные связи". М.-Л., 1966, 82, где отмечается, что перевод романа не всегда удовлетворителен, "слог порой тяжел и громоздок, но в целом стоит на уровне хороших переводов своей эпохи".
- 7 Эта баллада в переводе Жуковского, нужно думать, получила косвенное отражение в важном событии театрально-литературной жизни того времени, которое в свою очередь сильно способствовало оформлению позиции "карамзинистов" и "староверов-шишиковистов" и началу обостренной полемики между ними ("Арзамас" и "Беседа"). Как известно, 23 сентября 1815 г. на сцене Нового театра, в доме Ланского-Молчанова на Дворцовой площади, была поставлена комедия А.А. Шаховского "Урок кокеткам или Липецкие воды". Это был второй резкий выпад этого драматурга против карамзинизма в широком смысле слова. В лице поэта Фиалкина (его роль исполнял Климовский) осмеивался Жуковский и принципы его поэтики. Современник, присутствовавший на первом представлении, воспоминает:

"Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием "Липецкие воды или Урок кокеткам". Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все изъявили согласие, кроме двух оленистов.

Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия

была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его ни к селу, ни к городу вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело испортило. В поэте Ф и а л к и н е [разрядка наша. — В.Т.] в жалком вздыхателе [...] хотел он представить благородную скромность Жуковского; и, дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно, что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него судящих друзей его! Перчатка была брошена [...]" (см. Ф.Ф. Вигель. Записки. М., 1928, т.2, 61).

Нужно сказать, что некоторые особенности речи Фиалкина, читающего, кстати, по ходу пьесы свою балладу, обыгрывают характерные для Жуковского слова (ср., например, частое искользование Фиалкиным слова *прелестно* при характерном в переводе Жуковского *Любовь... любовь прелест игроку* вместо *And love is still an emptier sound...* в английском тексте), мотивы, темы и образы (ср.: Ф и а л к и н. *В балладах* [...]) | *И полночь, и петух, и звон костей в гробах; | И чу! — Все страшно в них; но милым все приятно, | Все восхитительно! хотя невероятно...* и т.п.), присутствующие, в частности, и в "Пустыннике". Более того, сама фамилия поэта-вздыхателя Фиалкин могла бы ассоциироваться с образом того же цветка из перевода Жуковским этой голдсмитовской баллады (кстати, в английском тексте этот конкретный образ отсутствует, ср *blossom* в строфе 31; строфа 30, впервые введенная в балладу лишь в 1801 году в "Miscellaneous Works", отсутствует в переводе Жуковского): *Роса на розе, цвет душистой | Ф и а л к и полевой | Едва сравниться могут с чистой | Эдвиновой душой*. — Концовка комедии (осмеяние Фиалкина в связи с крушением его любовных планов) построена как "обратная" по отношению к финалу "невероятной" встречи-соединения в "Пустыннике". Следует также заметить, что пара Мальвина и Эдвин отчасти отозвалась в другой паре — Эльвина и Эдвин — из одноименной баллады Жуковского (написана 28-30 октября 1814 г.; напечатана — "Амфион" 1815, февр., 177: с пометой: "С англин."); русский текст представляет собой перевод-изложение баллады Д. Маллета "Edwin and Emma"), с характерной заменой женского имени и выдвиганием его на первое место. Значение баллады "Пустынник" как одного из ближайших источников

"партии" Фиалкина в комедии Шаховского тем больше, что некоторые другие "кладбищенские" баллады Жуковского появились позже и поэтому, естественно, не могли быть использованы в "Липецких водах".

- 8 См. В.А. Жуковский. Полное собрание сочинений в 12-ти томах. Под ред. проф. А.С. Архангельского. Т.1. СПб., 1902, 22-24.
- 9 О ранних переводах Голдсмитта см. Ю.Д. Левин. Английская поэзия и литература русского сентиментализма. — В кн.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970, 271; Он же. Английская просветительская журналистика..., 26, 63, 68, 71, 75, 99, 103, 104; А.В. Западов. Английские авторы..., 82-83. — Также нужно помнить, что еще в царствование Екатерины II Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, отец декабристов, представил в Эрмитажный театр к постановке пьесу под названием "Ошибки, или Утро вечера мудренее", являющуюся переложением "веселой" комедии Голдсмитта "She Stoops to Conquer: or the Mistakes of a Night", 1773, имя которого, однако, не упоминалось. См. Приложение V.
- 10 См. Le Ministre de Wakefield, histoire supposée écrite par lui-même. Traduit de l'anglais. Londres, Paris. 1767. Т. 1-2.
- 11 См. С.-P. Barbier. Goldsmith en France au XVIII siècle: Les "Essays" et le "Vicar of Wakefield". — RLC 1951, N 4, 380-399; J. Lambert, K. Van Bragt. "The Vicar of Wakefield" en langue française: Traductions et ruptures dans la littérature traduite. Leuven, 1980; М.В. Разумовская. Указ. соч., 131-132.
- 12 См. М.П. Алексеев. Английский язык в России и русский язык в Англии. — Ученые записки ЛГУ. Nr. 72, серия филологических наук, выпуск 9, 1944.
- 13 Покровительствуемый Екатериной II (ср. высказывания о нем в "Antidote", 1770, как о поэте, приближающемся по силе к Ломоносову и превосходящем его в гармонии), Петров был командирован в Англию в 1772 г. для продолжения образования. Русский поэт изучил английский язык, заинтересовался Мильтоном, Аддисоном, Попом, несомненно, кое-что усвоил (о чем, в частности, свидетельствует его эпистола "К ... из Лондона", 1772 /?/, отчасти воспроизводящая стиль посланий Попа) и — в известной степени — способствовал ознакомлению русской публики с английской литературой (ср. его перевод прозой "с аглинского" трех песен мильтоновского "Потерянного рая", 1777). Во время пребывания в Англии Петров, несомненно, проникся просветительским энтузиазмом, стремлением к знанию, к науке, к тем возможностям, которые открылись перед ним теперь. Эти

мотивы постоянны в его стихотворных посланиях, обращенных к другу и спутнику по поездке в Англию Г.И. Силову:

Так, Силон! рассвело, воспрянем ото сна,
Нас бодрствовать манит прекрасная весна;
Растворим чувства, способности разбудим
И размышленьем мысль быстрее течь принудим.

.....
Талантам надобны возделанья всегдашны,
.....
Ум пищи требует, и знать его стремленье,
.....
Все можно одолеть упорностью труда,
.....
Свет мыслей бдением приобретают люди,
От нашей собственной здесь все зависит груди.
.....
В отворенны наук нас время вводит двери;
.....
Рассудна быть должна к премудрости любовь,
Что чтеши, превращать, как пищу в сок и кровь.
От углубленья дум мы в знаниях возмогаем...
("Галактиону Иванову Силову")

или:

Да Росску грудь умов британских луч зарит...

или:

И Темзы на берегах вдруг с музами спознался...
(из первого послания к Силову) и т.п.

Но энтузиазм Петрова оказался, как и его английские симпатии, видимо, недолговременным, и в целом его творчество не стало заметной вехой в истории русско-английских литературных связей. См. теперь А.Г. Кросс. Василий Петров в Англии (1772-1774). — "XVIII века". Л., 1976, сб. 11, 229-246 (по материалам писем Петрова А.А. Самборскому).

14

См. М.П. Алексеев. Указ. соч. 110 и сл. Можно напомнить, что уже в 1794 г. в апрельской и майской книжках (ч. 94 и ч. 95) "Новых Ежемесячных Сочинений" появилось "Разсуждение о печальном лицедейственном представлении" (18-28, 6-14), которое представляло собой перевод с латинского тезисов, предложенных князем Павлом Михайловичем Дашковым в 1779 г. и для состязания в славном Эдинбургском университете при получении степени свободных наук Магистра". — При более широком подходе

уместно иметь в виду и англо-русские связи, о которых см. А. Мейендорф. Англичане XVII и XVIII столетий о русских и России. — "Сборник статей, посвященных П.Б. Струве". Прага, 1925, 299-311; E.J. Simmons. Op. cit.; D. Gerhard. England und der Aufstieg Rußlands. München, 1933; M.S. Anderson. Britain's Discovery of Russia (1553-1815). London, 1958; H.W. Nerhood. To Russia and Return: An Annotated Bibliography of Travelers' English-Language Accounts of Russia from the Ninth Century to the Present. Ohio Univ., 1968; P.A. Crewther. A Bibliography of Works in English on Early Russian History to 1800. Oxford, 1969; А.Г. Кросс. "Замечания" сэра Джона Синклера о России. — "XVIII век". Л., 1975, сб. 10, 160-163; Э.П. Зиннер. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII в. Иркутск, 1963; Л.А. Ситников. Сэмюэл Бенгам и его сибирская библиотека. — "Русские библиотеки и их читатель". Л., 1983, 175-184 (здесь же литература о Бенгаме и России) и др. — Особо следует отметить русско-английские связи на почве театра, очевидные с 70ых годов XVIII в. Речь идет не только о гастролях английской театральной труппы в Петербурге (1771-1772), о чем см. A.G. Cross. Mr. Fisher's Company of English Actors in Eighteenth-Century Petersburg. — Study Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter, 1976, N 4, 32-43 (ср. также P.N. Berkov. English Play in St. Petersburg in 1760s and 1770s. — Oxford Slavonic Papers, vol. 8, 1958, 90-97; В.Н. Гернгросс. Иностранцы антрепризы екатерининского времени. — Русский библиофил 1915, Nр. 6, 78-79; Шекспир и русская культура. Под ред. акад. М.П. Алексеева. М.-Л. 1965 и др.), но и о знакомстве русских, приезжавших в Англию, с английским театром. Интересно, что уже в 70ые годы появляются восторженные поклонники Шекспира, подобные Михаилу Ивановичу Плещееву, советнику русского посольства в Лондоне, выступавшему под псевдонимом "Англоман" (первая ласточка русской англомании). Многие русские путешественники засвидетельствовали свой интерес именно к Шекспиру, ср. Никиту Акинфиевича Демидова, видевшего в лондонском театре "Шакеспинову трагедию" с участием Гаррика, Е.Р. Дашкову, И.А. Дмитревского, лично познакомившихся с Гарриком, А.С. Шишкова, анонимного автора очерков "Россиянин в Англии" (см. Ю.Д. Левин. К истории восприятия Шекспира в России XVIII в. — В кн.: Шекспир и русская культура, 210-218). Несомненно, что с английским театром в той или иной мере были знакомы и такие знатные путешественники как А.Б. Куракин, Н.П. Шереметев, Г.П. Гагарин, Григорий Орлов, Разумовский с сыновьями, Шувалов, Юсупов, Репнин, Ростопчин, Строганов, Румянцев, Голицыны, Е.Ф. Комаровский, В.Н. Зиновьев, Вяземский и др., а также деятели русской культуры, побывавшие в Англии (Дмитревский, Лукин, Петров, Скородумов, Шубин, Карамзин, Макаров и др.). См. Э. Г. Кросс. Русские зрители в английском театре — XVIII в. — В кн.: Русская культура XVIII века и западно-европейские литературы. Л., 1980, 162-173; A.G. Cross. "By the Banks of the Thames": Russians in

Eighteenth Century Britain. L., 1981; ср. также Записки графа Е.Ф. Комаровского, СПб., 1914; Журнал путешествия В.Н. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии в 1784-1788 гг. — "Русская Старина", т. 23, №. 11, 1878; The Memoirs of Princess Dashkov. Ed. Kyril Fitzlyon. L, 1958 и др.

- 15 См. *М.Н. Муравьев*. Стихотворения. Л., 1967, 172-173, ср. 340.
- 16 Впрочем, и позже Муравьев высоко оценивал главное произведение английского поэта: "Но ничто не может сравниться с сельскими картинами Томсона, стихотворца английского, который в поэме своей Годовые времена (The seasons) представляет неподражаемым образом величество природы" ("О паустешском стихотворстве", см. *М.Н. Муравьев*. Сочинения. Т. II СПб., 1847, 260).
- 17 В этой связи уместно упомянуть о сходном по характеру открытии Муравьевым Стерна, см. указ. соч., 307-308. Любопытно, что Муравьев пробовал свои силы и в переводах с английского. Так, недавно было установлено, что именно им была переведена застольная песня из шеридановской "Школы злословия" (*Здоровье девицы пятнадцати лет...*), представленной в Эрмитажном театре 27 февраля 1793 г. (текст комедии появился в 1794 г., СПб.).
- 18 См. *М.П. Алексеев*. Указ. соч., 113, ср. 114.
- 19 См. *М.Н. Муравьев*. Сочинения. Т. II, 279 ("Мысли, замечания и отрывки").
- 20 Роль *М.Н. Муравьева* в знакомстве русского читателя с английской литературой становится еще рельефней при учете данных о распространении в России в это время переводов с английского языка. Так, с 1766 г. по апрель 1792 г. из общего числа изданных *Н.И. Новиковым* книг — 944 лишь десяток представлял собой переводы с английского. Из 528 переводных книг 292 приходились на переводы с французского, 135 — с немецкого, 61 — с латинского, 22 — с греческого и т.п.; русских книг было издано 416 названий; 55-60 английских книг было переведено с французского и немецкого; см. *В.П. Семенников*. Книго-издательская деятельность *Н.И. Новикова* и Типографической компании. Петербург, 1921.
- 21 Датировка обоих этих произведений Карамзина оказывается существенной. Стихотворение "Поэзия", как известно, появилось в "Детском чтении" 1789, ч. 17, 200 (отрывок) и затем в "Московском журнале" 1792, ч. 7 (2-ое изд. — 1803, ч. 7, 263), но в прижизненные собрания сочинений Карамзина не включалось, что, видимо, не было случайным. Современный исследователь пишет

по этому поводу: "Исключение этого программного стихотворения из собраний сочинений, видимо, обусловлено резкостью его историко-литературной позиции, в частности недвусмысленно отрицательным отношением ко всей предшествующей русской поэзии. Помета: "сочинена в 1787 г." могла иметь тактический характер: она противоречит многим местам стихотворения, явно перекликающимся с "Письмам русского путешественника". Сам Карамзин, желая сгладить противоречие между датой и содержанием, снабдил одно из мест стихотворения примечанием: "Сии стихи прибавлены после". Все же отвергнуть безоговорочно прямое указание Карамзина на дату создания не представляется возможным. Видимо, наиболее обоснованной будет дата 1787-1791, поскольку можно предположить, что имелся ранний вариант стихотворения, обработанный поэтом после возвращения из-за границы в 1791 г.", см. Ю.М. Лотман. Примечания. — в кн.: Н.М. Карамзин. Полное собрание стихотворений. Л., 1966, 376 (указание здесь 1791 г. несколько неточно; Карамзин прибыл в Петербург 15 июля 1790 г., см. Г.П. Шторм. Новое о Пушкине и Карамзине. — Изв. АН. Отделение литературы и языка, 1960, т. 19, вып. 2, 150). Но текст публикации 1789 г. относится к "доанглийскому" периоду и должен рассматриваться как бесспорная данность. Поэтому выбор сужается до 1787-1789 гг. Собственно, "резкость историко-литературной позиции" в стихотворении и могла быть причиной того, что Карамзин сначала не спешил с его публикацией, а потом и вносил некоторые дополнения. Перекличка же "Поэзии" с "Письмами русского путешественника" естественнее, пожалуй, объясняется влиянием на соответствующее место "Писем" уже имевшегося в распоряжении писателя текста "о поэзии", преимущественно английской. У Карамзина есть и другие "предвосхищения" отдельных фрагментов "Писем", и это еще раз бросает свет на источники этого произведения. находящиеся вне того круга впечатлений, которые были получены во время путешествия. — Первое издание "Писем русского путешественника" появилось в "Московском журнале" (1791-1792) и в "Аглае" (1794-1795). К истории текста и его изданий см. В.В. Сиповский. К литературной истории "Писем русского путешественника" Н.М. Карамзина, вып. 1-5. СПб., 1898; Н.А. Марченко. История текста "Писем русского путешественника". — В кн.: Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника. Издание подготовили Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский, Л., 1984, 607-612.

- 22 Ср. у Муравьева о "картинах Томсона" (*Томсоновых картинах*).
- 23 Единственное (и в обоих случаях периферийное) несоответствие — Поп у Муравьева, Аддисон у Карамзина.

- 24 Ср. еще: *Да, Гловера читать, Томсона, Шекеспира, / С сей стаей агличан соединить Ом и ра [...]* — из "Посвящения тебе" Муравьева.
- 25 Ср.: *Слепец, другой Гомер, свергает смертны узы / Мильтон, чтоб созерцать сиянье божества / И мать смертных рода / Облечь твоей красой, всесильная природа! / ("Успех британской Музы")*.
- 26 Характерно, однако, что Карамзин считал этот список практически закрытым: "Новейшая Английская Литература совсем не достойна внимания: теперь пишут здесь только самые посредственные романы, а стихотворца нет ни одного хорошего. Ионг, гроза счастливых и утешитель несчастных, и Стерн, оригинальный живописец чувствительности, заключили фалангу бессмертных Британских Авторов" ("Письма русского путешественника, [151], 369). Впрочем, позже Карамзин делал некоторые исключения (напр., для Вальтера Скотта; ср.: "[...] в девять часов пьем чай за круглым столом, и с десяти до половины двенадцатого читаем с женою и двумя девицами Вальтер-Скота, романы, но с невинною пищею для воображения и сердца [...]"; см. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб. 1866, 408 (письмо от 22 октября 1825, Царское Село).
- 27 В связи с темой "Dichtung und Wahrheit" нужно особо отметить, что Карамзину было свойственно смелое сближение поэзии и жизни, создание синтетических картин жизни, источниками которых в равной мере могли быть поэтический вымысел и жизненная правда. Тайный нерв изображения находился вне противопоставления поэзии и правды, так же и вне антитезы любви и нелюбви. Ср. замечательный в этом отношении отрывок из заметки Карамзина в "Spectateur sur la littérature Russe", содержащий как бы итог знакомства с Англией, подводимый автором при прощании со старшой: "J'aime l'Angleterre, mais je ne voudrais pas y passer toute ma vie ..." и вплоть до финального: "Je reviendrais avec plaisir en Angleterre, mais je la quitte sans regret".
- 28 Поэтому имя Александра Андреевича Петрова также должно войти в историю русско-английских литературных связей.
- 29 Сохранилось дружеское свидетельство о юношеском увлечении Карамзина английской литературой, относящееся, видимо, к 1782 г. "Не могу и теперь вспомнить без удовольствия, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика фильдингова "Томаса-Ионеса" (Том-Джона), в маленьком формате, с картинками, перевода Харламова. Это было первым возмездием за словесные труды его" (И.И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь. М., 1866). Впрочем, и сам Карамзин вспоминает другой эпизод из этой

области: "Последнее твое дружеское письмо, приятно меланхолическое, заставило меня слетать воображением на берег Волги, Симбирский *Венец* где мы с тобою, героически отражая сон, ночью читали Юнга в ожидании солнца. Да, мы были тогда молоды, а теперь стары", см. Письма Н.М. Карамзина И.И. Дмитриеву, 351 (Письмо от 31 мая, Парское Село).

30 Из стихотворения Карамзина 1788 г. — "Анакреонтические стихи А.А. П[етрову]".

31 Первые переводы Карамзина на английский язык появились в 1800 г. в журнале "The German Museum or Monthly Repository of the Literature of Germany, the North and the Continent in General". Они были сделаны с немецкого перевода И.-Г. Рихтера, вышедшего в Лейпциге в том же 1800 году. О переводах Карамзина на английский и — шире — о Карамзине в связи с английской литературой и Англией см. *С.Д. Полторацкий*. Французские и английские переводы сочинений Карамзина. — Иллюстрация, т. II, 1846, № 9, 131; *С.И. Пономарев*. Материалы для библиографии литературы о Карамзине. — Сборник ОРЯС, Т. XXXII, № 8, 1883; *Т.А. Быкова*. Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе. — В кн.: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — нач. XIX в. ("XVIII век", сб. 8). М.-Л., 1969, 324-342; *М.П. Алексеев*. Указ. соч., 150-157, 181-183; *П.Р. Заборов*. — В кн.: Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965, 70-80; *Ф.Э. Канунова*. Карамзин и Стерн. — В кн.: Русская литература XVIII в. и ее международные связи ("XVIII век", сб. 10). Л., 1975; *Maurice B. Line*. A Bibliography of Russian Literature in English Translations. London, 1963; *A.G. Cross*. Karamzin and England. — "Slavonic and East European Review", vol. 43, N 100, 164; *Idem*. Karamzin in English. — "Canadian Slavic Studies", vol III, 1969, 716-727; *Idem*. N.M. Karamzin. A Study of His Literary Career, 1783-1803. Southern Illinois University Press, London and Amsterdam, 1971 и др. Интересно, что о переводах Карамзина на английский сообщает уже В.С. Сопиков в "Опыте российской библиографии" (ч. III, СПб., 1815).

32 В дневниковой записи, сделанной в декабре 1801 г., Андрей Тургенев сообщает: "Прочел только что 6. часть Писем Карамзина из Англии. Для чего я не путешествую, надобно бы теперь или никогда. Чувства мои ото времени не сделаются живее. Кажется, я бы живее и с большим жаром описал Англию, и не с той бы стороны смотрел. О цепи, цепи!" (*А.И. Тургенев*. Дневник. Автограф 1801 янв. 29 — 1803 июнь. Ф. 309, оп. № 272, л. 21 об.). Автор статьи считает своим долгом выразить глубокую признательность за предоставленную ему возможность занятий в Рукописном отделе Института русской литературы Академии наук (Ленинград). — Эту запись Андрея Тургенева нужно восприни-

мать в контексте других его высказываний, свидетельствующих об отходе от общих взглядов Карамзина, при сохранении с ним добрых отношений и чувства глубокого уважения к нему. Карамзин был в курсе этой эволюции, но его отношение к Андрею Тургеневу оставалось неизменно добро-желательным. Примерно то же можно сказать и об отношении его к Николаю Тургеневу (позже). Ср. в письме И.И. Дмитриеву от 28 ноября 1818 г. (СПб.): "Тургенев реже показывается. Видел ли ты книгу о налогах его брата, Николая Ивановича? Он страшной Либералист, но доброй, хотя иногда и косо смотрит на меня, потому что я объявил себя не-либералистом", см. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву, 253.

- 33 М.Н. Муравьев сыграл решающую роль в создании материальных возможностей для работы Карамзина над "Историей Государства Российского" (ср. письмо Н.М. Карамзина М.Н. Муравьеву от 28 сентября 1802 г. и благодарственный ответ тому же адресату после того, как 31 октября состоялся Высочайший указ. См. *М.П. Погодин*. Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии. Ч. II. М., 1866, 17-20. Карамзин, видимо, обсуждал с Муравьевым свои планы и держал его в курсе своих занятий. В письме от 24 декабря 1803 г. он писал ему по поводу выхода в свет переводов Карамзина на немецкий язык, сделанных Рихтером: "Авторское мое самолюбие обязано ему многими удовольствиями. Переводы его сделали меня известным в Германии, в Англии и во Франции", см. *Н.М. Карамзин*. Сочинения, т. III. СПб., 1848, 685.
- 34 Не случайно, что именно на Карамзина, спустя более чем полвека, ссылается в связи с романом Голдсмита Дружинин. Упомянув Вальтера Скотта, Байрона, Шатобриана и Гете, высоко ценивших этот роман, он продолжает: "Наш Карамзин воздавал похвалу "Векфильдскому Священнику" в то время, когда в России так мало было людей хорошо знакомых с британскою словесностью. В "Письмах Русского Путешественника" Карамзин упоминает несколько раз о Гольдсмите; в Лейпциге он купил его лучший роман, и эта книжка принадлежала с тех пор к походной библиотеке автора "Истории Государства Российского". — Карамзин был поэтом в душе, и произведения Гольдсмита не могли не возбудить в нем живого сочувствия [...]". См. *А.В. Дружинин*. Указ. соч., 48.
- 35 О могиле Голдсмита в Вестминстерском аббатстве пишет и А.В. Дружинин (Указ. соч., 63-64), также приводя текст эпитафии в своем (отличном от Карамзина) переводе. Карамзину следует и Погодин: "Начали с *Вестминстра*, древнейшего аббатства в Англии [...]. Обошли все стены, уставленные памятниками великих людей Англии [...], см. *М.П. Погодин*. Год в чужих краях. 1839.

Дорожный дневник. М., 1844, 182-183. Но почти за полтора десятилетия до этого, 24/12 января 1826 г., Вестминстерское аббатство посетил Александр Тургенев. "Мы спешили к поэтам и гениям музыки. Статуя Аддисона, Гендель — пленяемый ангельскою гармониею. Шекспир!! с тремя главами (лицами его трагедий). Томсон. Мильтон! [...] Грей (при имени его я вспомнил о моем Жуковском!) Автор оставленной деревушки — Гольдсмит. Гаррик! [...]". См. А.И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.-Л., 1964, 396. Воспоминание об "оставленной деревушке" у могилы Голдсмита тоже как бы продолжает тему Жуковского, переведшего начало этой поэмы. Можно также напомнить и о 13-ой главе голдсмитовского "The Citizen of the World" — "An Account of Westminster Abbey": "As we walked along to a particular part of the temple, there, says the gentleman, pointing with his finger, that is the poets corner; there you see the monuments of Shakespear, and Milton and Prior, and Drayton [...]".

36 Разумеется, нужно помнить, что Карамзин выступает и как переводчик Голдсмита. В "Пантеоне иностранной словесности" (1798, кн. III, 241-248; в издании 1818 г. — часть вторая, 208-212) он предлагает читателю перевод небольшого отрывка, напечатанного в английском журнале "The Bee" (1759, Nr. 6) - "On human grandeur", с характерным подзаголовком — "being essays on the most interesting subjects". (Ср. Bibliothèque Britannique 1798, T. 8, 539-542, издание, которым, видимо, пользовался Карамзин; см.: О.Б. Кафанова. Библиография переводов Карамзина [1783-1800 гг.]. - "XVIII век. Сборник 16. Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века". 1., 1989, 335-336). Русское название — "Как не завидно величие людей! (Из Голдсмита)". Выбор текста, подобного данному, свидетельствует о том, что Карамзин рассчитывал привлечь внимание читателя (подбор текстов в "Пантеоне" преследовал и коммерческие цели). Вместе с тем любопытно, что этот отрывок через тему ученого китайца, приехавшего в Европу и обнаружившего, что здесь никто не знает "великих творений бессмертного Кси-ксо-фу", отсылает к образу *Xixoufo* в "The Citizen of the World" (уже в "Letter II"). Стилистика перевода довольно точно воспроизводит соответствующую манеру Голдсмита в его рассуждениях о "the most interesting subjects".

В следующем 1799 г. был опубликован еще один перевод из Голдсмита — "Алкандр и Септимий. История, взятая из сочинений Доктора Голдсмита. Перевод с Французского", написано в конце — Т.В. (и с отступом и ниже сторочки) Тула. — См. "Новости" 1799, кн. 1, май, 81-92; оригинальный текст помещен в "The Bee", 1759, Nr. 1). в качестве motto-эпиграфа взято латинское речение *Sperare miseri, cavete felices*, использованное, кстати, уже на титульном листе страхового перевода "Вакефильдского Священника". Для представления о языке и стиле русского перевода в связи с разработкой "античной" топики ср. начало:

Спустя долгое время после падения Римской Империи, Афины оставались еще убежищем изящного вкуса, наук и мудрости. Острогот Феодорик возстановил разрушенные варварством училища, и возвратил мудрым те преимущества и возмездия, которые отняли у них были корыстолюбивым правительством.

В то самое время Алкандр и Септимий были соученики в Афинах. Один наименован был искуснейшим Диалектиком Ликийским, а другой красноречивейшим Академическим Витигею. Взаимное друг друга удивление, в разсуждении своих совершенств, возродило в них нежнейшее дружество, Счастье почти равно им благоприятствовало, и родом они были из двух славнейших в свете городов: ибо Алкандр был Афинянин, а Септимий Римлянин.

Долгое время проводжали они дни свои в усладительном спокойствии [...]

Конечная сентенция, заключающая счастливый исход сложных перипетий (претор Септимий в Риме должен осудить человека, обвиняемого, как потом выяснилось, ложно в убийстве; в последний момент он узнает в нем своего старого друга Алкандра, который когда-то отказался ради дружества от любимой им Ипатии, ставшей женой Септимия, и бросается в его объятия), звучит так:

Нет ни одного в свете столь безнадежного случая, в котором бы Провидение не могло подать нам руку помощи.

37 См. Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую Публичную Библиотеку в 1884 г. Разобраны и описаны И. Бычковым. СПб., 1887, 20, 24. — Нужно напомнить, что тема "Опустевшей деревни" появляется у Жуковского довольно рано. В планах и подготовительных материалах к поэме "Весна" (Рукописный отдел Публичной библиотеки — ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 12) в разделе "что перевесть" упоминается "Опустевшая деревня" (наряду с "Томсоном или Клейстом или Блоомфильдом" и Делилем), а в списке, озаглавленном "живописная поэзия", перечислены: "Весна, Опустевшая деревня, Отрывки из Делиля, Томсона и Сен-Ламбера". См. Н.Ж. Ветшева. Замысел поэмы "Весна" в творческой эволюции Жуковского. — В кн.: Жуковский и русская культура, 116-117 (здесь же ряд замечаний об "Опустевшей деревне").

38 Лишь несколько примеров: *Страна, где селянин трудами утомленный ... медлило ...* (ОД — "Опустевшая деревня") — *Усталый селянин медлительной стопою ...* (СК — "Сельское кладбище"); *Все тихо! все мертво! ... тихий сон!* (ОД) — *Повсюду тишина, повсюду мертвый сон* (СК); *Лишь тихий в далеке звонков овечьих звон* (ОД —

при гул рогов) — *Лишь слышится вдали рогов унылый звон* (СК — при *звучный гул рогов*) и т.п. Иногда создается впечатление, что для Жуковского один английский текст при нужде выступал источником для перевода другого английского текста. Так, напр., в "The Deserted Village" неоднократно выступает почти формульное начало стиха *How often...* В "Опустевшей деревне" оно нигде не отражено. Зато в переводе "Сельского кладбища" дважды появляется *Как часто (Как часто их секир дубравы трепетали; Как часто редкий перл, волнами сокровенный...)* при том, что в соответствующих местах "Elegy Written in a Country Church-Yard" *How often...* отсутствует. Примеры такого рода могут быть легко умножены.

- 39 См. *Р.И. Бродавко*. В.А. Жуковский — переводчик О. Голдсмита ("Опустевшая деревня"). — В кн.: Вопросы русской литературы Выпуск 1 (27). Львов, 1976, 109. Ср. также: "У Жуковского, несмотря на большую близость к оригиналу в передаче наиболее существенных его элементов [...]. Это дает основание утверждать, что русский поэт стремился максимально приблизить художественную систему перевода в целом к художественной системе подлинника" (108).
- 40 Там же, 109.
- 41 Именно это дало, видимо, повод назвать перевод "Опустевшей деревни" "*très faible*", см. *M. Ehrhard*, V.A. Joukovski et le préromantisme russe. Paris, 1938, 260 (ср. также главу — "Les oeuvres anglaises"), к теме Голдсмита ср. 35, 66, 259-262, 304, 374.
- 42 Там же, 105-106. Ср. также *M. Volm*. W.A. Zhukovskij als Übersetzer. Teile I-IV. Ann Arbor. Michigan, 1945-1950 и др.
- 43 Исследователи подчеркивали, что в описаниях покинутой деревни отражены ландшафты, люди, их труды и развлечения, которые наблюдал Голдсмит в детстве в ирландской деревушке Лиссой, где его отец был священником (как, впрочем, и наблюдения, почерпнутые из странствий автора); характерно, что ряд деталей этого ландшафта повторяются и в "Векфилдском священнике", ср. начало IV и VI главы, где описывается вид, открывающийся от деревенского домика Примроза. Несомненно, то же может быть сказано и о русском тексте "Опустевшей деревни", где за многими образами (особенно отличающимися от того, что есть в подлиннике) угадывается Мишенское, поэтические отзвуки которого известны и по другим стихотворениям Жуковского.
- 44 Впрочем, нужно отдать должное художественному такту Жуковского: он остановился в своем переводе поэмы Голдсмита как раз

на том месте, которое позволяет предшествующую часть рассматривать как законченное целое.

- 45 См. А.С. Янушкевич, В.А. Жуковский — читатель и переводчик "Потерянного рая" Дж. Мильтона. — В кн.: Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Часть II. Томск, 1984, 484.
- 46 См. А.С. Янушкевич. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского. Томск 1985, 81. — Таким образом, перевод в 1812 г. (напечатано в следующем году) баллады "Пустынный" нужно рассматривать как частичное выполнение Жуковским намеченного себе плана "для баллад". В известной антологии Бауринга (Российская антология. *Specimens of the Russian Poets, with preliminary remarks and biographical notices.* Translated by John Bowring, F.L.S. London, 1821), где переводам Жуковского было уделено много места, высоко оценивается его искусство в переводе баллад, в частности, приводится русская цитата из "Пустынного" ("The Hermit"), см. 2-ое издание, XIX. См. М.П. Алексеев. Русско-английские литературные связи..., 238. Любопытно, что Бауринг был смущен стихом *О, спаситель-Провиденье...* из "Пустынного", к чему А.Н. Веселовским было уже привлечено внимание. Этим же ученым было замечено смягчение в переводе "Путника" всего, что казалось "слишком чувственным" по сравнению с текстом подлинника. См. А.Н. Веселовский. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения". Пг., 1918, 311, 461. Как известно, Жуковский был представлен английским переводом и в антологии Сандерса (*Poetical translations from the Russian language.* By William Henry Saunders. London, 1826, 17-47: "The Bard in the Camp of Russian Warriors, by Shukowsky).
- 47 См. А.С. Янушкевич. Книги по истории и теории русской словесности в библиотеке В.А. Жуковского. — В кн.: Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Часть I. Томск, 1978, 34. — Существуют и другие свидетельства продолжающегося интереса Жуковского к Голдсмиту. В сохранившейся записи-обзоре (1824 г.), в которой отмечаются наиболее значительные произведения, вышедшие в предыдущем (1823) году, в разделе "История" упоминается и Голдсмит:

3. Сокращенная история Гольдсмита, пер[евод] с англ[ийского], издание второе. Я пробежал этот перевод, ибо знаю прекрасный подлинник. Если бы он был его достоин, то мог бы назваться хорошою, по слогу оригинальную русскою книгою, но перевод довольно посредственный. — В кн.: Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Часть I, 46.

- 48 Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла,

В океан неисходимый
 Буря челн мой занесла

 Все оделось черной мглою;

О судьба! одно желанье:
 Дай все блага им вкусить;
 Пусть им радость — мне страданье,
 Но ... не дай их пережить.
 ("Пловец")

- 49 Ср. стихотворение 1809 г. "Путешественник" (Вестник Европы 1810, февр., 288), представляющее собой перевод шиллеровского

Дней моих еще весною
 Отчий дом покинул я;
 Все забыто было мною—
 И семейство и друзья.

В ризе странника убогой,
 С детской в сердце простотой,
 Я прошел путем-дорогой —
 Вера был вожатый мой.

.....
 Ах! в безвестном океане
 Очутился мой челнок
 Даль попрежнему в тумане;
 Брег невидим и далек.

- 50 Ср. в "The Deserted Village":
 I still had hopes, my long vexations past,
 Here to return — and die at home at last.

O blest retirement, friend to life's decline,
 Retreats from care, that never must be mine,
 Now happy he who crowns, in shades like these,
 A youth of labour with an age of ease.

- 51 Стоит обратить внимание — особенно в связи с судьбой Голдсмита в русской литературе — на наличие общих и иногда сходно решаемых мотивов и образов, их переплетение и варьирование в обеих поэмах английского писателя. Не входя сейчас в аргументацию этого тезиса (впрочем, довольно очевидного), нужно только заметить, что уже приводившийся из "The Deserted Village" стих *In all my wand'rings round this world of care*, выделенный и сознательно существенно переработанный Жуков-

ским в русском переводе, находит исключительно близкое соответствие в стихе из "The Traveller" — *My prime of life in wand'ring spent and care, ...*

- 52 См. А.Н. Веселовский. Указ. соч., 169; ср. там же — в связи с темой Голдсмита — 19, 55-56, 311, 461.
- 53 В связи с "The Traveller" можно напомнить о названии баллады Жуковского "Путешественник/ (в черновике — "Путник").
- 54 Слово *solitary*, которое в принципе могло бы передавать идею уединенности — одиночества странника, в "The Deserted Village" лишь косвенно соотносится с ним, ср.: *Here as I take my solitary grounds* (в русском переводе здесь — *Смотрю — лишь пустыри заглохшие одни*) или — тем более — *Along thy glades, a solitary guest, o птице.*
- 55 В "Вечере" эта запись отразилась в знаменитых стихах: *Один — минутный цвет — почил, и непробудно, / И гроб безвременный любовь кропит слезой.*
- 56 Ср. в "Вечере": *О братья! о друзья!..! Где клятвы, данные Природе // Хранить с огнем души нетленность братских уз?*
- 57 Некоторым исключением из сказанного можно считать важные четыре стиха в поэме Голдсмита на одном из внутренних ее рубежей (желание определенного итога странничества):

And oft I wish, amidst the scene, to find
Some spot to real happiness consign'd,
Where my worn soul, each wand'ring hope at rest,
May gather bliss to see my fellows blest

(к *my worn soul* ср. *разочарованный душою* в соответствующем месте "Вечера"). Эти стихи в той или иной мере находят себе соответствие в ряде мест "Вечера". Рок, судивший поэту *брести неведомой стезей, / Быть другом мирных сел... // Творца, друзей, любовь и счастье воспевать, / любить и благословлять красы Природы*, есть данность, реализуемая в "индикативном" статусе. *Fortune*, ведущая голдсмитовского странника, еще не определила своих промыслительных путей или, точнее, не прояснила их ему, и поэтому он мечтает-желает о счастье как одним из жребиев Судьбы, отсюда — "оптативный" модус выражения.

- 58 Интересно, что в эти годы (1818-1819) Пушкин и Жуковский были почти соседями, и Пушкин нередко посещал своего старшего приятеля. Дом Клокачева (Фонтанка, 185) находился от дома

Брагина, у Кашина моста на Крюковом канале (Екатерингофский просп., 43), на расстоянии менее версты при разных маршрутах или 10-15 минут ходьбы. Кроме того, оба поэта часто встречались друг с другом и в домах их общих друзей.

- 59 Разумеется, тема Голдсмита в беседах Пушкина и Жуковского могла возникнуть и в лицейские годы, но едва ли тогда она была бы творчески воспринята и воплощена юным "выучеником" Лагарпа: вкусы, разделяемые лицеистом Пушкиным, воздвигали определенное препятствие на пути сближения с творчеством Голдсмита. Только оказавшись в Петербурге, войдя в новый круг друзей, идей и вкусов, молодой Пушкин приблизился к тому, чтобы обратить внимание и на Голдсмита.
- 60 Из многих данных об изменении литературной ориентации Пушкина в это время здесь можно ограничиться лишь несколькими примерами: "Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной. Тогда некоторые люди упадут, и посмотрим, где очутится Ив.Ив. Дмитриев с своими чувствами и мыслями, взятыми из Флориана и Легуве" (письмо Гнедичу от 27 июня 1822 г.); — "Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно, ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос — французская болезнь умертвила б нашу отроческую словесность" (письмо Вяземскому от 6 февраля 1823 г.); — "Не хвали меня, но побрани Русь и русскую публику — стань за немцев и англичан — уничтожь этих маркизов классической поэзии" (письмо Вяземскому от 19 августа 1823 г., в черновике этого письма ср. еще: "... романтизма еще нет во Франции. — А он-то и возродит умершую поэзию") и т.п., см. *В.М. Жирмунский*. Указ. соч., 39-40; *Б.В. Томашевский*. Указ. соч., 105 и др. Характерно, что в эти же годы английские литературные темы все чаще и чаще возникают у Пушкина, в частности, в его письмах. То же можно сказать и о целом ряде лиц (особенно о Вяземском, Каверине и др.) в пушкинском круге. Некоторые из них раньше или позже побывали в Англии — Н.И. Кривцов ("Помнишь ли ты, житель свободной Англии, что есть на свете Псковская губерния [...] — из письма Пушкина к Кривцову в Лондон летом 1819 г.; Александр Тургенев в письме к Вяземскому отрицательно оценивал влияние этого "жителя свободной Англии" на Пушкина: "Кривцов не перестает развращать Пушкина и прислал ему безбожные стихи из благодетивой Англии"), Чаадаев, Александр и Николай Тургеневы, А.М. Горчаков и др. Пушкин об этом мог только мечтать (ср "К морю").
- 61 Впрочем, Жуковский сам вполне отчетливо сформулировал то, что смущало его в творчестве Байрона. В письме от 27 января 1833 г. к русскому поэтому-байронисту И.И. Козлову он писал: "Мно-

гие страницы Байрона вечны, но в нем есть что-то стесняющее душу, он не принадлежит к поэтам, утешителям жизни. Что такое истинная поэзия? Откровение божественное произошло от Бога к человеку и облагородило здешний свет, прибавив к нему вечность. Откровение поэзии происходит в самом человеке и облагораживает самую жизнь в здешних ее пределах. Поэзия Байрона не выдерживает этой критики".

62 Ср., между прочим, Архив братьев Тургеневых. Вып. 1-ый. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806-1811 года (I том). Под редакцией и с примечаниями Е.И. Тарасова. СПб., 1911, 427 (фоомеханическое издание — Leipzig, 1976).

63 Общий объем перевода — примерно две страницы книжного текста. О его характере можно судить по началу перевода:

Щастие деревенского камина

Из *Гольдсмита*. Продолжение на обороте под знакомъ.

Так как мы продолжали прежний спор с некоторым жаром для того, чтоб примириться в существе дела, то все согласились иметь несколько дичи за ужином. "Мне жаль, вскричал (сказал) я, — что никакой сосед или никакой Иностранец не будет участвовать в сем хорошем столе (ужине): праздники такого рода приобретают вдвое более вкуса чрез гостеприимство" — Bless me, Боже мой! сказала жена моя: вот идет хороший наш приятель, Г. Борчель, которой избавил нашу Софью и убедил вас, с добрым сердцем, в вашем споре... — "Опровергнуть мое доказательство (child)!" вскричал я. Вы в этом ошибаетесь, милая, Я думаю, что очень немногие могут сделать это [...]

[и т.д. вплоть до:]

Когда он ушел, то за ужином мы говорили о сем нещастном госте.

Chapter VI.

The happiness of a country fire-side.

As we carried on the former dispute with some degree of warmth, in order to accomodate matters, it was universally agreed, that we should have a part of the venison for supper and the girls undertook the task with alacrity. "I am sorry", cried I, "that we have no neighbour or stranger to take part in this good cheer; feasts of this kind acquire a double relish from hospitality". — "Bless me", cried my wife, "here comes our good friend Mr. Burchell, that saved our Sophia, and that run you down fairly in the argument, child!" cried I. "You mistake there, my dear. I believe there are but few that can do that [...]

[и т.д. вплоть до:]

When gone, our conversation at supper turned upon our late unfortunate.

Текст русского перевода см. Архив... Вып. 1-ый, 52-54. После перевода — СПб. 3 апреля. 11 часов ночи. Сам перевод суховат, иногда грешит буквализмом, и в этом виде скорее должен расцениваться как предварительная заготовка. Вместе с тем сам характер перевода заставляет вспомнить слова исследователя — "Беллетристика и художества мало интересовали Тургенева, он видел в них лишь полезное средство для борьбы с крепостным правом", см. В. Вересаев. Спутники Пушкина 1. М., 1937, 141.

64 Так, в письме брату Александру из Геттингена от 4/16 февраля 1809 г. Николай Тургенев пишет: "Здесь нового ничего нет. [...] Лекции идут своим порядком. Герен сегодня кончил Английскую Историю. В это время я читал Генрихову Историю Англии и Гольдсмиту; первая ничего не значит в сравнении с последнею. Не понимаю, для чего Немцы берут писать Историю Англии. Лучше Английских историков написать им не возможно. Лучше бы просто переводили" (Архив ..., вып. 1-ый, 351, стр. 468, 480; речь идет о "The History of England" I-IV Голдсмита /London, 1771/).

65 Взгляды Н.И. Тургенева на крепостное право в это время, помимо записок, предназначенных для царя (в конечном счете), выражены в известной сноске в "Опыте теории налогов" и в дневниковых записях. В первом случае Тургенев был достаточно осторожен и сдержан (книга предназначалась для печати и тогда же была напечатана): "Что касается до крепостного состояния крестьян в России, то о сем в последние времена довольно много говорили и даже иногда писали, но, к сожалению, без пользы, ибо против крепостного состояния говорили и писали по большей части такие люди, в особенности иностранцы, кои, находя с справедливостию, самую вещь нехорошею, не имели однако же надлежащих сведений ни о России вообще, ни о состоянии Русских крестьян в особенности; в пользу же крепостного состояния говорили такие люди, которые воображают, что крестьянин не может приносить дохода помещику иначе как составляя его собственность. Противники не понимали друг друга. Первые, в неведении своем, сравнивали Русских крестьян с Африканскими невольниками, другие напротив того сравнивали господина, в управлении крестьян его, с отцем семейства, и власть первого с властью сего последнего" ("Опыт", 134-135). В дневниковых записях этих лет, помимо весьма горячих и эмоциональных антикрепостнических "срыв" и поставляемых им в соответствие благопожеланий, иногда довольно общего характера ("да озарит новый год Россию новым счастьем и Русский народ — новым благоденствием! Да дастся отечеству новая жизнь радости и свободы! Да умножится число истинных сынов Отечества и да

уменьшится число слепцов и эгоистов!", в записи от 31 декабря 1816 г.), немало высказываний практического характера. Особенно много их сделано во время пребывания в Тургеневе и по пути туда. Так, 18 июля 1818 г., остановившись в Симбирске, Тургенев записывает: "Я заметил первое и главное, что и неоспоримо: крестьяне на оброке гораздо шастливее крестьян на пашне" [ср. у Пушкина: *Ярем он барщины старинной оброком легким заменил... — В.Т.*]. Второе, что те крестьяне, кажется, шастливее, с которыми не живут их помещики [...]. Кажется, что крестьянам лучше жить совсем без защиты, нежели с защитою помещиков, которая конечно действительна против приказных, но не против произвола господскаго"; 21 июля 1818 г.: "Я безпрестанно думаю об улучшении порядка, здесь существующаго; главное неудобство, что крестьяне на пашне. [...] Фабрика обременяет крестьян [...]" (и далее 33 пункта предложений по улучшению жизни крестьян); 22 июля 1818 г.: "Худо, почти невозможно без управителя. Мужики отчасти ленивы и избалованы; но мне кажется, благосостояние может их поправить. Надобно об этом подумать; надобно решиться оставить мужиков с бурмистром и освободить их от управителя [...]"; 23 июля 1818 г.: "Жизнь нашего крестьянина весьма трудна. Три дня в неделю, в течение всего года, он работает на господина. [...] Пусть подумают после сего о средствах распространения идей и вообще образованности". Ср. 24 сентября 1817 г.: "О свободе крестьян более и более говорят, как слышно. Боюсь, чтобы принимаемые средства не были мало соответственны предполагаемой цели" и т.п.

- 66 Сам Николай Тургенев свидетельствовал, имея в виду заседание "Арзамаса" 27 сентября 1817 года, что арзамасцы "отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней: все согласны в необходимости уничтожить рабство".
- 67 Ориентированность Н.И. Тургенева в эти годы на Англию и "английское" несомненна. Явные и неявные соотнесения, сравнения, параллели с Англией становятся почти дежурными. Ср. характерный пример: "Россия и Англия находятся в успевающем состоянии; но успехи России сильнее, нежели Англии ибо Англия не переставала процветать и обогащаться в течение нескольких столетий. С продолжением цветущего состояния Государства успехи онаго, по естественному ходу вещей, делаются мало по малу слабее. Успехи России, при таком духе народа и Правительства, каковый существует в отечестве нашем, были бы еще совершеннее, если бы общей деятельности, общему стремлению к образованности и к благосостоянию не препятствовало существование рабства" ("Опыт теории налогов", 268-269). Очень показателен сравнительный анализ Англии и Франции в связи с прочтением книги "De la coalition et de France", которую Тургенев квалифицирует как "une coalition des frases à la française" и в которой

он видит только "желание заплатить за оскорбленное самолюбие". Ср.: "Между тем безпрестанные восклицания против Англии à tort et à travers, мне очень наскучили и побудили меня определить справедливость сих восклицаний. Для сего нужно: так как оныя делаются по большей части Французами:

1. Показать, какия заслуги оказала Европе или свету Англия и какия Франция. Здесь можно в особенности говорить о том, что Англия заставила Европу любить свободу. Франция ее ненавидеть. Также, что Английская промышленность несравненно выгоднее для Европы, чем Французская [...].

2. [...] Англия после долговременных опытов и постоянного стремления, дошла наконец до того, что все учреждения соответственны нуждам и благополучию частных людей. В Англии правительство явно существует для народа, а не народ для правительства. Во Франции сего никогда не было. Там всегда царствовал ужасный деспотизм, и Цари считали народ собственностью своею.

3. В Англии несчастные или изгнанные имели всегда прибежище или соучастников их горя, и сие соучастие извещалось всегда публично в парламенте: каждое действие деспотизма, своевольтва находило в парламенте строгих судей и неумолимых хулителей; подвиги же патриотов были благословляемы. [...].

Многие кричат против Англии, не зная сами за что. Мы не защищаем ее, но пусть покажут причины негодования" ("Дневники и письма..." III том, 1921, 42-43, запись за 10 августа 1817 г.). [Есть некоторые основания думать, что само сравнение Англии и Франции с выбранной здесь точки зрения предполагает знакомство Н.И. Тургенева с сочинением Голдсмита "Enquiry into the Present State of Polite Learning" (1759), в частности, с главкой, представляющей собой "Appendix" к книге и носящей название "The Polite Learning of England and France Incapable of Comparison" (ср. также Ch. 7. Of Polite Learning in France; Ch. 8. Of Learning in Great Britain); если это так, то сравнение Англии и Франции в дневниковой записи Тургенева представляет собой как бы продолжение того, на чем остановился Голдсмит, применительно к концу XVIII — началу XIX в.]. Ср. также запись от 3 июля 1818 г.: "Говоря: мы хотим конституции, мы не говорим: мы хотим того, что в Англии, в Америке, но: "мы хотим порядка, справедливости, устройства"; и не разумеем того, чтобы сие устройство было доставлено теми же средствами, как в Англии и Америке, но средствами, удобными и лучшими для России" (Там же, 128). Англии уделено много места в "Опытте теории налогов"; об интересе к английскому судопроизводству см. дневниковую запись от 29 октября 1820 г. (Там же, 246) и т.п.

См. Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.-Л., 1936, 59, 235, 267, 299, 302; Архив ..., Вып. 5-ый, 106, 239, 493. — Позиция самого Николая Тургенева также фиксируется вполне

определенно: "поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей, открытой для впечатлений важных, решительных" (см. "Русский библиофил". 1914, № 5, 17) и т.п.

- 69 См. Б.В.Томашевский. Указ. соч., 143.
- 70 Роль Н.И. Тургенева в связи с "Вольностью" и "Деревней" достаточно четко и глубоко обозначена в указанной книге Б.В. Томашевского (142-189), и поэтому здесь останавливаться на ней дольше нет ни нужды, ни возможности. Следует специально отметить статью: Г.М. Дейч, Г.М. Фридлендер. "Деревня" Пушкина и антикрепостническая мысль конца 1810-ых годов. — Литературное наследство. Т. 60, кн. 1. М., 1960, 375-392. Здесь важны первые сведения о знакомстве друзей Пушкина с "Деревней" и отклики на нее (прежде всего письма А.И. Тургенева брату Сергею от 26 августа 1819 г. и П.А. Вяземскому в тот же день, ср. особенно: "Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства". Остафьевский архив, т. I, 296). Жуковский, который познакомился с "Деревней" скорее всего при встрече с Пушкиным 20 августа 1819 г. или несколькими днями позже, когда Пушкин с А.И. Тургеневым приезжали к Жуковскому в Павловск 25-26 августа (см. Остафьевский архив, т. I. 302), обнаружил свое полемическое отношение к "Деревне" Пушкина в отзыве об известном стихотворении Вяземского "Сибирякову", которое уже в конце августа 1819 г было послано А.И. Тургеневу. В начале сентября А.И. Тургенев сообщает Вяземскому, что он читал это стихотворение своему брату Николаю и Пушкину (у княгини Голицыной), который был восхищен им. Отношение Жуковского к "Деревне" вполне объединяло его с А.И. Тургеневым.
- 71 См. Звенья, т. VI. "Academia", 1936, 149. — Существуют и другие свидетельства, из которых достаточно упомянуть одно — запись сделанная со слов Я.И. Сабурова и сохранившаяся в бумагах П.В. Анненкова: "Об оде на свободу [...]. Между прочим, ода, как говорили тогда была по д с к а з а н а Пушкину Н.И. Тургеневым, см.Б.Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, 337. Любопытно, что тема Михайловского дворца и Павла, его хозяина, возникающая в "Вольности" (*Пустынный памятник тирана, / Забвенью брошенный дворе...; Идут убийцы потаенны...; Погиб увенчанный злодей...*), отражается, по разным поводам, и в дневниковых записях Н.И. Тургенева того же времени. Ср.: "вечер читал Уложение. Основание хорошо, построение дурно, огромно и на скоро сделано, подобно находящемуся безпрестанно у меня пред глазами Мих[айловскому] замку" (13 января 1817 г., 11 ночи, т.е. примерно тот же час, *Когда на мрачную Неву! Звезда полуночи сверкает и когда Глядит задумчивый певец / На грозно спящий средь тумана / Пустынный памятник тирана, / Забвенью брошенный дворец...*)

или — в записи, датированной "11 Марта. Понедельник. 1/2 11 ночи" (1818 г.): "Завтра возшествие на престол Александра I. За 17 лет в сегодняшнюю ночь Павел I кончил дни свои", см. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы (Ш том). Птг., 1921, 20, 118. Эта общность *hic et nunc* переживаемых образов, отсылающих к недавнему и роковому событию, весьма показательна.

72 См. *Б.В. Томашевский*. Указ. соч., 144-150; ср. также *И.И. Бикерман*. Пушкинские заметки. — В кн.: "Пушкин и его современники" XIX-XX. СПб., 1914, 55-62 (2. К датировке оды "Вольность").

73 В ряде случаев сопоставление несколько осложняется тем, что отдельные фрагменты "Деревни" (ландшафтно-пейзажные), несомненно, отражают общие приемы складывающейся традиции русской "poésie descriptive". Они отражаются в таких разных текстах, как, например, "Сельский житель" В.Л. Пушкина (из Томсона) и "Деревня". Вместе с тем нужно иметь в виду, что "социальная" терминология и фразеология "Вольности" и "Деревни", в ряде случаев перекликающаяся с голдсмитовской, нередко совпадает или оказывается близкой с частыми клише злободневной социальной-политической, экономической, правовой, юродической литературы (ср. в этих произведениях Пушкина — *закон, свобода, просвещенная свобода, природа*, в частности, в связи с *закон, труд, собственность, земледелец, рабы, дворовые, владелец, барство, цари, граждане, друг человечества* и т.п., параллели, к которым отчасти можно найти и в напечатанных трудах Н.И. Тургенева, через них же усваивались и новые идеи политической экономии, отразившиеся столь подчеркнуто в "Евгении Онегине"). — К *другу человечества* см. многочисленные примеры в более раннее время — как в России (ср. *друзья человечества* в "Письме сельского жителя" Карамзина или в надгробной надписи: Граф Петр Васильевич Заводовский /так! — *В.Т./ Друг человечества* [...] скончался в 1812 году, генваря 10-го дня / Петербург, Лазаревск, кладб. Алекс.- Невск. лавры / и т.п.), так и в Англии (ср. в частности, и у Голдсмита: *he called himself their friend; but he was the friend of all mankind.* — "The Vicar of Wakefield". Ch. XVIII и др.), не говоря уж, разумеется об этой формуле во Франции. Интересен отрывок из страховского перевода "Векфилдского священника" (1786): "Мои разсуждения умерли с разсуждениями о вольности [...]; между тем как друг самого себя, друг истины, друг вольности, друг человечества, писали гораздо лучше меня" (ч. II, 12-13).

74 Впрочем, распределение самих этих двух мотивов (запустение и пустыньность-уединенность) и их функции заметно различаются. В "Деревне" подчеркивается благотворность пустыньности (с нею связаны спокойствие, труды, вдохновенье, она дает счастье и

забвенья), ее творческий характер (... пустынный уголок, / Приют спокойствия, трудов и вдохновенья / Где льется дней моих невидимый поток / На лоне счастья и забвенья; — В уединеньи величавом / Слышнее ваш отрадный глас. / Он гонит лени сон угрюмый, / К трудам рождает жар во мне, / И ваши творческие думы / В душевной зреют глубине), а мотив опустошаемости деревни барством диким оттеснен и лишь подразумевается: деревня приходит в запустение, потому что Младые сыновья, товарищи трудов / Из хижины родной идут собой умножить / Дворовые толпы измученных рабов. В "The Deserted Village" сама пустыньность выступает как результат опустошения: *But time are altered; trade's unfeeling train / Usurp the land and dispossesses swain; — Far, far away thy children leave the land* и т.д. и потому — *But now the sounds of population fail, / No chearful murmurs fluctuate in the gale, / No busy steps the grass-grown foot-way tread, / For all the bloomy flush of life is fled / All but you widowed, solitary thing...;* — *Sweet smiling village, loveliest of the lawn, / Thy sports are fled, and all thy charms withdrawn; / Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen, / And desolation saddens all thy green,* и эта пустыньность, естественно, не способствует творческому вдохновению. Не радостны те *solitary rounds*, которые совершает автор *Amidst thy [sc. Auburn] tangling walks, and ruined grounds.*

75

Важный стих, образующий переход между двумя частями стихотворения, — *Но мысль ужасная здесь душу омрачает* —, как и ряд других стихов и даже общий план "Деревни" обнаруживают отчетливую связь с "классицистическим" прошлым подобных композиций. Ср., напр., стихотворение "Летнее утро в деревне" (подписано: Д.А.А.В.) из "Новых Ежемесячных Сочинений" за 1794 г (август, ч. 98, 10-12): *Исчезла тьма густая ноши, / Блистает утрення роса: / Поля, леса, долины, роши, / Покрыла новая краса // [...] // Уж быстры воды зашумели, / Погнал их тихой ветерок // [...] // Но что так мило поражает, / И нежит так теперь мой слух? / Конечно, тут в свирель играет / И песенки поет пастух: / Так точно, он сидит у речки, / Пасутся вокруг его стада // [...] // Прямое счастье обитает / У сельских жителей простых; / Их души дружба съединяет, / Ничто не оскорбляет их [...].* Выделенный стих *Но что так мило поражает* представляет собой типичное одическое вопрошание, одичность которого снята у Пушкина изъятием вопросительного местоимения и переводом вопроса в повествовательное предложение — *Но мысль ужасная здесь душу омрачает* (при потенциальной "классицистической" модели: **Но что ужасно так здесь душу омрачает /поражает/?*), ср. сходство пейзажного реквизита (вплоть до стад, но с устранением идиллического пастуха со свирелью).

76

Далее в тексте, как и в ряде других случаев, Голдсмит (в отличие от Пушкина) изображает не только беды крестьян, согнанных со

своих мест, но и развлечения и забавы богачей (парки, лошади, экипажи, охотничьи собаки, дорогие одежды, украшения и т.п.). Роскошь (*luxury*) — одно из ключевых понятий в социально-экономической картине, изображаемой Голдсмитом. Именно она — причина творимого богатыми и знатными насилия над крестьянами и потому должна быть проклята:

O luxury! Thou curst by Heavens decree,
 How ill exchanged are things like these for thee!
 How do thy potions, with insidious joy
 Diffuse their pleasures only to destroy!
 Kingdoms, by thee, to sickly greatness grown,
 Boast of a florid vigour not their own;
 At every draught more large and large they grow,
 A bloated mass of rank unwieldy woe;
 Till sapped their strength, and every part unsound,
 Down, down they sink, and spread a ruin round.

Вместе с тем Голдсмит в поэме обозначает еще два аспекта, не имеющих отражения в "Деревне", — чувства крестьян, изгоняемых с насиженных мест (*Good Heaven! what sorrows gloom'd that parting day, / That called them from their native walks away; / When the poor exiles, every pleasure past, / Hung round their bowers, and fondly looked their last, / And took a long farewell, and wished in vain / For seats like these beyond the western main; / And shuddering still to face the distant deep, / Returned and wept, and still returned to weep*), и утрату в условиях опустошения и разорения исконных крестьянских добродетелей (*Even now the devastation is begun, / And half the business of destruction done; / Even now, methinks, as pondering here I stand, / I see the rural virtues leave the land*).

77 К дворовым толпам ср. у Н.И. Тургенева: "Кроме крестьян существует у нас класс людей, который еще яснее носит на себе печать рабства, а именно: дворовые люди. Здесь мы узнаем в полной мере все печальные последствия крепостного состояния: ложь, обман, к которым всегда прибегает слабый против сильного, и наконец, величайшая испорченность нравов" (Архив братьев Тургеневых, вып. 5, 421-422). Ср. Б.В. Томашевский. Указ. соч., 189. — Для строфы из "Деревни" — *Опора милая стареющих отцов, / Младые сыновья, товарищи трудов, / Из хижины родной идут собой умножить / Дворовые толпы измученных рабов* — Ахматова в качестве источника указывает строфу из стихотворения Вольтера "A.M. de Saint-Lambert" (1769): *Les fils de mon manœuvre en ma ferme élevé... / Des laquais de Paris s'en va grossir l'armée* (Ахматова цитировала по памяти: ... *va grossir l'armée des laquais et pages* здесь, видимо, контаминация с формулой Буало из сатиры IX: ... *des laquais et des pages*). См. Анна Ахматова. Сочинения. Том третий. Paris 1983, 315 ("Marginalia и мелочи"), 603 (комментарии).

- 78 В английском тексте этого второго отрывка описывается схожая ситуация, но соответствующая несколько иному реальному событию, о чем нужно помнить.
- 79 Ср.: *How small of all that human heart endure...* ("The Traveller").
- 80 Выражение *сердца тревожить* как обозначение пробуждения к открытости, истине имеет и сниженные варианты (*Как рано мог уж он тревожить / Сердца кокеток записных!* ср. также *тревожить душу*). Вместе с тем известны и примеры, когда при глаголе *тревожить* выступает тот же субъект — *голос* (: *voice* у Голдсмита): *Мой голос для тебя и ласковый и томный / Тревожит позднее молчанье ночи темной*, откуда неслучайность всей этой конструкции *голос & тревожит & сердца*, отраженной непосредственно в "Деревне" и косвенно в других текстах.
- 81 *И истину царям с улыбкой говорить* — как одна из функций поэта (по Державину).
- 82 Ср.: ... *This wealth is but a name / That leaves our useful products still the same; — Around the world each needful product flies, / For all the luxuries the world supplies* etc. ("The Deserted Village").
- 83 Ср.: *equal portion, wealth, the loss of wealth, the bonds of wealth, commerce, gold, superfluous treasure, compensation, the self-depending lordlings, proportion — disproportion, penal statutes, government, depopulation, the planter's toil, nation, rule right, law, tyrant law, tyrant, kings, slaves, the bonds of law, fictitious bonds, the bonds of nature, Nature, Labour, free, freedom, freedom's highest aims, freedom's ills, liberty, riches, the rich man, the peasant, the poor* и т.п.
- 84 Лишь несколько примеров: — к свободе: *War in each breast, and freedom on each brow; / How much unlike the sons of Britain now!; — Thine, Freedom, thine the blessings picur'd here, / Thine are those charms that dazzle and endear; / Too blest indeed, were such without alloy, / But foster'd even by Freedom ills annoy; — Yet think not, thus when Freedom's ills of state, I mean to flatter kings, or court to great; — And thou fair Freedom, taught alike to feel / The rabble's rage, and tyrant's angry steel; — And all that freedom's highest aims can reach, / Is but to lay proportion'd loads on each; — O then how blind to all that truth requires, / Who think it freedom when a part aspires!; — But when contending chiefs blockade the throne, / Contracting regal power to stretch their own, / When I behold a factious band agree / To call it freedom when themselves are free;* (ср. также *liberty*); — к закону: ... *As nature's ties decay, / As duty, love, and honour fail to sway, / Fictitious bonds, the bonds of wealth and law, / Still gather strength, and force unwilling awe; — Law's grind the poor, and rich men*

rule the law; — In every government, though terrors reign, / Though tyrant kings, or tyrant laws restrain, / How small of all that human hearts endure, / That part which laws or kings can cause or cure (ср. также *right*) и т. п. — В связи с фразеологией свободы ср. у Голдсмита: "How", cried one of the ladies, "do I live to see one so base, so sordid, as to be an enemy to liberty, and a defender of tyrants? Liberty, that sacred gift of heaven, that glorious privilege of Britons!" — "Can it be possible", cried our entertainer, "that there should be any found at present advocates for slavery? [...] — "No, Sir", replied I, "I am for liberty, that attribute of Gods? Glorious liberty! that theme of modern declamation..." ("The Vicar of Wakefield", ch. XIX, и далее об "equal right to the throne" и о том, что "We are all originally equal", в связи с мнением левеллеров), что напоминает позднейшее радищевское обращение к Вольности: *О! дар небес благословенный, / Источник всех великих дел, / О, вольность, вольность, дар бесценный...* ("Вольность").

- 85 Ср. у Пушкина: *Где благо, там уже на страже / Иль просвещение, иль тиран* ("К морю", 1824).
- 86 Ср. *the tyrant's angry steel* ("The Traveller") и инверсию этого образа в "Кинжале" (1821), а также мотив меча в "Вольности".
- 87 К проблематике свободы и закона ср. главку "Религия и закон" из "Опыта теории налогов" Тургенева: "Введение добраго везде легче, нежели искоренение злаго. В России, с тех пор как в народе показалось сильное стремление к нравственному усовершенствованию, в соразмерности с большими успехами в хорошем, мы гораздо менее отстали от дурнаго. Будем однако же питать надежду, что Россия, имеющая много других преимуществ пред прочими Государствами, станет на ряду с ними и в сем отношении. Дух времени, выгоды самих помещиков служат основанием сей надежде. Благоустроенное Государство не должно созидать своего благоденствия на несправедливости; угнетение одного класса граждан другими не может быть залогом благосостояния великаго и нравственно добраго народа [...]" (136).
- 88 Обращает на себя внимание значительный параллелизм между описанием скупца в "The Traveller" и известным местом из пушкинского "Скупого рыцаря". Ср.:

As some lone miser visiting his store
Bends at his treasure, counts, recounts it o'er;
Hoards after hoards his rising raptures fill,
Yet still he sighs, for hoards are wanting still, —

в сопоставлении с монологом Барона во второй сцене "Скупого рыцаря", начиная с ... *так я / Весь день минуты ждал, когда сойду / В подвал мой тайный, к верным сундукам | [...] / Горсть золота накопленного всыпать...* и далее.

Ср. также известное сходство между [*And oft I wish, amidst the scene, to find | Some spot to real happiness consign'd | Where my worn soul, each wand'ring hope at rest, | May gather bliss [...] ("The Traveller")*] и началом "Деревни": *пустынный уголок, приют спокойствия, на лоне счастья* (ср. далее блаженство) и т.п.

89 Сюда же отчасти могут быть присоединены, находящиеся в отрыве от этого описания стихи: *На мирный шум дубрав, на тишину полей...; ... пустынный уголок, / Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... и Среди цветущих нив и гор...*

90 Этот ход в других случаях применял и Пушкин: *Моей души предел желанный! / Как часто по брегам твоим / Бродил я тихий и туманный, / Заветным умыслом томим.*

91 Названный ряд мог бы быть несколько расширен за счет "мини-пейзажа" в начале поэмы "The Traveller" (озера, пастухи \longleftrightarrow стада и т.п.).

92 Пейзаж "Деревни", вероятно, был написан по горячим следам: летом 1819 г. Пушкин жил в Михайловском. Ср. также "антипейзаж" с теми же сигнатурами — *Где нивы светлые? где темные леса? Где речка? и т.п.* ("Румяный кригик мой...", 1830). — Особое внимание привлекает стих *Везде передо мной подвижные картины*. Последний образ движущихся, преходящих, появляющихся и исчезающих картин деревенских красот находится и по сути дела и по месту в композиции в определенной переключке с голдсмитовским — *Vain transitory splendours...* ("подвижность картин", в конце-концов, приходит к смене цветущего вида "невежества позором", т.е. к идее преходящести; впрочем, очевидны, конечно, и различия). Вместе с тем трудно отделаться от впечатления, что *подвижные картины* своего рода резюме длинной цепи мелькающих, изменяющихся, исчезающих и возникающих видов (картин) в "Славянке" Жуковского, первом в русской лирике образце динамического пейзажа, где динамика объясняется из субъекта описания. Ср.: *Что шаг, то новая в глазах моих картина / То в друг, сквозь чашу дров, мелькает предо мной, | [...] / То вдруг исчезло все... [...] / И в друг пустынный храм ... | [...] / Воспоминанье здесь унылое живет; | [...] Оно беседует о том, чего уж нет | [...] / И в друг открытая равнина [...] / Вдруг гладким озером является река; | [...] / Смотрю ... и, мнится, все, что было жертвой лет, / Опять в видении прекрасном воскресает; | [...] / Но где он?.. Скрылось все...*

] [...] / Как будто мир земной в ничто преобразился [...] (как вариация *Sic transit gloria mundi*).

- 93 В связи с светлые ручьи ср. в DV, но в другом месте: *No more thy glassy brook reflects the day*; в ОД — *Потока быстрый бег, прозрачность и сверканье...* Мотив ручья присутствует и в черновой редакции "Вновь я посетил...": ... *но все приятных сердцу, / Как шум привычный и однообразный / Любимого ручья.*
- 94 Ср., однако, позже *The hawthorn bush* ("The Deserted Village").
- 95 Ср.: *Где роши и холмы с тадами оглашались, 74.*
- 96 Ср. также: *Иные берега, [...] ... / Меж нив золотых и пажитей зеленых* ("Вновь я посетил...").
- 97 *Неведомые воды и убогий невод рыбака*, конечно, отсылают к началу "Медного Всадника". К *Где парус рыбака белеет иногда и разбросанным хатам* ср. неожиданную переключку в описании Батеньковым Байкала в письме А.П. и А.А. Елагиным от 17 марта 1820 г. из Иркутска: "... дикая природа, разбросанные кое-где хижины ловцов, белеющие вдали парусы судов (вдали — к *Вдали рассыпанные хаты*). См. Письма Г.С. Батенькова, И.И. Пущина и Э.Г. Толля. М., 1936, 107.
- 98 Никак не настаивая на реальной связи двух текстов в данном случае, уместно обратить внимание на "голдсмитианские" образы в черновой редакции стихотворения "Вновь я посетил...". Ср.: *Нитяжкисуда торговли алчной, / Ни корабли [...] / [...] не видит путник / Ни гавани кипящей, ни скалы, / Венчанной башнями [...]*, отсылающие к отдельным местам в "The Traveller".
- 99 Здесь *шумящая толпа* противоположна иному, неблагоприятному шуму, которому поэт не должен преклонять свой слух (*Роптанью не внимать толпы непросвещенной*). По сравнению с DV русский перевод значительно развивает тему "шума" как знака радости и веселья (*Веселый хоровод, звучащая свирель, [...] / Всеобщий крик и плеск — победы в воздаянье, [...] / Свобода, резвость, смех, хор песней, гул рогов...*, — с явными следами русских реалий; ср., однако, в "охотничьем" сравнении: *And, as an hare whom hounds and horns pursue, ... DV*). — Вместе с тем *шумящая толпа* старцев и молодежи, идущая к раскидистому (и, следовательно, старому) дереву — *the spreading tree*, или *древний вяз* в ОД, ради отдыха и веселья, развлечений, как бы индуцирует (разумеется, с отличиями в деталях) тему шума и всего ее контекста все в том же стихотворении Пушкина "Вновь я посетил...":

Теперь младая роща разрослась,
 Зеленая семья; кусты теснятся
 Под сенью их как дети. А вдали
 Стоит один угрюмый их товарищ
 Как старый холостяк, и вокруг него
 Попрежнему все пусто.

Здравствуй племя

Младое, незнакомое! не я
 Увижу твой могучий поздний возраст,
 Когда перерастешь моих знакомцев
 И старую главу их заслонишь
 От глаз прохожего. Но пусть мой внук
 Услышит ваш приветный шум, когда,
 С приятельской беседы возвращаясь,
 Веселых и приятных мыслей полон,
 Пройдет он мимо вас во мраке ночи
 И обо мне вспомнит.

Приветный шум "толпы" деревьев, встречающих внука поэта, возвращающегося с приятельской беседы, конечно, переносится и на шумящую толпу друзей, где он только что веселился. Подобные "наплывы" на образы ранних поэтических опытов и их варьирование, несомненно, характерны для Пушкина.

- 100 Ср. у Пушкина: ... *Вновь я посетил / Тот уголок земли...* или там же, но в черновой редакции: *Вот уголок, / Где для меня безмолвно протекали / Часы печальных дум...*
- 101 К блаженство ("Деревня") ср. в ОД: *Ужель не возвращу блаженства оных дней!*, 8; *И был стократ блажен [...]*, 70; *Блажен, кто юных лет заботы и волненья [...]*, 114. — Пленяющая автора "Деревни" картина природы, способствующая тому новому состоянию, когда ... творческие думы / В душевной зреют глубине, отсылает, возможно, к той строке ОД, которая заключает "пленительный" пейзаж деревни — *Все мой пленяло взор, все дух питало мой!*, 19 (в DV совсем иначе — *How often have I blest the coming day*). Нужно подчеркнуть, что фразеология этой строки перевода близка к целому ряду сходных вариантов этой темы у Пушкина, ср. *пленить дух, душу, сердце* (*Пленила только дух святой; Моя душа плененная тоской; Все сердца пленила эти ...; Пленяли больше сердце ей*), *питать сердце, ум, мысль* и т.п., см. Словарь языка Пушкина, Т. 3. М., 1959, 351-352; 363-366. Похожие ходы появляются, в частности, при описании вдохновения: *Все наводило сладкий некий страх / Мне на сердце; и слезы вдохновенья, / При виде их, рождались на глазах* ("В начале жизни..."; ср. там же: *Я предавал мечтам свой юный ум, / И праздномыслить было мне отрада при: На*

п р а з д н о с т ь в о л ь н у ю , п о д р у г у р а з м ы ш л е н ь я в "Деревне").

- 102 К труд (Приют спокойствия, т р у д о в ...) в "Деревне" ср., помимо, трудами утомленный, 2, еще Златое здравие, т р у д о в б л а г о - в о л ь н ь е ! , 81.
- 103 Хижина с соломенным покровом, 14 наиболее точно передает *the sheltered cot* в DV. Выбор слова *хижина* (даже без определения) также, видимо, был сделан для того, чтобы подчеркнуть особый вид крестьянского жилища (без капитального покрова); наконец, также можно понимать и слово *хата* в "Деревне", вообще несколько необычное для описания жилища северновеликорусского крестьянина, но любимое Пушкиным, ср.: *Уж лучина догорела / В дымной х а т е мужика; Ни огня, ни черной х а т ы / Глушь и снег ...; Под сенью х а т ы скромной, / В часы печали томной...* и т.п.
- 104 См. А. Габричевский. "Странник" Пушкина и его отношение к английскому подлиннику. — В кн.: "Пушкин и его современники". Вып. XIX-XX. СПб., 1914, 40-48. Разумеется, этот вопрос в более широком плане рассматривался и другими исследователями. В последний раз — А.А. Долинин. К вопросу о "Страннике" и его источниках. — В кн.: Пушкинские чтения в Тарту. Таллин, 1987, 34-37.
- 105 Поскольку во многих из рассмотренных здесь "интертекстуальных" переключек объяснение их природы существенно зависит от решения вопроса о том, насколько Пушкин знал английский язык, — здесь уместно сузить и конкретизировать этот вопрос, отнеся его к 1817-1820 годам. О деталях говорить трудно, но ясно, что в этот период Пушкин знал его слабо, довольствуясь, видимо, уроками английского языка, полученными в детстве и, вероятно, поверхностными (ср. свидетельство Л.С. Пушкина в "Отечественных записках" за 1841 г., ч. 15. Приложение, с. II, а также см. П.В. Анненков. А.С. Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1873, 12, где источником сведений была, видимо, сестра поэта). Гурзуфские занятия английским языком, потребность в чтении подлинного Байрона, наконец, попытки переводить Байрона (начальные стихи "Гяура" — *Нет ветра — синяя волна...*, 1821 [характерен предварительный их перевод на французский, сделанный поэтом: *Traduction littéral. Pas un souffle d'air pour briser le flot ...* и т.д.]; рукописный набросок того же времени "Вечерня отошла давно..." также отсылает к схеме "Гяура"), несомненно, свидетельствуют о прогрессе в английском языке. И все-таки даже в ноябре 1825 г. в письме к Вяземскому Пушкин высказывает неудовлетворенность своим знанием: "Мне нужен английский язык — и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться пока пора. Грех гонителям моим!". В 1828 г., согласно

ряду свидетельств, Пушкину удалось погрузиться в изучение английского языка. Приобретенные во время этих занятий знания определили, видимо, тот уровень, который более или менее точно реконструируется для 30-ых годов, когда Пушкину пришлось немало работать с английскими текстами. К теме "Пушкин и английский язык" ср. *Ф.В. Булгарин*. О характере и достоинстве поэзии А.С. Пушкина. — "Сын Отечества". 1833, ч. 33; *П.И. Баргенов*. Пушкин в южной России. — "Русский архив". 1866. кн. 8-9; *Н.П. Барсуков*. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. 2. СПб., 1889, 185; *Я.К. Грот*. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899, 52-53; *В.В. Каллаш*. Заметки о Пушкине, IV. — "Русский Архив" 1901, № 6, 248 сл.; *В.В. Сиповский*. Пушкин. Жизнь и творчество СПб., 1907, 493; *М.В. Цявловский*. Заметки о Пушкине, I-II. — В кн.: "Пушкин и его современники". Вып. XVII-XVIII. СПб., 1913, 48-73; особенно *В.М. Жирмунский*. Байрон и Пушкин, 46-47, 409-412 и др.

106

В этой связи приходится упомянуть совсем недавно предпринятую попытку доказать, что источником (или одним из источников) повести Пушкина "Станционный смотритель" была сюжетная схема, лежащая в основе "Векфильдского священника" (Оливия становится жертвой молодого аристократа Торнхилла, который тайно увозит ее из родительского дома; отец Оливии глубоко страдает, тревожится за судьбу дочери, разыскивает ее, однако все эти перипетии кончаются удачно: молодые становятся супругами). См. *М.В. Разумовская*. Указ. соч., 124-134, особенно 131-134. В известном отношении ситуация напоминает ту, что разобрана выше. Так же неизвестно, был ли Пушкин знаком с романом Голдсмита, и так же единственным источником для заключений может быть сопоставление двух текстов. Но в отличие от случая, проанализированного здесь, сопоставление с ю ж е т н о й структуры двух прозаических произведений приводит к скудным результатам именно из-за того ограничения, которое налагается на разнообразие сюжетов и на возможности введения новых сюжетных ходов после некоторой цепи мотивов, достаточно жестко детерминирующих допустимые продолжения. Лишь обращения к другим уровням (вплоть до тех, элементы которых мотивируются структурой языковых уровней) могли бы дать более богатые и, главное, более надежные и доказательные результаты. Поэтому, отдавая должное обнаружению еще одного "прецедента", выступающего как потенциальный источник "Станционного смотрителя", нужно помнить, что этот новый источник не только не отменяет других возможных ("Лоретта" Мармонтея, "История одной деревенской девушки" Прево и т.п.), но и не дает оснований для определения относительного "веса" его сравнительно с другими источниками. Ввиду всего этого приходится согласиться с исследовательницей, предпочитающей говорить не об источниках, а об определенной традиции, к кото-

рой примыкает (может быть, и в качестве пассивного члена) "Станционный смотритель". Тем не менее, и такое "невзвешенное" и потому достаточно абстрактное сходство повести Пушкина с романом Голдсмита дает повод для продолжения темы.

Приложение I.

Китайская Повесть. Из Англинской книги: *The Citizen of the world, or Letters from a Chinese Philosopher* — "Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. Октябрь, 1763 года". СПб., 1763, 348-353.

Хоанг и *Ганзи* были муж и жена в *Кореи*, коих почитали за пример истинной и совершеннейшей любви, и за образец супружественного блаженства. Жители окрестных стран завидовали их щастию. Куда *Хоанг* ни пришел, туда и *Ганзи* за ним шла. *Ганзи* почитала все свои увеселения за пустые, есть ли *Хоанг* не имел в них участия. Где их ни видали вместе, там ходили они взявши друг друга за руку; уста их почти не разставались; обниманиями своими и поцелуями являли они доказательство взаимнаго своего удовольствия.

Любовь их была так велика, что думали, ничто не может помешательство учинить их покою: но зделалось, что мужнино надеяние на верность жены своей некоим образом уменьшилось; ибо толь нежная любовь, как его, была несчетным подвержена беспокойствам. [348]

Прогуливаясь некогда по случаю на кладбище, недалеко от своего двора, увидел *Хоанг* женщину, которая одета была в печальное платье; каждая часть ея одеяния была белая по обыкновению той земли, и махала на мокрую землю одной могилы большим махалом. *Хоанг*, которой в школе знатнаго Философа *Лаоса* с младых своих лет мудрости учился, не мог никакой сыскать причины сего действия; к женщине подошедши, спрашивал он со всякою учтивостию, чего ради она так по земле машет? Ах! ответствовала она, залившись слезами, как возможно пережить моего супруга, в сей могиле погребеннаго? Он был наилучший муж, которой меня любил как душу свою. При последнем своем дыхании завещал он мне, не выходить за другого мужа, до тех пор, пока не высохнет земля над его могилою; и здесь видишь ты меня в твердом намерении, чтоб повиноваться его воле; видишь, как я тружуся, чтоб высушить землю махалом. Я употребила уже два дни к исполнению его приказанія, и конечно не выду прежде за муж, пока точно не исполню его желанія, хотяб мне препроводить еще два дни в высушивании могилы.

Хоанг, красотою вдовы пленившийся, не мог удержаться, чтоб не улыбнуть [349] ся ея поспешению выгги опять за муж; между тем скрывая свои мысли позвал вдову учтиво к себе в дом, объявляя, что жена его может быть подаст ей некоторое утешение. Пришедши домой со своею изрядною гостию, сказал он тихонько жене своей *Ганзи* то, что он увидел; притом и немог он удержаться, чтоб не объявить ей

своего беспокойствия, что может быть с ним тоже случится, есть ли дражайшая его сожительница переживет его.

Не возможно описать *Ганзиной* чувствительности от толь худого подозрения. Ея горячность к мужу своему была чрезвычайна, она залилась слезами, гневалась, кинула на него суровые взгляды и выговаривала ему за такое худое об ней мнение, также и вдову, разсердившись, бранила, и объявила, что не примет она к себе в дом женщину, которая подвержена такому явному непостоянству. Ночь была студена и ветрена. Но *Ганзино* немилосердие чрез то не умягчилось. Гостья принуждена была, искать себе другого пристанища, потому что *Хоанг* жене своей никогда не противоречил. *Ганзи* хотела, чтоб было по ея воле.

Только что вдова отошла, то пришел к *Хоангу* один из прежних его учени[350]ков, котораго он несколько лет не видел. Сей принят был с честью, посажен за стол в первое место, и стакан веселия начал часто кругом похаживать. *Хоанг* и *Ганзи* давали себе знаки взаимной их горячности и безпритворнаго примирения. О толь горячем муже, о толь послушной жене, не могли немногие разсуждать без сожаления, что они не таковы счастливы. Однако их блаженство вдруг разрушилось незапным злоключением.

Хоанг упал якобы мертвой от паралича на землю. Всячески пытались его оживить, но все труды были тщетны. С начала *Ганзи* печалилась неутешно о кончине своего мужа; чрез несколько часов оправилась она несколько, так что могла читать его духовную. Следующаго дня начала она разсуждать по нравоучению и по правилам мудрости. На третьей день находилась она уже в состоянии, утешение принимать от молодого ученика; и кратко сказать, по прошествии трех дней согласились они оба, сочетаться браком.

В комнатах не видать было больше траура. Тело *Хоангино* сунули в старый гроб, и поставили в отдаленной покой, дабы его не трогать до предписаннаго по законам времени погребения. Между тем [351] *Ганзи* и ученик наряжались в великолепное убранство; невеста носила не оцененной камень в ноздрях; полюбовник ея ходил во всем убранстве прежняго своего учителя. Настал час их сочетания; вся фамилия имела участие в их радости; комнаты были иллюминированы светло сияющими и благовонными факалами. С нетерпеливостию ждала к себе невеста молодаго полюбовника в одном из внутренних покоев, когда испужавшись подошед к ней служанка, принесла наипечальнейшее известие.

Жениху приключилось жестокой припадок, от котораго он умереть может, разве сыскано будет сердце не давно умершаго человека, чтоб

положить оное на его грудь. Едва выслушав сие побежала *Ганзи*, взяв топор, ко *Хоангову* гробу, не для чего инаго, как чтоб сердце умершаго своего мужа употребить к исцелению своего полюбовника. Изо всей силы ударила по крышке, крышка с гроба соскочила, а тело, которое по всему виду было мертво, двигаться начало. Сие увидя *Ганзи* уронила со страху топор из рук, и *Хоанг* вставши не мог довольно увидится [удивиться. — *В.Т.*] обстоятельствам, в которых он находился, не обыкновенному жены убранству, а наипаче непонятному ея изумлению. Он пошел по комнатам, не [352] понимая причины везде являющегося чрезвычайнаго великолепия. Но не долго пробыл он в сем незнании. Служители сказали ему все происходившее с той минуты, в которую лишился он чувства. Едва он мог поверить тому, что ему сказывали. Он искал своей *Ганзи*, чтоб от нея наведаться обо всем достовернее, или укорить ея в неверности. Но она уже предускорила его попрекания. Он нашел ея лежащую в крови; ибо как ей не возможно было пережить свой стыд и досаду, то пронзила она себя кинжалом в сердце.

Хоанг, будучи Философ, скрыл свое прискорбие, почитая за лучшее снести урон свой с веселостию. Взяв старой гроб, в котором он сам лежал, положит туда неверную свою жену, понеже он не хотел, чтоб толь многия приуготовления на свадьбу все употреблены были: то женился он сам того же еще вечера на вдове с большим махалом.

Взаимные свои слабости уже наперед они извели, и так знали, как им извинить оныя после брака. Много лет жили они весьма спокойно, и никаких любовных восхищений не ожидая, старались токмо о том, как бы жизнь свою препроводить в удовольствии. [353]

Приложение II.

О русских переводах естественно-научных работ Голдсмита.

На рубеже 70-80-ых годов XVIII века в России заметно возрос интерес к естественным наукам — как в академической среде, так и в более широком круге читателей, нуждавшихся в популярных изложениях научных достижений. Во всяком случае сравнение с публикациями рубежа 50-60-ых годов (прежде всего "Ежемесячные Сочинения") свидетельствует, насколько более глубоким, дифференцированным и специализированным стал интерес к науке два десятилетия спустя. Ведущую роль в публикации научных материалов начинают играть два академических издания — "Академические известия" (1779-1781) и "Новые Ежемесячные Сочинения" (1786-1796). В них публикуются переводы (прежде всего), иногда и оригинальные научные труды по геологии, минералогии, ботанике, зоологии и т.п. Русский читатель получает возможность познакомиться с Линнеем, Бюффеном и другими выдающимися естествоиспытателями. Все чаще появляются публикации ученых, работавших в России, — Палласа, Георги, Крафта, Лепехина, Озерецковского, Котельникова, Ино-земцева, Зуева, Протасова, Румовского и др. Формируется круг переводчиков научных трудов с западноевропейских языков.

Если задаться вопросом о том, что же прежде всего привлекало русского читателя в научных публикациях в периодической печати, то, судя по печатаемым материалам, приходится заключить о двух основных сферах, вызывавших преимущественный интерес. Первая — специфическое в "трех царствах природы" (минералогия, ботаника и зоология), неизвестное читателю и неожиданное с точки зрения здравого смысла. Но акцент делается не на "раритетном" и "монструозном", взятом само по себе, как в эпоху петровских тератологий и кунсткамер, а скорее на специализации известного (органов чувств, частей тела и т.п.) в зависимости от сферы обитания и условий жизни. Вторая сфера, — напротив, о б щ е е, универсальное, связывающее все разнообразие природы воедино. Отсюда — интерес к обобщающе-синтетическим картинам и к теме последовательных переходов, цепи явлений, "лестницы", ср., напр., "Благоустройство природы" Линнея ("Акад. изв." 1779, 49-90); "Естественное любопытство" Линнея ("Нов. Ежемес. Соч. 1790, сент., 62-78; окт., 79-89; ноябрь, 57-71: о царствах природы); "Розыскание о различном поле Произрастаний" Линнея ("Нов. Ежемес. Соч." 1795, май, 69-82; июль, 25-36; сен., 3-13; окт., 3-16; "Размышление о трех царствах природы", без обозначения автора

("Акад. изв.", 1781, 859-916); "Цепь тварей", автор не указан ("Нов. Ежемес. Соч.", 1793, авг., 88-95); "Описание Сферы и Земного Шара вообще, взятого из Географии Аббата де Лакроа" ("Нов. Ежемес. Соч.", 1793, авг., 54-86; сен., 57-77; окт., 36-48; ноябрь, 38-59; дек., 46-62) и др. О Бюффоне в России см. *Т.И. Райнов*. Русские академики второй половины XVIII века и Бюффон (К 150-летию русского перевода Бюффона). — "Вестник Академии наук". 1939, №. 10, 126-147; *М.В. Рауэмовская*. "Естественная история" Бюффона и Фонвизин (к постановке вопроса). — "XVIII век", сб. 15. Л., 1986, 97-108.

Именно в этом контексте становится понятным интерес к Голдсмиту, который, строго говоря, не был естествоиспытателем, хотя писать на естественно-научные темы ему пришлось много. Для шеститомной "Natural History" Брукса (R. Brookes), изданной Джоном Ньюбери в 1763 г., Голдсмит написал предисловие ("Preface") и введения ("Introduction") к разным разделам этого труда ("Of Quadrupeds in General, and Their Way of Living", к 1-му тому; "Of Birds in General", к 2-му тому, "History of Fishes", к 3-му тому, "History of Insects", к 4-му тому, "Of Botany in General", к 6-му тому), см. также O. Goldsmith. *The Works. A New Edition, Containing Pieces Hitherto Uncollected. In Five Volumes. London, 1902. Vol. V, 68-128*. Но главным его трудом в этой области стала восьмитомная "An History of the Earth and Animated Nature", вышедшая в свет 30 июня 1774 года, т.е. почти три месяца спустя после смерти Голдсмита (договор о составлении этого труда был заключен им с Гриффином в феврале 1765 г.). Именно отсюда русские переводчики 80-ых годов XVIII века и брали отдельные разделы, публикуя их в тогдашних академических изданиях.

Но прежде чем перейти к этим переводам, стоит сказать несколько слов об этом естественно-научном труде Голдсмита. Разумеется, этот труд представлял собой компиляцию, далеко не безупречную в глазах специалистов того времени. Голдсмита упрекали за незнание (иногда и ошибки), за излишнюю доверчивость к источникам, из которых он черпал факты. Впрочем, основное все-таки было почерпнуто из наиболее авторитетных тогдашних исследований (Linnei, Buffon, Ulloa, Krantz, "Transactions of the Philosophical Society" и т.п., — ср. *W. Lynskey. The Scientific Sources of Goldsmith's Animated Nature*), и, более того, иногда текст Голдсмита довольно близок текстам своих источников. И все-таки главное в этом сочинении заключалось в другом — в открывающейся широкой перспективе, в прослеживании разно-образных связей в живой природе, в обобщениях естественно-философского характера, в трезвости и уме составителя. Поэтому вполне можно согласиться с мнением об этом труде современного комментатора — "But in fact his

own commonsense judgements were often sounder than those of the theorists from whom he was compiling" (См. *O. Goldsmith. Selected Works. London, 1967, 562*). К этим положительным чертам сочинения Голдсмита следует отнести и те особенности, которые дополнительно ценились в XVIII веке читателями-неспециалистами: ясный, простой, богатый язык описания, по временам приобретающий достоинства художественной речи, и своеобразный "гносеологиче-ский" оптимизм, ощущение радости от познания природы во всем ее богатстве и разнообразии, естественно-научная любознательность. Эту свою особую позицию Голдсмит зафиксировал и в предисловии к своему сочинению:

The delight which I found in reading Pliny, first inspired me with the idea of a work of this nature. Having a taste rather classical than scientific, and having but little employed myself in turning over the dry labours of modern system-makers, my earliest intention as to translate this agreeable writer, and by the help of a commentary to make my work as amusing as I could. Let us dignify natural history never so much with the grave appellation of *an useful science*, yet still we must confess that it is the occupation of the idle and the speculative, more than the busy, and the ambitious part of mankind. My intention, therefore, was to treat what I then conceived to be an idle subject, in an idle manner; and not to hedge round plain and simple narratives with hard words, accumulated distinctions, ostentatious learning, and disquisitions that produced no conviction. Upon the appearance however, of Mr. Buffon's work, I dropped my former plan, and adopted the present, being convinced, by his manner, that the best imitation of the ancients was to write from our own feelings, and to imitate Nature.

It will be my chief pride, therefore, if this work may be found an innocent amusement for those who have nothing else to employ them, or who require a relaxation from labour. Professed naturalists will, no doubt, find it superficial and yet I should hope that even these will discover hints and remarks gleaned from various readings, not wholly trite or elementary. I would wish for their approbation. But my chief ambition is to drag up the obscure and gloomy learning of the cell to open inspection: to stir it from its garb of austerity, and to show the beauties of that form, which only the industrious and the inquisitive have been hitherto permitted to approach.

(цит. по: *O. Goldsmith.. A History of the Earth and Animated Nature. Philadelphia, 1858. Vol. 1, Preface, VIII*).

Тот же пафос определяет начальные строки книги (Chapter I. A Sketch of the Universe, 9):

The World may be considered as one vast mansion, where man has been admitted to enjoy, to admire, and to be grateful. The first desires of savage nature are merely to gratify the importunities of sensual appetite, and to neglect the contemplation of things, barely satisfied with their enjoyment: the beauties of

nature, and all the wonders of creation, have but little charms for a being taken up in obviating the wants of the day, and anxious for precarious subsistence.

Philosophers, therefore, who have testified such surprise at the want of curiosity in making provisions of a more important nature; in providing rather for the necessities than the amusements of life. It is not till our more pressing wants are sufficiently supplied, that we can attend to the calls of curiosity; so that in every age scientific refinement has been the latest effort of human industry.

But human curiosity, though at first slowly excited, being at last possessed of leisure for indulging its propensity, becomes one of the greatest amusements of life, and gives higher satisfactions than what even the senses can afford. A man of this disposition turns all nature into a magnificent theatre, replete with objects of wonder and surprise, and fitted up chiefly for his happiness and entertainment: he industriously examines all things, from the minutest insect to the most finished animal; and, when his limited organs can no longer make the disquisition, he sends out his imagination upon new inquiries.

Nothing, therefore, can be more august and striking than the idea which his reason, aided by his imagination, furnishes of the universe around him [...] — и т.п. — вплоть до последней фразы главы:

In short, we may conclude, that God, who is regular in his GREAT productions, acts with equal uniformity in the LITTLE (11).

Эти и подобные им общие рассуждения Голдсмита не переводились на русский язык, но, во-первых, они в некоторой степени отражались в русской периодике, где печатались переводы естественно-научных сочинений общего характера (ср. особенно "Размышления о трех царствах природы" и "Естественное любопытство"), отчасти относившихся к числу источников труда Голдсмита, а, во-вторых, дух этих руссуждений так или иначе обнаруживает себя и в тех "конкретных" очерках, которые переводились на русский язык. Возможно, именно поэтому для знакомства с теми или иными представителями фауны отбирались соответствующие очерки Голдсмита, а не более специальные и научно более авторитетные статьи из других источников.

Первый перевод из "An History of the Earth and Animated Nature" на русский язык появился в "Академических известиях" на 1780 г. (ч. VI, сент., 19-30; окт., 175-187). Он был озаглавлен "Натуральная история о рыбах вообще" (подписано: Сочинено на Английском языке г. доктором Голдшмидтом, а переведено Адъюнктом Николаем Озерецковским). Русский перевод представляет собой интерес и в контексте Goldsmithiana'ы (первый опыт ознакомления русского читателя с естественно-научными трудами английского писателя), и с точки зрения формирования языка русской научной прозы (тем более, что перевод принадлежит специалисту-"естественнику"). Поэтому уместно привести

ряд образцов языка этого перевода (поскольку переводдостаточно близок английскому тексту, соответствующие фрагменты из последнего здесь не приводятся). Ср. начало перевода:

Окиан есть обширное вместилище рыб, и некоторые Испытатели Натуры думали, что все рыбы произошли от сей соленой стихии, потому особливо, что большия животныя сего рода, из коих некоторые чрезвычайно велики, как то киты и безчисленное множество других, вне моря жить не могут. В сей неизмеримой и глубокой бездне, в которую любопытное око наблюдателя проникнуть не может, обитают миллионы животных, которых и самый вид еще не известен. Любопытство человека со дна вод извлекло из них многих: однако от изысканий его скрывается еще безчисленное их количество. Мы можем описать их вид, но не знаем, каким образом живут они в природной им стихии.

Число таких рыб, коих имена нам известны, простирается по *Линнееву* описанию до четырех сот. По сему История их хотя и нарочито обширна, однако она мало в себе полезного заключает, по тому что испытывающие Натуру наши Философы вместо того, чтобы вникать в их свойства, упражнялись до сего времени только в распространении расписания их имен; и читатель ожидающий от них последования наблюдений и дел, не находит ни чего кроме долгаго и скучнаго совокупления собственных названий ни чему его не научающих.

Общий вид рыб почти у всех одинакой. Они с обоих концов тонки, и только брюхо у них толсто. Сей вид тела одаряет их способностью протекать с большею скоростию обитаемую ими жидкую стихию. Мы старались подражать сему Натурою данному размерению при строении кораблей, дабы они были на ходу легче. Однако быстрота машины, помощию человека в воде движимой, ни как не может быть уравнена быстроте животнаго от Натуры там жить определеннаго; и нет ни единой большой рыбы, которая бы быстротою плавания не преимуществовала и перед самым легким кораблем, которая бы не играла около его с великою удобностию, часто не останавливалась, и в одну минуту онаго не обегала [этот абзац почти в точности совпадает с английским текстом "History of Fishes" из бруксовой "Natural History", начиная с "The shape of most fish is much alike..."].

Главнейшия орудия их движения суть перья, коих число у иных больше, нежели у других: однакож легкость их не всегда бывает

соразмерна количеству их перьев. У аикулы, которая одною из быстрейших рыб почитается, нет под брюхом ни единого пера... .

Как большая часть животных на земле обитающих, одарены покровом от суровости воздуха их охраняющим, так и в воде живущия покрыты густою и липкою по всему телу слизью, которая защищает их от непосредственного прикосновения окружающей их влажности... .

Рыба, таким образом защищенная и для нужных ей движений устроенная, имеет, кажется, столько же средств к благополучию, сколько и четвероногия твари и птицы. Но ежели вникнем более в ея способности, то познаем, что она их гораздо недостаточнее: ибо рыба покрытая чешуею не имеет чувства осязания, которым все четвероногия и птицы одарены в большем или меньшем степени (19-23); —

Натура, кажется, одарила их жадностию и силами нижшаго рода, и предопределила для страдательнаго бытия в мрачной водяной стихии. Все усилия рыб к тому клонятся, чтобы сохранять свое собственное бытие и размножать свой род; к чему кажется склонны они больше по нужде, нежели по воле, и притом ко всякому действию как бы механическим образом побуждаются. ... (27); —

Гонение хищных рыб не ограничивается одною странною или одним подвигом, так как гонение земных животных. Одна оных порода следует за другою чрез пространныя глубины Окиана, от полюса до экватора. Треска бежит от своего неприятеля с берегов Новой Земли до берегов Гренландии. Кит, называемый Кашалот, таким же образом бегаёт за множеством сельдей, и одним зевом поглощает их тысячи. [...] Следствием сего военного состояния должно может быть почитать ежегодные рыб переходы их одной части Окиана в другую. Они могут иметь и другия тому причины (175); —

Рыбы всех пород живут больше или меньше, столь далеко от взору человеческого, что мало вернаго сказать о них можно. Большая написаны книги о способах их ловить и готовить. ... Прежде окончания сей главы предложу я вопрос, которой решить не в состоянии: каким образом сие бывает, что рыба родившаяся в соленой стихии, и в ней питающаяся, не имеет ее вкусу, и что из нее ни какой так же соли получить не можно (186-187, конец главы).

Через восемь лет в "Новых Ежемесячных Сочинениях" за 1788 год, в декабрьском номере появился новый перевод из того же английского труда — "О Крокодиле. Сочинение Доктора Голдшмита" (85-102). Ни имени переводчика, ни с какого языка был сделан перевод, не указано. Ср. соответственно начало и конец русского текста:

Природа определила Крокодилу для обитания места отдаленные от Европы, и размножила его в странах, где люди редки и искусства не сведомы. Редко видны великия и опасныя животныя в частях света населенных и просвещенных. Кажется, что распространение рода человеческого и художеств никогда не дадут им там места; лишь только они появятся, то тысячи вооружаются противу их, и обыкновенно смерть бывает возмездием за отважность там показываться. Посему Крокодил, в прежние времена столь страшный обитатель Нильских берегов, не столь уж там многочислен, как прежде. Искусство человеческое в течение многих веков безпрестанно занималось его изстреблением, а ежели ныне он где и попадает, то уже бывает гораздо боязливее и безсильнее, нежели прежде был.

Дабы видеть сие животное в природном ужасном его виде, выросшаго до чрезвычайной величины и в великом множестве, должно достигь необитаемых стран Африки и Америки, ехать по великим рекам протекающим пространныя и пустыя земли, до коих никогда художества не проникали, где отличие одним насилием приобретает, и где сильнейшия животныя с безопасностью могут оказывать свою силу (85-86); —

Яйца Крокодиловы почитают они пренежным кушаньем. У диких, так как и у нас, есть свои предметы к прожорству: они не щадят трудов, нестрашатся ни каких опасностей, чтобы добыть только любимой сей кусок. Безпрестанно ходят около тех мест, где самки кладут свои яйца, и когда положа уйдут, то Негры с поспешностью оныя уносят (102).

Через год в тех же "Новых Ежемесячных Сочинениях" (1789, окт., ч. 40, 70-79) появился русский перевод третьего фрагмента из того же труда английского писателя — "О красном гусе (Из сочинений Доктора Голдсмита)"; в конце указано: Перевел с Французского языка из *Esprit des Journaux Алек. Севаст.* [= А. Севастьянов. — В.Т.]. Ср. начало и конец этого текста:

Красной гусь должен быть помещен непременно в роде журавлей; хотя у него, так как у гуся, пальцы соединены перепонкою, однако же он величиною, строением тела и природными побуждениями от сего тихоходящаго животнаго довольно отличается. Имея шею и ноги длиннее нежели у прочих журавлей, пищу свою из воды весьма удобно достает, и от прочих животных своего роду различествует токмо образом, как схватывает свою добычу. ...

Сия чрезвычайная птица водится в Америке; но она и на берегах Европейских прежде сего была известна. Красота ея, телосложение и вкусное мясо вооружали противу ея такое множество неприятелей, что она принуждена была, оставив обитаемые берега, переселиться в земли мало населенныя. [...] (70-71); —

В третий год птица сия получает полную свою красоту: всѣ ея перья принимают самый лучший алый цвет, выключая некоторыя крыльняныя, кои черный свой цвет сохраняют. Дикие употребляют их на различныя украшения: Европейцы же сдирают их и с кожей для делания муфт; но цена оных весьма унизилась с тех пор, как познали искусство красить перья алою краскою. (79)

Эти переводы очерков Голдсмита, посвященные разным представителям фауны, органически входили в еще более обширный набор подобных по типу статей, печатавшихся в тех же самых изданиях и представлявших собой как переводы, так и оригинальные тексты русских авторов (ср. в "Новых Ежемесячных Сочинениях" статьи "Описание Аккулы" Лепехина [1790, ч. 47, 31-47]; "Разсуждение о Насекомых" Н.О. [1787, ч. 13, 80-94; ч. 15, 62-72]; "Ботанико-Историческое разсуждение о Мандрагоре, или мужеском корне" [1790, ч. 53, 71-83; из "Esprit des Journaux", пер. И.Г.]; "О прилете и отлете птиц" [1790, ч. 54, 56-72; пер. с нем. *Вас.Пол*]; "Описание сурка, взятое из путешествия г. Вильяма Кокса по Швейцарии" [1791, ч. 60, 90-96; пер. из "Esprit des Journaux" К.Грота]; "Врачебная пиявица" Линнея [1791, ч. 63, 50-74; пер. с лат. И.Исаев]; "Светоноска /Acudia/" из Бомарова Словаря [1793, ч. 83, 82-89; пер. С.С.]; "Об Агате" из Бомарова Словаря [1793, ч. 83, 24-35]; "О фореле или Пеструшке" [1795, ч. 103, 27-38; пер. с нем. Гимназист Пармен Лепехин]; "О пролетных птицах" [1795, ч. 103, 42-51; пер. с нем. П. Лепехин]; "Шука" [1795, г. 103, 42-51; пер. с нем. П. Лепехин]; "О пролетных птицах" [1795, ч. 105, 31-47; пер. с нем. П. Лепехин]; "Тюльпан" [1796, ч. 119, 41-51; пер. с нем. П. Лепехин]; "Опыт исторический о морских зверях и рыбах..." [во многих номерах; автор — Александр Фомин] и т.п.). Не исключено обнаружение и некоторых других переводов голдсмитовских естественно-научных очерков среди материалов,

авторская принадлежность которых не указана. Кажется, можно думать и об отражении факта знакомства в России с другой "не-художественной" книгой Голдсмита — "Enquiry into the Present State of Polite Learning" вышедшей в свет в Лондоне в 1759 г. (см., в частности, сноску 67).

Приложение III.

О первом русском переводе "Векфилдского священника".
Вышедший двести лет тому назад в Москве русский перевод романа

Голдсмита был сделан Н.И. Страховым не с английского, а с одного из имевшихся уже к тому времени переводов на французский язык. Для того времени это был самый естественный путь (хотя и не прямой), на котором могло произойти знакомство русского читателя с Голдсмитом. Переводчик в целом хорошо выполнил свою задачу, и в итоге русский текст оказался довольно точно следующим английскому. Более того, в ряде случаев, снимая при переводе некоторые типично французские языковые (прежде всего — синтаксические) клише и идиоматизмы, Н.И. Страхов, видимо, не подозревая того, приближался к английскому тексту значительнее, чем "первичный" французский перевод (разумеется, это верно лишь для отдельных мест, но не в целом). Кроме того, для русского переводчика была особенно значимой нравственная сторона романа (см. ниже), и он дорожил верностью этой линии, что и помогло ему, несмотря на ряд явных небрежностей и недочетов, создать достаточно удачную русскую версию романа Голдсмита, избегающую (как правило) и буквализмов и столь распространенного в ту пору "склонения" на русский нравы.

Титульный лист книги выглядит следующим образом: Вакефильдской Священник, история. Англинское сочинение. — *Sperate miseri, caute felices!* Часть I. Изданием типографической Компании. М., 1786. Любезному другу Василью Васильевичу Новикову (шифр Музея книги Румянцовской библиотеки: КТ/86 Г; под той же обложкой — Часть II; латинское мотто повторено и перед рассказом "Алкандр и Септимий"). — Возможно, что перевод Страхова был сделан с французского перевода. — *Le Vicair de Wakefield, histoire supposée écrite par lui même avec cette épigraphe: Spirate miseri, cavete felices, traduite de l'anglais de Goldsmith, par Mme de Montesson. Londre, Paris. 1767* (ср. эпиграф.). См. *Bibliography of French Translations of English Works 1700-1800*, 127.

На странице А3-А3 об. — обращение к В.В. Новикову, журналисту, публицисту, юристу, чье имя связано с началом судебной гласности в России (см. о нем: *Ф.И. Ливанов*. Начало судебной гласности в России (Журнал В.В. Новикова "Театр судоведения или чтение для судей и всех любителей юриспруденции") — "Библиотека для чтения" 1865, № 7-8, отд. III, 105-119; *Ф.В. Западов*. В.В. Новиков и его "Театр судоведения". — "Ученые записки Ленинградского университета" 1939, № 47, вып. 4,

серия филологич., 77-87; Н.П. Смирнов-Сокольский Рассказы о книгах. М., 1959 [2-ое изд. — 1960, о книгах В.В. Новикова и Н.И. Страхова]):

Любезный друг!

Дружба, издавна нас соединяющая, коея благодеяния твои ко мне явили уже с о в е р ш е н н ы й опыт, побуждает меня с своей стороны обнаружить пред всеми как оную, так и признательность твоих обязанностей. Приими исполненного сердца жертву, которая была, есть и будет приносима тебе

Верным другом

Николаем Страховым.

Для понимания мотивов, которыми руководствовался Н.И. Страхов, переводя этот роман, и Николай Иванович Новиков, издавая его, очень важно помещенное на стр. А4-А4об. —

Предисловие

Сей роман служит образцем сочинений сего рода. Живейшия чувствования, дела, собственно изоражаемая, так как оныя производятся в общежитии; особенно находящиеся в оном здравыя разсуждения, достойны похвал каждаго чувствующаго цену изяществ умопроизведения. Добродетель и отрасли ея просто и удобно изъясняящиеся, неотступление от нее ни в каких превратностях жизни сея, но всегдашнее последование оной, и выводимыя из каждаго приключения особ составляющих семейство заключений, научающия во вкоренении оныя в сердца их, составляют изящество свойств Вакефильдскаго Священника, Героя сего романа. Сверх того всѣ отдают сей книге должную справедливость. Опытном сему послужить может предложение оной с Аглинского языка, на коем она сочинена, на другие языки; да и самый Ученый свет признает оную за совершеннейшую в роде таковых сочинений; с похвалою упоминается об ней в творениях учнейших людей, и берутся некоторыя примечания*. Впрочем всегда примечаемая склонность Россиян к Агличанам и уважение к сочинениям их, не мало могут спосоствовать одобрению сей книги. (См. L'an deux mille quatre cent quarant.)

Это предисловие вполне подтверждает предположение не только о неслучайности, но — более того — о с о з н а т е л ь н о с т и обращения к этому роману Голдсмита в 80-ые годы в новиковском кругу. Люди, принимавшие участи в переводе и издании "Векфилдского священника" твердо знали, чем важен и полезен роман русскому читателю и на какой круг он рассчитан. И это обстоятельство придает особую окраску переводу романа, делая его более значительным, чем можно было бы думать, событием и в русской Goldsmithiana'e и в духовной жизни людей, причастных мартинизму или близких ему по своим

настроениям. Не исключено, что именно разгром новиковского кружка объясняет "беспоследственность" русского перевода романа или, по меньшей мере, отсутствие данных о том, как он был принят читателями.

Представление о русском переводе "Векфилдского священника", его языке, стиле, общем тоне и настроении можно получить из самого начала романа:

Глава I. Описание Священникова семейства, сходства нравов в особах, составляющих оное.

Всегда я был таких мыслей, что честный человек, вступивший в законное супружество, и воспитывающий многочисленное семейство, более делает услуги человечеству, нежели тот, который, живучи холост, с великим остроумием разсуждает о размножении людском. Взяв сие за правило по вступлении моем в духовное звание, не дал я пройти году, как начал уже помышлять о браке. Я выбрал для себя женщину довольно пригожую, добраго нрава и такого воспитания, что редкия уездныя госпожи могли иметь сему подобное. Всякия Аглинския книги она могла читать по толкам; а что касалось до приготовления кушанья и сахарных вареньев, то не было ей подобной; в домоводстве ж она не хотела никому уступить. Однакож в последствии я не приметил, чтоб мы от сих экономных выдумок разбогатели.

Мы друг друга весьма любили, и взаимная наша склонность с летами получила приращение, да и действительно мы не имели ничего, чтоб нас могло огорчить против света и против нас самих. У нас был изрядной на прекрасном месте дом, и мы имели хороших соседей. Год проходил в нравственных, или деревенских забавах, в посещениях богатых наших соседей, и в вспоможении тем, кои были бедны. Мы жили свободно и беззаботно.

Как дом наш стоял на большой дороге, то редко у нас случалось без гостей, или заезжих, кои часто жаловали к нам отведывать нашей смородинной наливки**, которая славилась за наилучшую, а сказать чистосердечно, как должно справедливому историку, то я не знал ни одного, кому бы она не показалась [...].

Таким образом жили мы несколько лет весьма щастливо. Но при всем том не редко случались с нами те небольшие нещастия, кои Провидение низпосылает нам для увеличения своих милостей. (9-12)

Ср. "пейзажный" отрывок из начала гл. IV первой части: Место нового нашего жилища состояло из небольшой деревушки, составленной из откупщиков, кои сами обрабатывали свои земли, и кои равно удалены были от обеих крайностей, то есть богатства и скудости. [...] Небольшое жилище наше находилось при подошве некоторой

горы, коея отлогость была приятна. Хороший позади нас находился лес, а спереди протекал ручей; с одной стороны мы имели луг, а с другой пригорок. [...]

К соотношению "вторичного" перевода и английского текста ср. концовку романа:

После обеда просил я, следуя прежней моей привычке, чтоб отняли стол, дабы иметь удовольствие видеть еще один раз все мое семейство в веселии сидящее против огня: меньшие мои сыновья сидели на моих коленях, между тем, как прочие из собрания всякой с любезною своею половиною веселились невинным образом. Находясь близъ гроба, теперь ничего не остается мне желать: всѣ мои печали окончались, удовольствие мое несказанно. Мне только остается стараться, будучи в щастии, быть более благодарным,

нежели сколько я был в моих злополучиях. [Ч. II, 184]

As soon as dinner was over, according to my old custom, I requested that the table might be taken away, to have the pleasure of seeing all my family assembled once more by a chearful fireside. My two little ones sat upon each knee, the rest of the company by threir partners. I had nothing now on this side of the grave to wish for, all my cares were over, my pleasure was unspeakable. It now only remained that my gratitude in good fortune should exceed my former submission in adversity.

Существенно, что именно русский перевод романа содержит и первые опыты в передаче английской (через французский перевод) поэзии Голдсмита. Речь идет прежде всего о прозаических переводах "A Ballad" ("Edwin and Angelina" или "The Hermit", см. Chapter VIII), см. П р и л о ж е н и е III, и "An Elegy on the Death of a Mad Dog" (Chapter XVII первой части романа), а также о ранее не отмеченном стихотворном переводе песни, которую поет Оливия (Part II, Chapter V).

Ср. сначала прозаический русский текст и стихотворный английский из 17-ой главы части I:

"А ты жизнь моя, София, возми свою цитру и подыграй под его песнь"

Элегия на смерть бешеной собаки

Да внемлите небогие и знатные, преклоните ухо к слушанию песни моей; и коль не покажется она вам коротка, тем будет лучше; ибо не наскучит она вам.

В Клинтоне был некоторой человек, и естли бы о нем спросил кто, то все бы сказали, что он человек самага честнаго жития.

Душа его была удобопреклонна и чувствительна; делал он добро своим неприятелям, равно как бы и своим друзьям, и одевал каждый день нагаго.

В городе сем была собака, и оных в сем месте было много всяких родов, как-то овчарок, лягавых, гончих и других.

Собака и человек имели между собою дружбу; но поссорившись собака взбесилась, и укусила человека.

Испугавшиеся соседи сбежались со всех сторон из улиц, и уверяли, что собака, укусившая столь добраго своего господина, верно сошла с ума.

Рана беднаго сего человека всеми почтена была опасною и смертельною; и сколь они много уверяли, что собака сошла с ума, не менее того божились, что и он от оной раны умрет.

Но вскоре сделалось чудо, которое опровергло их мнение: человек излечился, а собака умерла. [I,158-159]

"and Sophy, love, take your guitar, and thrum in with
the boy a little"

An Elegy on the Death of a Mad Dog

Good people all, of every sort
Give ear unto my song;
And if you find it wond'rous short,
It cannot hold you long.

In Isling town there was a man,
Of whom the world might say,
That still a godly race he ran,
Whene'er he went to pray.

A kind and gentle heart he had,
To comfort friends and foes;
The naked every day he clad,
When he put on his cloaths.
And in that town a dog was found,
As many dogs there be,
Both mungrel, puppy, whelp and hound,
And curs of low degree.

This dog and man at first were friends;

But when a pique began,
The dog, to gain some private ends,
Went mad and bit the man.

Around from all the neighbouring streets,
The wondering neighbours ran,
And swore the dog had lost his wits,
To bite so good a man

The wound it seem'd both sore and sad,
To every christian eye;
And while they swore the dog was mad,
They swore the man would die.

But soon a wonder came to light,
That shew'd to rogues they lied,
The man recovered of the bite,
The dog it was that dy'd.

Эта "Элегия" и ее русский перевод представляют интерес и потому, что возможно, были отдаленным источником известного шуточного "бесконечного" стишка в русской низовой и/или детской полуфольклорной традиции: *У попа была собака, / Он ее любил. / Она съела кусок мяса, / Он ее убил* (и далее: *И в землю закопал, / И надпись написал, / Что у попа была собака... и т.д.*), см. Приложение VI. Сходную историю пережило и известное стихотворение Уордсуорта "We are seven", попав в русских условиях в аналогичную среду.

Но разумеется, наибольший интерес вызывает стихотворный перевод песни, которую спела Оливия (Pt. II, ch. V, ср.: *She compiled in a manner so exquisitely pathetic as moved me*).

Песня

На то ли я судьбой рожденна,
Чтоб все мне горьки слезы лить?
О небо! я тобой забвенна,
Ты в бедствах мне судило жить.
Лишенна чести и покою,
Не знаю, что в слезах начать.
Тиран! на толь ты страстно мною
Пленился, чтоб меня терзать.
Все сладость мне напоминает,

И все унылый дух тягчит,
 Все горестию угрожает,
 Увы! я в гроб свой спрячу стыд!

(и далее: "как она окончила сей песни конец, коему унылый голос придал несказанную приятность, оказался у нас в виду экипаж Г. Торнгиля. Мы все пришли в смятение [...]". Глава V. Новые несчастия, Ч.2, 67-68).

Переводимый английский текст состоит из двух строф:

When lovely woman stoops to folly,
 And finds too late that men betray,
 What charm can sooth her melancholy,
 What art can wash her guilt away?

The only art her guilt to cover,
 To hide her shame from every eye,
 To give repentance to her lover,
 And wring his bosom — is to die

("As she concluding the last stanza, to which an interruption in her voice from sorrow gave peculiar softness, the appearance of Mr. Thornhill's equipage at a distance alarmed us all [...]").

Разумеется, русский перевод далек от подлинника и претендует, пожалуй, лишь на передачу общего настроения. Остается не известным, принадлежит ли этот перевод Страхову или кому-либо другому. Точно также, строго говоря, отсутствует убежденность, что в данном случае именно перевод, а не самостоятельное стихотворение, "подобранное" из имеющегося русского репертуара на эту ходовую тему.

Особо должны быть отмечены сопровождающие перевод "Векфилдского священника" пояснения реалий английской жизни. Эти пояснения многочисленны, иногда довольно обширны (к сожалению, во второй части романа они практически отсутствуют, если не считать двух кратких сносок в начале этой части) и весьма разнообразны по своему характеру. Поскольку диапазон тем, объясняемых в этих примечаниях широк и охватывает разные стороны английской жизни, которые предполагаются неизвестными русскому читателю, последовательность этих пояснений, сама образует некий вспомогательный текст, безусловно интересный и практически полезный читателю. Любопытно, что в ряде случаев пояснения предполагают сравнение с русской ситуацией — в явном виде ("так же, как и в России"), через указание соответствий

("Три мили Аглинских составляют одну Французскую, а наших пять верст") или коренных различий с нею. И пояснения этого типа и иные, будучи включены в текст русского перевода английского романа, служили, по сути дела, одной цели — ознакомлению читателя со спецификой английской жизни ("странности"), с особенностями английского менталитета, с явлениями английской духовной культуры (следует помнить, что это время в России "английское" было несравненно хуже известно, чем "французское" или "немецкое", и, более того, оно было окружено атмосферой странности, непонятности, чуждости, так сказать, "трудной переводимости" на язык русских реалий). Все это делает подобные пояснения ценным материалом для изучения процесса знакомства с английской культурой и ее освоения.

Несколько иллюстраций, обозначающих основные типы толкований: ... из коих один назывался Дук, а другой Биль (*) — (*) (ия) имена сокращены, первое из Рихарда, а второе Виллиама. Сии роды сокращения имен весьма обыкновенны у Агличан. Не только дети, но даже лучшие Дамы называются под сокращенными своими именами, а приятели, мужья и жены употребляют оныя в изъявлении дружбы. Также употребляют оныя и для слуг (14).

Больший мой сын Георг, которого назначил я к ученому званию (*), учился в Оксфордском Университете. — (*) Под сим именем в Англии разумеется Богословия [так! — В.Т.], Хриспруденция, Медицина и Музыка. Сии науки составляют четыре Факультета, в коих по разным Университетам получают степени (16).

Женатых людей я увещавал, чтоб были умеренны, а холостых, чтоб женились, так что через несколько лет всё говорили, что в Вакефильде было три чрезвычайности: неспесивой Священник (*), молодые люди, старающиеся жениться, и питейные дома без девок — (*) В Англии всего чаще один Священник бывает настоятелем двух, или трех богатых приходов, из коих в каждом обязан он сказать в год по одной проповеди. Служение же в другие дни, учение детей, увещавание больных и прочия требы возлагает он на своего Викаря, Куратом называемаго, которому он сколько можно менее старается платить, а тот с своей стороны сколько можно старается делать. Гордость настоятелей столько же несносна, как и бедность подчиненных им чрезвычайна. (17).

После обеда, не допуская Дамам выйти (*), я приказывал принять стол [...] — (*) Сие имеет отношение к Аглинскому обыкновению: по окончании стола сняв скатерть, ставят на стол бутылки и стаканы. В сие время женщины обыкновенно разходятся по своим покоям, а мужчины остаются для переговоров. (20).

[...] а как сия пирушка редко случалась, то сие было для нас днями веселия, и должно было смотреть на церемонии и важной вид, с каковыми к оному производились (*) — (*) Почти во всех домах, даже и в небогатых, в Англии пьют чай по два раза днем, поутру и после обеда. Но послеобеденной чай гораздо важнее; ибо пить его ходят друг к другу. Кто не знает сего обряда, тому очень странно покажется видеть, сколько при сем должно наблюдать правил и показывать приятностей той Даме, которая сие исполняет, и тем кои пьют его. Сие небольшое угощение не только подает случай оказывать приятности и хорошее воспитание, но служит равно и к показанию остроты своего разума. Тут-то идут разговоры самонужнейшие о новых модах, о фарфоровой посуде, о новейших приключениях. — Жаль, что выводится сие обыкновение у Русских, и хозяйки сами за стыд считают наливать чай, а препоручается должность сия запачканной служанке или неопрятному слуге. (45).

[...] но вообще он [Борхель = Берчелл. — В.Т.] любил обходиться с молодыми детьми, коих он имел привычку называть *невинными созданиями*. Он известен был выписыванием для них романов (*) и рассказыванием историй [...] — (*) Англичане называют сии романы Балладами. Оных содержание состоит в жалких приключениях, в стихах, смешанных с разсуждениями и заключавших какое либо нравоучение: оные поют и по улицам ходя. Вся почти трагическая истории предложены в Баллады. Некоторые из оных весьма хорошо сочинены. Г. Адисон в Спектаторе великую похвалу делает о двух мальчиках в лесу. Баллада Георга Барневельта по содержанию своему подала случай Г. Лилоо сочинить довольно известную мещанскую трагедию такогуж названия. Англичане, не смотря на худой свой голос и малыя дарования в музыке, великие охотники петь (53-54).

(*) С. Дунстан есть церковь, находящаяся в Лондоне в улице, называемой Флейт-Стеет [так! — В.Т.], в оной живут непотребныя женщины. (61).

(*) Тоаст есть питье за здоровье (62).

(*) Те, кои читали Томаса Ионеса и Робинсона Круза, легко могут дознаться, что автор чрез Оливию хотел только осмечь сии книги. (67).

К катедра (*) — (*) В Англинских церквах бывають две катедры, одна над другой находящаяся: в нижней из оных читають утренния и вечерняя молитвы; а которая на верьху, на той проповедуют. (94).

[...] а его аиль (*) имел прекрасной вкус. — (*) Род полпива, превосходящего обыкновенное Англинское пиво. (96).

Он заставил моих детей играть в жмурки (***) — (***) В Англии, так как и в России, во время святков веселятся различными играми. (96).

Ганновер Скваре (*) — (*) Так называется одно прекрасное публичное в Лондоне место. (100).

(*) Фунт стерлингов содержит в себе дватцать шиллингов, а гвинея 21 шиллинг. (102).

[...] я очень уверена, что вы знаете, сколько должно зерен (*), дабы составить из оных унцию. — (*) Сия насмешка беднее еще первой; ибо она не имея ничего материального, не может иметь и зерен. Госпожа Примроза дабы насмеяться над своим гостем, хочет ему чрез оную сказать, что хотя он и дает знать своим ответом, что первая ея насмешка очень мягка и не несозна, то знает ли он сколько зерен (сколь бы он™ легки не были) составляют одну унцию. Сия насмешка столь взята издалека, что она даже странна; но автор в самом деле старается представить странную Госпожу Примрозу, дабы описать то, что следует в продолжении сего разговора (135-136).

(*) В Англии, как известно, срамливают двух дерущихся на кулачки, вместо того, чтоб разнимать, — Около сих дерущихся ставят рядом маленьких мальчиков, дабы чрез сие сделались они смелее, но таковой обычай имеется только между подлым народом. (143).

(*) Аглинские священники носят такое же длинное платье, какое Профессоры училищ (146).

(*) В Англии в деревнях все почти откупщики сами варят для себя пиво (157).

(*) Ренелаг есть великолепная галерея, находящаяся близ Лондона; в оную ходят в прекрасное годовое время пить чай, и увеселяются слушанием песней и симфоний, а за вход платит каждый человек по червонцу (161).

(**) Как Агличане не первые в свете философы, так и Агличанки не последняя кокетки. Он™ более всего носят разноцветныя стекла в своих серьгах, перлах, на башмачных пряжках и пр. Сии кусочки стекл и позументов составляют главное уборов их украшение. (161).

(*) Сие, как видно, есть сатира против Аглинских песен (162). К древняя Англия — (**) Сие наименование древняя происходит от привязанности и любви Агличан к своему отечеству; оно название ими употребляется, когда они говорят о превосходстве своего государства пред прочими. Причиною сего слова есть не в самом деле древность, но повод говорить оно подает более новая Англия в Америке. (162-163).

[...] и кто нынешние Дридены и Отваи? (*) — (*) Два почитаемые драматические автора (175).

Ныне представляются только Флеткерovy, Бен-Ионсоновы и Шакеспировы (***) — (***) Выше упомянутые авторы жили в 16 веке, а сии в 17 (175).

(*) На Лондонском театре по окончании больших пьес всегда почти представляют пантомимы; и понеже в Англии подлый народ гораздо более ходит в спектакли, нежели в ином каком либо государстве: то безотменно нужны такого рода представления для увеселения зрителей такого рода, как они; для сего такая пантоминная [так! — *В.Т.*] представления всегда имеют содержание какого-либо волшебства, представляемого в Италиянском вкусе [...] (176-177).

[...] читал ли я последний Монитор (*) — (*) Так называется одно из политических периодическое издание (180).

[...] читали Одитор (*) — (*) Название другого издания такого рода (181).

[...] я читаю все политические издания: Даили, Ведомости, Ледгер, Кроникл, Лондон-Евенинг, Витегаль-Евенинг, девятнадцать магазинов и два Ревю (***) — (***) Все сии имена суть титулы публичных изданий, выходящих в Лондоне всякой день, и журналов, издающихся всякой месяц. Между множество глупых безделок, ложных новостей, часто повторяемых и за новость выдаваемых [так! — *В.Т.*] историй, коими они исполнены, находятя иногда разумнейшия, политическия, ученяя, моральныя, или забавныя и утонченныя рассуждения. (181).

[...] людей, называемых Левлерс (*) — (*) В Англии так называлось прежде бывшее общество (183).

(*) В Англии люди духовного чина могут присутствовать при театральных представлениях (194).

[...] в Невгате (*) — (*) Так называется одна в Лондоне большая тюрьма (5, ч. II).

(*) Грубстреет есть одна из беднейших улиц Лондона, в коей квартиры и заезжие вольные дома против прочих дешевле, почему и думают, что всь бедные писатели в этой живут (7).

К друг человечества — (*) Такие имена обыкновенно берут на себя те политики, кои помешают письма свои в публичных бумагах (12-13) — и т.п.

Не касаясь других интересных деталей, можно с уверенностью утверждать, что первый русский перевод романа Голдсмита — любопытная и важная страница ранних связей английской и русской литературы и одновременно интересный эпизод "использования" этого романа русскими просветителями новиковского круга.¹

* Смотри L'an deux mille quatre cent quarant.

** В Англии, также как и в России, а особливо в деревнях, экономные люди наливают вином разные плоды, как-то смородину, вишни, землянику, сливы и пр.

Приложение IV.

О судьбе "Edwin and Angelina" ("The Hermit") Голдсмита в России.

Как уже было сказано выше, именно этой балладе Голдсмита суждено было стать первым (наряду с двумя другими) поэтическим текстом английского писателя, переведенным на русский язык и ставшим, бесспорно, самым популярным его произведением в России в десятилетие 1809-1818 гг. Баллада Голдсмита — ее содержание, общий колорит, настроение, стиль — хорошо соответствовала вкусам складывавшегося с рубежа XVIII-XIX вв. русского преромантизма. Сюжетные ходы баллады и сами имена ее действующих лиц (или соответствующие модели имен: он — *-ин*, она — *-ина*) в разных комбинациях вскоре стали достоянием моды, отзвуки которой обнаруживаются в течение довольно продолжительного времени, правда, обычно в поэтических опытах эпигонов. Есть основания говорить о том, что в русской поэзии, главным образом, благодаря переводу Жуковского ("Пустынный"), на основе этой баллады складывается определенный шаблон текста о "пустыннике" (мрачный колорит) и неожиданной встрече (узнавании) в финале, за которой следует трагически-счастливая развязка (соединение в смерти):

Забудь о прошлом; нет разлуки;
Сам бог вещает нам:
Все в жизни, радости и муки,
Отныне пополам.

Ах! будь и самый час кончины
Для двух сердец один:
Да с милой жизнью Мальвины
Угаснет и Эдвин.

Учитывая роль этого поэтического эдвиновского" комплекса в русской поэзии, уместно привести ранние опыты переводов этой баллады на русский язык — тем более, что они малодоступны и практически неизвестны (разумеется, сюда не относится текст "Пустынника" в переводе Жуковского, в силу этих обстоятельств здесь не приводимый).

Прозаический перевод баллады Голдсмита взят из "Векфилдского священника" в переводе Н.И. Страхова (1786 г., 71-77).

Баллад.

Внемли гласу моему, сея страны пустынный! яви мне стезю в то безмолвное место, откуда сверкает луч, рассекающий темноту сея долины и освещающий оное пристанище.

Я заблуждаюсь без помощи, отвсюду в опасности: несчастный путь истощил мои силы; чем более устремляюсь сократить оный, и чем ближе подойти хочу, то осыпается подо мною песок и расстояние новые полагает преграды.

Не ходи, любезное чадо, рек пустынный, в мрачные сии пределы; се лучь огня древесна, и что мнишь ты быть пристанищем, едина гибель там.

Отверсты двери мои странным и убогим, не скрыты яствия для алчущих и сирых.

Пребудь здесь ночь сию, разполагай всем, что имею в хижине моей, раздели со мною богатство мое, спокойствие и жесткий одр.

Из стад, пасущихся в долине сей, я не убиваю агнцов; предвечное Бытие, соболезнуя о мне научает и к ним являть сострадание.

С плодоносных гор достаю я себе невинную пищу; трава и плоды меня насыщают, а ручей, близь сюда журчащий, утоляет мою жажду.

Останься прохожий здесь; естли съедает тебя печаль, то получишь исцеление; на суетном свете сем не долго человек и в малом имеет нужду.

Пустынный глас был сладок, яко с неба низпадающая роса; путешествующий возблагодарив, следовал за ним в хижину.

В отдаленном кустарнике было простое жилище пустынного; оно служило убежищем сирым и заблудившимся странникам.

Под соломенную крышкою жилища сего не находилось запасенной пищи, требующей бережения хозяйского; двери, заперты будучи простою защелкою, при легком ударе растворились.

Единое безмолвие всюду царствовало, все было тихо, и ночь протекала яко время, уделяемое смертным на сон, или на особыя приятности. Пустынный разкладывает небольшой огонек, и тщится разгнать мрачное глубокомыслие своего гостя.

Находящаяся близь его кошка, обрадуясь своему хозяину, ходит и трется около его; сверчок поет за печкою, связка дров трещит в огне, одну изтребляющем.

Ничто не извлекало обладающей печали из странникова смущенного духа; чело его являло нечто снедающее его спокойствие, и очи его, от унылости утомленные, излили слезы, сопровождаемые вырывающимися из взывающей груди вздохами.

Пустынник сим тронулся. Несчастной! рек он, яви мне печаль твою. Какой источник зла втек в сердце твое? Какой яд действует в душе твоей, и что погребает тебя жива?

Богатство ли, случаем изхищенное, дружба ли, неблагодарностию, и любовь, презрением заплаченной, тебя метут?

О сыне мой! познай тщету и скоротечность удовольствий, протекающих из богатства, достойны истинно презрения чужие и боготворящие тленность.

А дружба что? Пустое имя, усыпляющая приятность, тень чести и богатств, союз в щастии, в несчастии свидетельница беспомощная, мечта сердца, дочь самолюбия, умовоображение выдуманное и подерживаемое чувствованием.

Любовь... Нет, истинная любовь не обитает на земли, приятное и постоянное чувствование чуждо смертным сердцам грубым и преме не утех поработанным. А кто и исполнен бывает ее, тот есть раб гордой красоты, раб, испытывающий обманчивость в надежниях вкушения приятств и удручаемый насмешками и презрениями.

Престань мечтать о несчастии. Щастие в нас существует при великости духа. Бодрствуй, коль погружен был во сне, являющем богатство. Не предавайся существованному злу, потеряв мечтаемая блага; забудь о дружбе, презри любовь.

Лице странниково при сих словах явило на себе устыжение. Множество красот представилось зрению наставника. Глаза, уста, трепещущая грудь его попеременно смущали пустынноково сердце. Совершенная красота открыла пол мнимаго странника.

Увы! прости! тогда она вскричала, прости, что злошастная, всеми оставленная, дерзнула войти в обиталище, в коем небо и мудрость водворили покой, коим ни я, ниже подобныя мне в несчастии, естли таковыя только существуют, не могут наслаждаться.

Но сжался над лишенною несчастием спокойной доли, над ослепленною любовию, заблудившеюся как сердцем в пути к спокойству, так стопами для обретения безмолвнаго пристанища, гдеб провести могла остатки малых дней моих, отчаянием похищаемых и на жертву алчности его еще остающихся.

Давший мне день жил при брегах Тины. Великое богатство перешло наследием в его обладание: я была единым плодом супружеской его горячности, и единою наследницею всего его имущества.

Множество нашлось сердец, пораженных моею красотою, а может быть моим богатством. Любовники превозносили прелести мои, меня любили, или казались любящими.

Каждое утро многочисленная и разпешренная нарядами оных толпа предстояла предо мною для принятия из уст моих повелений и для поднесения мне набогатейших даров. Меж оными находился молодой Эдвин; он меня любил, но никогда не говорил мне о любви своей.

Участь, не наградившая достоинства его богатством и знатностию, совершенно явила свою несправедливость: одяние его было просто, сердце постоянное составляло все его сокровище; и сим-то сердцем совершенно я обладала! Разцветающий цветок от первого луча возходящего солнца, роса с неба низпадающая, не могут быть подобны чистоте непорочной души его.

Цветы, являя свои приятности, скоро изменяются, но он был всегда прекрасен, и, увы злошастная! я сделалась причиною увядшей его красоты.

Надменна будучи и горда, искала я прелестьми моими нарушить его покой; сердце мое трогалось его любовию, сия страсть удовлетворялась ощущаемою им от меня мукою.

Презрен и осмеян будучи мною, он оставил свет и скрылся в леса, в коих кроме отчаяния, ничего не ощущая, от неблагодарности моей он окончил несносные дни свои.

Теперь раскаяние изготовляло мне несносные мучения, и единый последний вздох унести с собою может из сердца моего лютое воспоминание неблагодарности моей: я скитаюсь для снискания плачевного его жилища и места, где непогребенный прах несчастного развевается.

Тогда повергшись пред ним отчаянна, удаленна от очей всего света, гнусна самой себе и людям, истаю от отчаяния, и кровию своею отмстив себе, орошу прах его, сказав в последний раз: *Эдвин! ты мною жизнь скончал; зри, как я себе за то отмщеваю.*

Нет! Ангелика не умрет, прах Эдвина не будет орошен кровию ея, рек восхитившийся вне себя пустынный, отвергаемый красавицею, готовившеюся удручить его упреками. Но державший ее в объятиях был Эдвин.

Воззри на меня Ангелика! всегда и везде ты мне любезна; посмотри на меня, сокровище жизни моей, душа счастья моего; твой Эдвин, толь давно от тебя отлученный, тебя любит, и вот в объятиях твоих!

Не останавливай моих восхищений, забудь в лобзаниях все горести; да не разлучимся мы никогда, о ты, сокровище моей жизни!

Не разлучимся, да будут сердца наши едины, едины души; един вздох да кончит сладкую жизнь.

Разумеется, этот перевод трудно признать удовлетворительным. Он предельно удален от легкой ("быстрой"), очень динамичной и экономной манеры голдсмитовской баллады. Это противоречие стилистики оригинала (и даже французского его перевода) и русского текста может дать повод говорить об известной "глухоте" Страхова к поэтической сфере, в частности, к стихам (и внушить сомнение в том, что именно он перевел "Песнь" в "Векфилдском священнике" — *When lovely woman stoops to folly...*). Русский перевод "Баллад" написан очень тяжелым, нарочито архаизированным языком, с большим количеством церковнославянизмов, буквализмом и другими характерными признаками "непереработанности" текста. Можно, конечно, думать об известной небрежности, проявляющейся нередко и в переводе прозаической части романа (причем в самых элементарных случаях, ср.: Как она окончила сей песни конец... Ч.2, 68 и т.п.). Но целиком ею объяснять общий стиль перевода "Баллады" едва ли верно. Скорее причину следует видеть в известном консерватизме литературных вкусов Страхова: "преромантические" веяния были ему чужды или, вернее, не были ему известны (можно напомнить, что карамзинская "Поэзия" была написана в 1787 г., а "Осень" в 1789 г., т.е. после выхода в свет перевода голдсмитовского романа). Как литературный старовер, Страхов, видимо, исповедовал теорию "трех стилей" и сознательно выбрал для поэтического текста "торжественный", возвышенный стиль. Если это так, то им была совершена несомненная ошибка в оценке жанрово-стилистических особенностей баллады (что, впрочем, отчасти извинительно, учитывая новизну этого жанра в русской литературе, который, строго говоря, привился лишь благодаря опытам Жуковского). Во всяком случае перевод "Баллады" нужно отнести к наиболее неудачным местам русского текста.

Следующий по времени перевод этой баллады из романа Голдсмита (собственно говоря, она была напечатана первоначально отдельно, в 1765 г., т.е. за год до выхода в свет романа, в который она была введена), сделанный П. Политковским, выглядит совсем иначе: во всем он как бы отталкивается от перевода Страхова. Восстановлено оригинальное название баллады, она переведена с английского и при том стихами, "эквивалентность" которых английским стихам подлинника для начала XIX века должна быть признана удовлетворительной. Переводчик сохраняет строфику оригинала и относительно верно передает стилистическую тональность английской баллады. В этом отношении перевод Политковского, опубликованный в издаваемом А. Измайловым и А. Бенитцким "Цветнике" (ч. I, СПб., 1809, №1, 49-58), не только несравненно удачнее страховского прозаического перевода, но

и независимо от него должен быть признан довольно удачным для своего времени. Во всяком случае он достаточно гладок, легок, и соответствует средне-хорошему уровню оригинальной русской поэзии первого десятилетия XIX века.

Эдвин и Ангелина. Баллада. Из сочинений Гольдсмита

"Остановись, пустынный мирный,
 "И проводи туда меня,
 Где освещает мрак долины
 "Гостеприимный луч огня".

"Я бедный сирота, блуждаю
 "И дале не могу идти:
 "Томлюся и везде встречаю
 "Препятства новы на пути". —

"Мой сын!" — пустынный отвечает: —
 "Брегись идти к долине той;
 "Там злобный призрак обитает
 "И путникам грозит бедой".

"Вот хижина моя убого:
 "Она открыта бедным всем;
 "Хотя имею я не много,
 "Но чем богат — и рад я тем".

"Пребуди, юноша, со мною;
 "Я в хижине моей с тобой
 "Последней поделюсь крохою
 "И жесткий одр мой будет твой".

"Моя рука овец не губит
 "Пасущихся в долинах сих:
 "Как мой меня Создатель любит,
 "Так тварей я люблю других".

"С долин и гор я собираю
 "Плоды на мой обед простой,
 "В час знойный жажду утоляю
 "Холодной ключевой водой".

"Останься! не заботься боле
"О светских суетах; для нас
"Немного нужно в сей юдоле —
"И то лишь на короткий час!"

Росе подобно жизнедарной
 Пустынников глас сладок был,
И скромной путник благодарной
 За ним к жилищу поспешил.

В глухой долине безмятежной
 Стояло посреди кустов
Сие убежище надежно
 Убогих, сырых пришлецов.

Под кровлю его смиренной
 Не видно было никакой
Обильно пищи запасенной,
 Знак беззаботности златой.

Задвижку вынувши простую
 Пустынник двери отворил
И в темну хижину пустую
 С печальным странником вступил.

Спокойство всюду обитало;
 Среди глубокой тишины
Ночь мрачна тихо протекала
 И с ней приятны сны.

Хозяин хижины поспешно
 Огонь из дров сухих развел,
И вида гостя безутешна,
 Утешить ласками хотел.

Сидя перед огнем он разны
 Пришельцу были повторял
И скучные минуты празны
 Своей беседой сокращал.

Игривый кот, вскоча с постели,

Мурлыча терся возле ног,
 Дрова, треща в огне горели;
 Свистал за печкою сверчок.

Но для пришельца все напрасно:
 Он скорбь сердечну ощущал,
 Томился, мучился ужасно
 И тихо плакать начинал.

Пустынник слезы примечает
 И, тронутый его тоской,
 "О бедный странник!" — вопрошает: —
 "Что нарушает твой покой?"

"Богатства ли тебя лишили —
 "Любовь ли — иль не верный друг
 "Тебе, несчастный изменили?
 "Они ли твой смущают дух?"

"Увы! что значит счастье мира?
 "Ничто как преходяща тень!
 "И тот, кто чтит сего кумира,
 "Тот паче должен быть презрен".

"А дружба? — ах, кто ею льстится,
 "Как жалок в слепоте своей"
 "Будь счастлив — тьма друзей явится,
 "Несчастлив будь — и нет друзей!"

"Любовь? — она не обитает
 "Меж грубых, ветренных людей;
 "Она лишь только согревает
 "Жилища горлиц, голубей".

"О юноша! забудь печали,
 "Забудь презренную любовь!" —
 При сих словах лица цвет альый
 Был гостю изменить готов.

Пустынник видит изумленный
 Раждающиеся тьмы красот,

Какими, утром изпещренный,
Блестит чистый неба свод.

Трепещущая грудь и взоры,
И все лица его черты,
Из странника явили вскоре —
Девицу в цвете красоты.

"Прости!" — тогда она вещает: —
"Что я осмелилась придти
"В сии места, где обитает
"Небесна благодать и ты".

"Но, ах, смягчись над сиротою,
"Которую любовь томит,
"Которая, искав покою,
"Отчаянье повсюду зрит".

"Отец мой жил на бреге *Тина*,
"Богатством он не знал числа::
"И всех сокровищ я едина
"По нем наследницей была".

"Чтоб получить мое богатство
"Искали все руки моей:
"Хвалили красоту, приятство —
"Или ласкали только ей".

"Один перед другим всечасно
"Меня дарами осыпал: —
"Меж ними и Эдвин был страстный,
"Но о любви своей молчал".

"Одет в простое одеянье,
"Он не был славен и богат:
"Ум, честность — все его стяженье.
"Вот кем могла я обладать".

"Но столько утром цвет прекрасен
"Кропимый светлою росой,
"Как чист его был пламень, ясен —

"Как он прелестен был душой".

"Цветы красуются порою,
 "Но он всегда красой блистал —
 "И я, увя, была виною,
 "Что рано так Эдвин увял!"

"Надменна будучи, искала
 "Спокойство у него отнять;
 "Отняв покой, торжествовала:
 "А он не престаивал страдать".

"Доколь осмеянный, презренный,
 "Нося в груди своей печаль,
 "В места сокрылся отдаленны,
 "И там безвестно жизнь скончал".

"Теперь в мучениях жестоких
 "Хочу себе за то отмстить,
 "Ищу тех мрачных мест далеких,
 "И там паду, где он лежит".

"Кляня во всем себя едину,
 "Гонимая судьбою злой;
 "Пожертвую собой Эдвину,
 "Как он мне жертвовал собой!" —

"Храни, о Небо!" — восклицает
 Пустынник, пад к ея ногам; —
 Упрек в глазах ея сверкает, —
 Но то пред ней... Эдвин был сам.

"Взгляни, прелестна Ангелина,
 "Отрада, счастье дней моих!
 "Взгляни на нежного Эдвина —
 "Се он теперь у ног твоих!"

"Позволь, да в радости сердечной
 "Забудем скорбь прошедших дней...
 "Так! мы не разлучимся вечно
 "С тобой, душа души моей!"

"Не разлучимся — и отныне
 "Сердца свой соединим:
 "Да вздох последний Ангелины
 "Последним будет и моим!"

П. Политковский.

В 1813 г. появляется новый перевод этой баллады, принадлежащий перу Жуковского (предположительно он был написан в июне 1812 г.). Этот перевод в свое время был большим событием, и в нем видели образец баллады, балладу *par excellence*, породившую определенную моду на баллады именно такого типа. Для того, чтобы лучше уяснить ситуацию, нужно вспомнить, что "Пустынный" — одна из ранних баллад Жуковского. Предшествовавшие ей баллады воплощали существенно иной тип — "Людмила" (1808) и "Светлана" (1808-1812, опубл. — ВЕ 1813, янв., 67) понимались как "русские" баллады; сильный "этнографизм" (особенно в "Светлане") обеспечивал им особое положение и восприятие их как "своего", укорененного в традиции (характерно в "Людмиле" и русское имя героини, и перенесение действия "близ Наревы", и устранение отчетливо "западных" деталей; об этом, в частности, писал Н.И. Гнедич: "Выпущкая в Бюргере картины [...] странные и несообразные с вероятием нашего народа и заменяя их своими, певец *Людмилы* [...] и т.п., см. Сын Отечества 1816, ч. 31, No. 27,3). "Кассандра" (а1809) отчетливо выделялась своей античной тематикой и не была достаточно романтична. "Адельстан" и "Ивиковы журавли", хотя и вышли в том же 1813 г., что и "Пустынный", были написаны годом (приблизительно) позже его. Поэтому нет оснований удивляться, что именно "Пустынный" привлек к себе внимание читателей как одна из первых (если не первая) таинственная, романтическая баллада "средневеково-западноевропейского типа". Она быстро стала модной в одном круге и вызвала недоброжелательную реакцию в другом. Но уже в течение ближайшего десятилетия значение этой баллады было оценено вполне — появились подражания ей, варьировались отдельные мотивы и образы, Маурер положил ее на музыку, Бауринг включил балладу в свои "Specimens of the Russian Poets" (London, 1821).

Перевод Жуковского, несомненно, превосходил предыдущие опыты как большей верностью тексту оригинала, так и — особенно — верностью его духу. Известно, впрочем, что к предельной близости к английскому тексту Жуковский не стремился (во всяком случае — "во что бы то ни стало"). Он изменил имя героини (Мальвина), смягчил "язык страсти", несколько затушевывал отдельные детали, казавшиеся, видимо, слишком смелыми. Выше уже указывалось, что 30-ая строфа

баллады появилась лишь в 2-ом издании романа в 1801 г., которым, очевидно, и пользовался Жуковский. Впрочем, помимо, так сказать, необходимых и "принципиальных" отступлений от английского текста, Жуковский в этом переводе не ставил перед собой цели предельно точно передавать содержание, если не каждого стиха, то каждой строфы. В ряде случаев он довольствовался относительно приблизительным варьированием на тему данного фрагмента. Несомненно, что многие из более поздних переводов, сделанных Жуковским, точнее, "дословнее", но нельзя забывать, что в начале 10-ых годов представление о точности при переводе было существенно иным, во-первых, и что, во-вторых, для этого времени "Пустынный" являлся и образцом точности среди стихотворных переводов.

Популярность этой баллады в переводе Жуковского и роль самого перевода, пожалуй, достаточно рельефно отражены на эпигонском уровне. В данном случае представление о нем лучше всего можно составить по переложению-пересказу "Пустынного", принадлежащему перу Волкова и озаглавленному "Едвин" ("Вестник Европы" 1818 май, г. ХСІХ, №9, 91-94; "Едвин" — не единственная публикация Волкова в этом журнале: в том же году, в части ХСVІІІ, 178-179, под его именем напечатана басня "Старой Кот и молодой Мышонок"). В этом переложении баллады характерной особенностью нужно считать обнаружившуюся тенденцию к превращению баллады в своего рода "предроманс" (пока еще далекий от "жесточкого романа" более позднего времени). Разумеется, эта тенденция лишь намечена, но именно эти ранние наметки будущих новых жанровых форм, объясняемых, в частности, и переменой основного модуса существования (чтение —> декламация, пение под музыку), и переменой социального круга потребителей ("опускание", демократизация, профанизация), представляют особый интерес при выяснении их генезиса (в этой связи поучительно использование штампов, контаминаций, "ложной" эмфатизации и т.п.). Под этим углом зрения текст Волкова (показательно, что "Едвин" лишен какой-либо жанровой характеристики), несомненно, заслуживает внимания.

Едвин

Едвин, обманутый надеждою прелестной
 Мальвине вечно милым быть,
 Оставил дом, родных, и в стороне безвестной
 Пошел печаль свою сокрыть.
 Уединенных мест край тихий, безмятежный,

Пришельца сираго под сень свою приял.
 Едвин, тоскою изнуренный,
 В природе горестям забвения искал. —
 И бродит он в лесах дремучих
 И рано поутру, и позднею порой;
 То видел на горах, то среди песков сыпучих,
 Без цели, медленно влекущийся стопой;
 То на берегу крутом, под тенью древ ветвистых
 Простертый на траве, реки внимает шум,
 И взором следует за склоном вод струистых,
 Но сердце, полное печали, горьких дум,
 Как в урне гробовой, Природе не внимает!
 Напрасно злая долина разцветает,
 Разливши аромат,
 И соловей поет в тиши уединенной
 И блеском радужным прелестно озаренной
 Сияет перед ним закат: —
 Все мертво для него! Блаженство дней протекших
 Воспоминание невольное о той,
 Кто радостью была, но злобною судьбой,
 Теперь виновница и слез и мук лютейших —
 Все к родине влечет! Где юность разцвела,
 Там гроб — приют для нас священный!
 "Нет, нет!" сказал Едвин, печалью отягченный:
 "Пойду на родину; она душе мила!
 Где — в первый раз узнал любовь и наслажденья,
 Где встретил милую, и ею счастлив был,
 Где я блаженствовал, любил,
 Пусть будет место то свидетелем мученья!
 Там дышет слаще ветерок,
 И небо для меня яснее,
 И роши и луга милее,
 И шепчет радостью знакомый ручеек!"
 Пришел — и чтож ему пристало?
 Надгробный памятник... Мальвины больше нет!
 Без жалоб и без слез, лишь сердце трепетало,
 Едвин свой посох тут кладет. —
 "Мальвина!" он сказал: "в местах, где ты, блаженных,
 Где скорби нет, ни суеты,
 Где все отвержены обманчивы мечты,
 Ужель не вспомнишь ты, мой друг, о днях безценных,

Приложение V.

Ранняя рецепция комедии Голдсмита "Ночь ошибок" в России.

Тема первого знакомства в России с творчеством Голдсмита-драматурга совсем не разработана и практически даже не поставлена. Имеющиеся отдельные упоминания о ней неопределенны, случайны и нередко ошибочны. Самые ранние русские драматические тексты, отражающие знакомство с "Ночью ошибок" Голдсмита или являющиеся переводом, переложением этой пьесы, не упоминают имени автора и настолько радикально "перерабатывают" английские детали комедии, которые могли бы быть надежными диагностическими индексами при атрибуции текста, в "русском" стиле, что следы происхождения и историко-литературных, в частности, и генетических, связей русскоязычного текста почти полностью стираются.

Тем не менее уже сейчас довольно многое может быть сформулировано с достаточной надежностью, но нуждается в доказательствах наглядного характера (именно с этим связано введение ниже относительно обширных сопоставлений русских и английских текстов). Но, может быть, не менее интересно и то, что в этой области остается место и для далекоидущих предположений и даже утверждений, которые, не обладая абсолютной достоверностью или, точнее, не будучи подкреплены "окончательным" доказательством, могут быть отнесены к числу правдоподобных и, более того, весьма вероятных, но, конечно, нуждающихся в дальнейшей разработке. Особенности русской драматической литературы и русского театра, начиная с 60-ых годов XVIII века таковы, что "чужой" материал в русском переводе-переложении (и соответственно — театральной постановке), исходящем из принципа "склонения на русские нравы", о с в а и в а е т с я до такой степени, что почти полностью растворяется в "своем". Принимая это во внимание, можно говорить о том, что сама история усвоения-освоения пьес западно-европейского драматического репертуара проливает свет и на внутреннюю историю русской драматургии и русского театра в последние десятилетия XVIII века.

1. "Ошибки, или Утро вечера мудренее": первый опыт знакомства с драматургией Голдсмита

В 1794 году в Петербурге появилась в свет книга под названием "Ошибки, или Утро вечера мудренее. Комедия в пяти действиях" (на титульном листе под заглавием в качестве эпиграфа приведен диалог

между Lelio и Otazio из Гольдони, см. Teatro comico, atto III, scena IX). в обращении к Екатерине II, предваряющем текст комедии, сказано:

Всемиловейшая Государыня!

Заключая в сердце моем восхитительное воспоминание, что я имел счастье остановить на единое мгновение взоры и внимание ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА переведенною мною комедиею *Школа Злословия*, восприял я извинительную смелость испытать некоторым образом собственные силы мои в драматическом поприще. Всемиловейшее одобрение ВАШЕ служило мне вместо дарований, и я полагаю с некоторою вероятностию, что подкреплен гласом просвещеннейшаго судии, я соединю в пользу свою всё одобрения общества.

Неописанно будет счастье мое, ежели АВГУСТЕЙШАЯ МОНАРХИНЯ благоволит удостоить слабое покушение мое снисходительным воззрением, которое есть верх награждения для каждого Россиянина

С глубочайшим благоговением есмь
ВСЕМИЛОВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!
Вашего Императорскаго Величества
 верноподданнейший
Иван Муравьев

Упоминаемый выше перевод "Школы злословия", сделанный, видимо, в 1791 г., сыграл значительную роль в судьбе Ивана Матвеевича Муравьева, двоюродного брата Михаила Никитича Муравьева и отца будущих декабристов. Комедия, представляющая собой перевод пьесы Шеридана "The School of Scandal", была впервые поставлена на сцене Эрмитажного театра 27 февраля 1793 г. На представлении присутствовала императрица. Пьеса пользовалась успехом, обошла многие сцены и держалась в репертуаре довольно долгое время. В представлении участвовали Дмитриевский (Досажаев), Сандунова (Досажаева), Крутицкий (Здравосудов), Петров (Лукавин), Рахманов (Беспечин), Шумской (Мойсей) и др. Позже в этой комедии выступали Плавильщиков, Сосницкий, Щепкин, Воробьева и др. (см. В.Н. Всеволодский-Гернгросс. Библиографический и Хронологический указатель материалов по истории театра в России в XVII-XVIII вв. — "Сборник историко-театральной секции". Т. 1. Пг., 1918, 69). В 1794 г. перевод "Школы злословия" был опубликован (вместе с переводом "Евгении" Бомарше). Возможно, что особое внимание, которое было уделено пьесе и свыше и публикой, отчасти объяснялось распространенным (и, строго говоря,

не опровергнутым до сих пор) мнением, что в переводе принимал участие великий князь Александр Павлович. Во всяком случае нужно помнить, что с 1792 г. И.М. Муравьев-Апостол был наставником ("кавалером") при великих князьях Александре и Константине. Учитывая эти его обязанности, рано проявившиеся литературные вкусы, в частности, его интерес именно к английской литературе, который он, видимо, передал и своим детям ("Из всех писателей, которых я читал в своей жизни, больше всего благодарности я питаю, бесспорно, к Стерну. Я себя чувствовал более склонным к добру каждый раз, что оставлял его. Он меня сопровождал всюду. В первый раз я читал его в 1815 году, когда полк шел в Вильно. Он понял значение чувства, и это было в век, когда чувство поднималось на смех", — писал в "Заметках в крепости" Матвей Иванович Муравьев-Апостол, см. *М.И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С.Я. Штрайха*. Птг., 1922, 15), — нельзя исключать, что русский текст "Школы злословия" мог представлять собой обработку перевода, сделанного для упражнения в английском и русском Александром.

Успех пьесы вдохновил И.М. Муравьева-Апостола на новый труд в этой же области. В 1794 г. выходит комедия "Ошибки, или Утро вечера мудренее" (см. "Санктпетербургские Ведомости", 1794, 22 декабря, No. 102, с. 2317; *И.М. Полонская. К биографии И.А. Крылова /библиографические и архивные изыскания/*. — "Труды Государственной Библиотеки". М., 1958, 93: хронологический список книг, вышедших из типографии В.А. Плавильщикова в 1794-1796 гг.), которая первый раз была представлена 15 декабря 1794г. (см. *В.Н. Всеволодский-Гернгросс. Указ. соч.*, 44) или, как указывают другие источники, 20 сентября 1795 г. в "Деревянном театре" (там же пьеса была исполнена еще три раза — 17 декабря 1795 г., 17 января и 1 сентября 1796 г., см. Архив Дирекции Императорских Театров, Вып. 1. СПб., 1892, отд. III, 166; *И.А. Кубасов. Драматические опыты И.М. Муравьева-Апостола*. — ИОРЯС, т. VIII, 1904, кн. 4, 11 и др.). В спектакле были заняты Крутицкий (Старомыслов), Иванова (Старомыслова), Каратыгина (Софья), Суслов (Степан), Кротова (Паша), Гомбуров (Смиренин старший), Камышков (Смиренин молодой), Петров (Милонов), Крутицкая (Служанка), Рахманов (Пахом). Позже, в "Воспоминаниях детства", написанных в 1869 г., сын И.М. Муравьева-Апостола Матвей Иванович говорит (с неточностями) об этом времени следующее: "1793 года отец мой написал Русскую комедию "Ошибки" или "Утро вечера мудренее". Комедия имела некоторый успех, и в 1814 году, когда гвардия возвращалась из заграничных походов, она представлялась в Петербурге. В 1793 году, служба в Измайловском полку, отец получает пригласитель-

ный билет в Эрмитажный театр. Государыня подзывает отца и благодарит за удовольствие, которое его комедия доставила ей. Государыня назначила отца моего кавалером при двух ее старших внуках" (см. *М.И. Муравьев-Апостол. Указ. соч.*, 18). Помимо путаницы в очередности событий, мемуарист ошибается, считая, что благодарность Государыни относилась к "Ошибкам...". На самом деле, речь здесь идет о реакции Екатерины II на "Школу злословия". Хуже, что ошибки подобного рода нередки в ученых трудах. Так, даже у В.Н. Всеволодского-Гернгросса (*Указ. соч.*, 44) "Ошибки, или Утро вечера мудренее" определяется как "комедия в 5 действиях, взята с немецкого соч. Школы Злословия И. Муравьева-Апостола" (ср. также пьесу "Ошибки /ночные/", немецкая комедия, представленная 14 октября 1790 г. в СПб.); И.А. Кубасов (*Указ. соч.*, 2) указывает, что пьеса Шеридана была переведена с немецкого и т.п. Вместе с тем писавшие о комедии "Ошибки..." называют ее "оригинальной" пьесой (И.А. Кубасов), "Русской комедией" (М.И. Муравьев-Апостол) и т.п.

И хотя сейчас не приходится сомневаться, что пьеса главным своим источником имеет комедию Голдсмита "She Stoops to Conquer: or, the mistakes of a night" (ср. уже в заглавии: "Ошибки... вечера..." при "the mistakes of a night"), неясности остаются, и они целиком объясняются тем, что было сделано И.М. Муравьевым-Апостолом на основе, предлагаемой комедией Голдсмита (написана в 1771 г., впервые поставлена на сцене 15 марта 1773 г.). Но прежде чем перейти к этому вопросу, уместно подчеркнуть роль Муравьева-Апостола в 90-ые годы как знатока и отчасти пропагандиста (иногда, может быть, и не желая того) английской драматургии XVIII в. Пусть это был краткий эпизод в его жизни, и творческие интересы позже были отданы античности и воспоминаниям о ней ("Путешествие по Тавриде"), хотя и не исключительно (ср. "Письма из Москвы в Нижний Новгород" и др.), но в истории русско-английских литературных связей этот эпизод, несомненно, важен (в частности, и потому что Муравьев-Апостол оказался проводником английской литературы в придворном круге) и, к сожалению, недооценен. Между прочим, выясняется, что, по крайней мере, две ветви муравьевского клана могут быть причислены к "англофилам" (не случайно, в отношении некоторых переводов с английского сохраняется /или имела место/ неясность в связи с их принадлежностью М.Н. Муравьеву или И.М. Муравьеву/ - Апостолу/). — Помимо уже указанной литературы о И.М. Муравьеве-Апостоле см. Сочинения К. Батюшкова. Т. II. СПб., 1885, 411-417 (примечания).

Комедия "Ошибки, или Утро вечера мудренее" в переложении И.М. Муравьева-Апостола принадлежит к числу выдающихся образцов того типа "переводов", который получил название "склонения на русские нравы" и в истории русской литературы, особенно — драматургии, был связан прежде всего с именем Владимира Игнатьевича Лукина, скончавшегося в том же 1794 году, когда состоялось первое представление "Ошибок". Лукин был не только удачливым автором-практиком ("Мот, любовь исправленный", "Щепетильник" и др.), но и теоретиком, излагавшим свои взгляды на современную ему драматургию (прежде всего на пьесы Сумарокова) и на то, какой она должна стать, в предисловиях к своим и чужим пьесам и в известном письме Б.Е. Ельчанинову. Предвидя позражения против "переложения" и даже формулируя их как бы от лица мыслимых оппонентов ("Переделывать комедии стыдно для прелагателя, а потому безчестно и для его одноземцов. Лучше-де свои подлинныя делать, или над чем нибудь полезным трудиться". — "Предисловие к "Награжденному постоянству", 114), сам он рискнул стать на путь "прелагателя", сформулировав свое мнение по этому поводу: "Подражать и переделывать — великая разница. Подражать значит брать или характер, или некоторую часть содержания, или нечто весьма малое и определенное и так несколько заимствовать; а переделывать значит нечто включить или исключить, а прочее, то есть главное, оставить и склонять на свои нравы [...]" (115).

Роль Лукина в демократизации драматургии и театра, в освоении западноевропейского театрального репертуара и в нахождении "русского" кода для этих переложений была значительной и — в культурном плане, — несомненно, положительной. Горячая поддержка им в 1765 г. идеи "всемирного театра" в Петербурге, открытого для широких слоев городского населения, свидетельствует о понимании Лукиным той роли, которая предназначалась демократическому театру его репертуару, типам, языку. В этом отношении Лукин был, конечно, дальновиднее своих современников.

Каким представлял себе Лукин нового зрителя нового театра и какие претензии выдвигал этот зритель к существующим пьесам, — об этом можно, в частности, судить по колоритному фрагменту из письма к Ельчанинову:

Я думаю, что не забыл ты своей просьбы, которую нередко убеждал меня к предложению Boutique de Bijoutier на наши нравы, таким образом, чтобы ее, как *драматическое* сочинение, и на театре представлять можно было. ... А как ты не упустил и из Глухова о том ко мне отписать, то я начал самым делом приготовляться к переделанию в комическое сочинение сей *аглинской* сатиры, не

только солью, но и селитрою наполненной. Прочел я ее в один день два раза, и чем больше в нее вникал, тем меньше к удовольствию твоему находил способов. Целый день об ней думая, лег я спать, и наполня ею голову, однако не предприняв ночного к преложению намерения, не утомившись мыслями, заснул и к чрезвычайному и притом неожиданному счастью ее во сне увидел [...]

Вдруг узрел я себя, не знаю каким случаем, в числе зрителей комедии, на всенародном театре представляемой*. Но какой же комедии? Самой той, о которой от тебя довольную вытерпел я докуку и которую тебе приписываю.

Очутившись при сем позорище еще до начатия и не зная, что представлено будет, спрашивал я о том стоявших возле меня, и в ответ сии слова от одного соседа услышал: "По правде сказать, благородию вашему, мы материи, с чем комедь гласит, досконально и фундаментально не ведаем, а от ахтеров слышали, что имеют быть *предварительно и стоически* представлены в лицах разные новоманерныя галантереи". Разные галантереи? спросил я его. "Да сударь", отвечал мне другой по левую руку стоявший, который при всяком слове в затылке почесывал, и который так скороговорил, как трещотка, и в речах его не было, ни запятых, ни двоеточия, ни точек. "Да, дорогой наш милостивец, вы то слышали, что станут выкидываться на предъявленном киятре ориэнтальныя, французския штуки, на наши русския манеры обделаныя, и сам медиатер** мне *предпоожительно* божился, что очень много проказного увидим".

Я нарочну пишу тебе словами моих соседей, которым я очень не рад был, но уйти от них не имел способу, что бы ты узнал, кто они таковы; а что бы тебе об них еще легче угадать было, опишу их одеяние. На одном был кафтан синий и на нем только три пуговицы, камзол зеленый, штаны черныя замшаныя, а шлифы висели, для того, что пряжек шлифных не было, о которых я по их дружескому между собою разговору, скоро узнал, что онъ для опохмеления заложены по-утру на первом кружале. Рубаху имел он с холстинными пречорными брызжами. Волосы у него не только не завиты, но всклокочены и назади пучком связаны были; а шея пречорная, на показ выставленна, без галстука и без платка; а куда оные, по нашему необходимымъ вещи, скрылись, узнать мне не удалось, но уповаю, что с пряжками имели онъ одинаковую участь. На другом какой кафран [так! — В.Т.] и камзол были, приметить я не мог, потому что он имел на себе епанчу преветхую под пазухами распоротую и без пуговиц же, не отставая своей брати; а на волосах кошелек: на шее же вместо галстука поношенный полуиталианский платок, на распашку завязанный. [...]

Продолжение их разговора долго слушать не имел бы я терпения, потому что слова их мимо меня летали; а вместе с ними и запах винный [...]

(см. Сочинения и переводы Владимира Игнатьевича Лукина и Богдана Егоровича Ельчанинова. СПб., 1868, 183-185).

Разумеется, зрители Эрмитажного или Деревянного театра, где шли "Ошибки", были совсем иными, нисколько не похожими на тех, которых увидел Лукин во сне, но тот факт, что и они смотрели и слушали пьесу, "склоненную на русские нравы" (хотя и с помощью более "чистого" и "аккуратного" русского языка, уже обнаруживающего определенные признаки влияния литературно-языковой теории и практики Карамзина), свидетельствует о том, что этот способ "преложения" иностранных пьес стал модным и что эта мода коснулась и великосветского, придворного круга. Роль И.М. Муравьева-Апостола в ознакомлении этого круга с таким принципом передачи-"преложения" пьес западноевропейского репертуара не должна вызывать сомнения, и о ней нужно помнить в связи с известным оживлением в области русской комедии уже в 10-ые годы XIX века (стоит напомнить, что Муравьев-Апостол, хорошо знавший западно-европейскую культуру, долго живший в Германии и лично знакомый с Кантом, Клопштоком и другими "властителями дум" того времени, уже в середине 10-ых годов в "Письмах из Москвы в Нижний-Новгород /"Сын Отечества 1815/ излагает свою программу ознакомления с мировой литературой, обязательную для всякого развитого человека).

В русском тексте комедии "Ошибки, или Утро вечера мудренее" Муравьев-Апостол сохраняет сюжетную схему, последовательность основных мотивов, все перипетии, всех основных *dramatis personae* в связи с теми функциями, которые им присущи в пьесе. Более того, и многие отдельные фрагменты русского текста легко находят соответствия (иногда даже довольно полные) в английском тексте. В этом смысле с уверенностью можно говорить о русском тексте "Ошибок" как о переложении английской комедии "She Stoops to Conquer...", сделанном по типу "склонения на русские нравы", а об английском тексте не просто как об "источнике", но как об оригинале, на который во всем, кроме национального колорита, ориентирован русский текст "Ошибок". По сути дела, оказывается, что сходное с английским оригиналом и отличное от него, самостоятельное очень четко размежеваны в русской пьесе, причем и "самостоятельное" есть не более чем очень удачная "русская" версия английского. Искусно владея языком и стилем, нигде не впадая в буквализм, в "механическую" верность оригиналу, Муравьев-Апостол позволял себе свободу в изъятии "слишком" английских фрагментов (так, к сожалению, остались опущенными переводы или эквиваленты песенки, которую поет Топу

Lumpkin в the ale-house "The Three Pigeons": *Let school-masters puzzle their brain, / With grammar, and nonsense, and learning... / Let them brag of their Heathenish Gods, / Their Lethes, their Styxes and Stygians; / Their Quis, and their Quoos, and their Quods / ... Toroddle, toroddle, toroll* и т.д., а из двух песенных /Tony singing/ зачинов: *There was a young man riding by, and fain would have his will. Rang do didlo dee* и *We are the boys that fears no noise where the thundering cannons roar* отражен лишь один — Степан (поэт). *Ах жил я молодец во своей деревне* и проч., 61, ср. тут же реплику Милонова — Как можете вы быть так жестокосердны? вы поióте тогда, как матушка ваша плачет!) и такую же свободу во введении "русских" деталей и "русского" колорита (включая и постоянные намеки на "русскую" злобу дня), которые "текстуально" уже не имели поддержки в английском тексте. Сочетание результатов этих двух "свобод" и образует специфику русской пьесы.

Эти особенности могут быть проиллюстрированы, например, сопоставлением начала обеих пьес — английской и русской. Ср.:

Act I. Scene. A Chamber in an old-fashioned House.

Mrs. Hardcastle. I vow, Mr. Hardcastle, you're very particular. Is there a creature in whole country, but ourselves, that does not take a trip to town now and then, to rub off the rust a little? There's the two Miss Hoggs, and our neighbour, Mrs. Grigsby, go to take a month's polishing every winter.

Hardcastle. Ay, and bring back vanity and affectation to last them the whose year I wonder why London cannot keep its own fools at home. In my time, the follies of the town crept slowly among us, but now they travel faster than a stage-coach. Its fopperies come down not only as inside passengers, but in the very basket.

Mrs. Hardcastle. Ay, *your* times were fine times, indeed; you have been telling us of *them* for many a long year. Here we live in an old rumbling mansion that looks for all the world like an inn, but that we never see company. Our best visitors are old Mrs. Oddfish, the curate's wife, and little Cripple-gate, the lame dancing-master: And all our entertainment your old stories of Prince Eugene and the Duke of Marlborough. I hate such old-fashioned trumpery.

Hardcastle. And I love it. I love every thing that's old: old friends, old times, old manners, old books, old wine; and, I believe, Dorothy (*Taking her hand*) you'll own I have been pretty fond of an old wife.

Mrs. Hardcastle. Lord, Mr. Hardcastle, you're for ever at your Dorothy's and your old wife's. You may be a Darby, but I'll be no Joan, I promise you. I'm not so old as you'd make me, by more than one good year. Add twenty to twenty, and make money of that.

Hardcastle. Let me see, twenty added to twenty, makes just fifty and seven.

Mrs. Hardcastle. It's false, Mr. Hardcastle: I was but twenty when I was brought to bed of Tony, that I had by Mr. Lumpkin, my first husband; and he's not come to years of discretion yet.

Hardcastle. Nor ever will, I dare answer for him. Ay, you have taught *him* finely.

Mrs. Hardcastle. Nor matter. Tony Lumpkin has a good fortune. My son is not to live by his learning. I don't think a boy wants much learning to spend fifteen hundred a year.

Hardcastle. Learning, quotha! A mere composition of tricks and mischief.

Mr. Hardcastle. Humour, my dear: nothing but humour. Come, Mr. Hardcastle, you must allow the boy a little humour.

Hardcastle. I'd sooner allow him an horse-pond. If burning the footmens shoes, frightening the maids, and worrying the kittens, be humour, he was it. It was but yesterday he fastened my wig to the back of my chair, and when I went to make a bow, I popt my bald head in Mrs. Frizzle's face.

Mrs. Hardcastle. And am I to blame? The poor boy was always too sickly to do any good. A school would be his death. When he comes to be a little stronger, who know what a year or two's Latin my do for him?

Hardcastle. Latin for him! A cat and fiddle. No, no, the ale-house and the stable are the only schools he'll ever go to. [...]

В русском тексте это начало преобразовано — с значительным расширением — в колоритный диалог на "свои" темы, полностью оторвавшийся, казалось бы, от всех следов "английского" *modus vivendi*:

Действие Первое. Явление 1-е. Театр представляет комнату, убранную в старинном деревенском вкусе. Старомыслов и Старомыслова.

Старомыслова. Так добрые люди не живут, как мы с тобой, сударь! Вот около Миколы исполнится два года, как мы в городе не бывали! — Вспомни, сударь, что у тебя дочь невеста! да онаж и взроста в Питере! а у меня сынок, которому пора свету посмотреть! — Чему они в этой глуши научатся? — Хоть бы ты перенял у соседки нашей Пентюховой. — Спасибо ей; умеет деток воспитывать. — Каждой год около Масленой ездит в Питербург с дочерьми: там побывают и в Мушкарате и на горах: так девушки-та на людей посмотрят, себя покажут, да и переймут кое-что.

Старомыслова. Да; переймут то, чего перенимать не надобно. — Съездят в город на неделю; а привезут домой спеси и глупостей на

круглый год. — Дарьюшка, друг мой! всякая вещь хороша в своем месте: в городе жить по городскому, а в деревне по деревенскому.

Старомыслова. Житье житью розь. — Его Сиятельство Граф Высокопаров и в деревне весело живет.

Старомыслова. А по мне так скучно. — Я прошлаго лета заехал к нему, да и не рад был жизни. — Замучил меня до смерти. — Таскал меня часа три по просекам заваленным щепнем, которые он называет Аглинским садом. — Заставлял меня удивляться видам ни чуть ни удивительным; и выхвалял свой вкус, котораго я ни в чем не приметил. — У нас с тобой гора слъвет горой, а бор бором; а у него так то, да не то. — Навозная куча одетая дерном называется у него *Парнас*. — В лесу стоит беседка, — я право думал шалаш для тетеревей, — ан прошу не прогневаться: *Храм невинности*. — Под окошком его течет прекрасная речка; он ею не доволен, а выкопал в болоте несколько луж, и разъезжает себе по ним в раскрашенных челнах, которые он пожаловал в *Ботики*. — Чтобы осмотреть все эти чудеса, Граф таскал меня от самага после обеда до шести часов вечера. Я рад, рад был, как доплелся до покоев, и сам себе на уме: теперь отдохну. — Ни тут-то было! хозяин мой взял меня за руку, и говорит: дорогой сосед! что ты ни видел сего дня, все еще ничего против того, что увидишь; и не дав мне времени опомниться, повел меня в сарай. Я думал он хочет похвастаться каретами или колясками домашнего рукоделья. — Какое было мое удивление, когда вместо карет я увидел театр! — Официанты, лакеи, горничные девки сыграли нам *Семиру*. — Боже мой! девки терзали беднаго Сумарокова! как теперь вспомню, так больно! — Дарьюшка! у нас с тобой ни театров, ни храмов нет; а кто к нам пожалует, так найдет у нас старинное гостеприимство: горшок добрых шей, да хозяина, который гордится тем, что Руским родился, да Руским и умрет.

Старомыслова. Всякой живет как хочет. — Всех на свой образец не переделаешь. — Я думаю и нашему житью не многие позавидуют. — Живем мы в эдаком опальном доме, которой более схож на постоялой двор, нежели на барской дом. Окроме батьки с погоста, да старосты, никого в лице не видим. Вся наша забава, слушать твои рассказы о старых походах. — Уж право мне эта старина наскучила!

Старомыслова. А мне так нет. — Я старину люблю, и признаюсь в том. — Люблю старинные времена, обычаи, старых друзей, старинные книги, старое вино. — Дарьюшка! не можешь ты пожаловаться чтоб я дурно поступал и с старою женою.

Старомыслова. Ох! сударь странен с своей Дарьюшкой и с старой женою! по твоим словам меня старше и нет на свете. — Не мудрено счесть мои лета. — Двадцать — да двадцать. —

Старомыслов. Постой-ка я смекну: дважды двадцать — пятьдесят семь.

Старомылова. Вот тебе на! — час от часу не легче! за покойника Сидора Пафнутьевича я шла семнадцати лет. — Когда меня Бог разрешил Степушкою, мне с небольшим было двадцать. — А ты сам видишь, Степушка мой в зрелых ли летах?

Старомыслов. О! коли так считать, так тебе и до смерти все будет не с большим дватцать: — и по тому, что Степушка твой никогда не созреет. — Нечего сказать, щегольски ты его воспитала!

Старомылова. Каков ни есть, мой батюшка! ему не с книгами знаться, а с добрыми людьми. — Степушке моему будет пятнадцать тысяч рубликов доходу в год. — Что твои науки!

Старомыслов. И то правда! — часто с пустым лбом да набитым карманом, слывут люди и умными и любезными.

Старомылова. По чемуж он не умен? по чемуж не любезен?

Старомыслов. Если можно назвать умным того, которой ни о чем другом не говорит как о собаках да о лошадях: а любезным, котораго вся забава в том, чтобы гонять голубей, да пугать девок о святках: то Степушка твой конечно совершенной детина. — Я тебе, жена! говорил: не балуй сына своего — из него выйдет повеса. — Богатство не награждает недостатки воспитания — оно хорошо при других дарованиях. — Богатой дурак, все дурак; да еще приметнее беднаго дурака.

Старомылова. То нечего греха таить, я много Степушке спускала, чего бы и спускать не надобно. Да как же было мне его и не баловать? — Сложенья он деликатнаго; рос все больной. — И теперь посмотри на него: в чем душа! еле жив! — Ох! кабы да он повозмужал хоть немножко, отправила бы его за море!

Старомыслов. А это за чем?

Старомылова. Ах! мой батюшка, как за чем? там уж подлинно всему научится.

Старомыслов. Дарьюшка! мой тебе совет благой: держи его дома. — Я ради чести имени Российскаго и многим бы запретил выезжать из отечества.

Старомылова. Что ты над ним бедным издеваешься? — может быть, и не долго мне им утешаться! — ох ти мне! —

Старомыслов. Беднинькой! — поперек себя ширее! — явной признак чахотки.

Старомылова. А как закашляется! —

Старомыслов. Особливо, когда поперхнется.

Старомыслова. Грудка его меня тревожит. Как он заговорит мой батюшка, так и ходит в ней.

Старомыслов. Жалок. Слаба грудка. — Как изволит гаркать в поле, так версты за две слышно. [...]. (1-8).

Сушественно более сходства в некоторых других местах с относительно слабым "русским" колоритом и особенно в последнем явлении пьесы, где все частное и специфическое отсутствует, и в предвидении близкого финала и автор, и переводчик вслед за ним заняты лишь тем, чтобы своевременно привести действие к развязке. Ср.:

Mrs. Hardcastle. Pshaw, pshaw, this is all but the whining end of a modern novel.

Hardcastle. Be it what it will, I'm glad they're come back to reclaim their due. Come hither, Tony boy. Do you refuse this lady's hand whom I now offer you?

Tony. What signifies my refusing? [scil. Miss Neville. — V.T.] You know I can't refuse her till I am of age, father.

Hardcastle. While I thought concealing your age boy was likely to conduce to your improvement, I concurred with your mother's desire to keep it secret. But since I find she turns it to a wrong use, I must now declare, you have been of age these three months.

Tony. Of age! Am I of age, father?

Hardcastle. Above three months.

Tony. The you'll see the first use I'll make of my liberty (*Taking Miss Neville's hand*). Witness all men by these presents, that I, Anthony Lumpkin, Esquire, of BLANK place, refuse you, Constance Neville, spinster, of no place at all, for my true and lawful wife. So Constance Neville may marry whom she pleases, and Tony Lumpkin is his own man again.

Sir Charles. O brave, 'Squire.

Hastings. My worthy friend.

Mrs. Hardcastle. My undutiful offspring.

Marlow. Joy, my dear George, I give you joy sincerely. And could I prevail upon my little tyrant here to be less arbitrary, I should be the happiest man alive, if you would return me the favour.

Hastings. (*To Miss Hardcastle*). Come, madam, you are now driven to the very last scene of all your contrivances. I know you like him, I'm sure he loves you, and you must and shall have him.

Hardcastle (*Joining their hands*). An I say so too. And Marlow, if she makes, as good a wife as she has a daughter, I don't believe you'll ever repent your bargain. So now to supper, tomorrow we shall gather all the poor of the parish about us, and the Mistakes of the Night shall be crowned with a merry

morning; so boy take her; as you have been mistaken in the mistress, my wish is, that you may never be mistaken in the wife.

Ср. соответствующий русский текст (после: Милонов (*Старо-мысловой*) [...]. Но Будьте сострадательны! будьте справедливы! — Я Пашу знал еще при жизни отца ее; ему известна была взаимная наша склонность; и мы при нем клялись друг друга вечно любить. ... — Паша. Я в сиротстве моем никого не имею о кроме вас; жальтесь надо мной!):

Старо мы слова. Полно, моя матушка! знаю, что вы Раманов [так! — *В.Т.*] начитались. —

Старо мы слов. Слушай Дарьюшка! Не о чтении теперь речь идет, а о том, что они друг друга любят, друг друга стоят; и что тебе их благополучию мешать не годится.

Старо мы слова. Кто им мешает? — Боже их благослови. — А Степушка по духовной наследник алмазам.

Паша (*Милонову*). Я этого несчастья не знала.

Старо мы слов (*жене*). Ну вот то то я не люблю, как ты пустое городишь! — Степан! скажи, брат, отрицаешься ли ты от Паши и ее алмазов?

Степан. А что прибыли то? — вишь ты, мне еще нету законных лет.

Старо мы слов. Слушай, брат! покуда я ожидал, что наши о тебе попечении могут быть тебе полезны, потуда я молчал: но теперь как я вижу, что все наши старания тщетны, то я себе за долг поставляю сказать: что матушка твоя скрывала от тебя настоящий твой возраст: тебе уже двадцать три года минуло, и ты давно имел право по законам вступить во владение имения своего.

Степан. Ой ли так, батюшко? — не шутишь ли?

Старо мы слов. Нет, не шучу. — И ты теперь имеешь сам собою право, уничтожить духовную, которая тебя счастливым не делает, а губит двух достойных людей.

Степан. Право? — ну так подавай же бумаги да перо! — а вот здесь есть (*садится и хочет писать*). Тьфу ты пропасть какая! писать то я не горазд! — а поздно уж и так заколякались! — Садись ка Милонов, сам пиши! — я стану говорить. — Вишь ты прыток на грамотки то.

Милонов. От всего сердца.

Степан. Пиши! — (*Милонов пишет, что Степан говорит*), я ниже подписавшийся Степан Сидоров сын Балобонов [так! — *В.Т.*] в роде непоследний, отрицаюсь от Паши и алмазов ее. — И вольно ей выходить за муж, за кого хочет, на все четыре стороны, — каково? давай подпишу! (*подписывает*).

Милонов. Мой любезный друг!

Старомыслов. Ай Степушка! прямо честно поступил.

Старомыслова (в сторону). Как знать да ведать, не зевала бы по нем, а отправила бы его на службу.

Смиренин (Милонову). Поздравляю тебя, мой друг!

Милонов. А тебя разве не поздравлять?

Смиренин. Естли она позволит (указывает на Софью) так и я принимаю поздравление — ах! друг мой! я еще не верю моему благополучию!

Старомыслов (соединяет руки Софьи и Смиренина). Верь, сударь, верь! — а что благополучен, так это правда. — Софья была хорошая дочь, она без сомнения будет добрая жена. — Ты много раз сего дня ошибался, а в выборе жены не ошибся. Теперь поздно: пора ужинать. — А завтра у нас две свадьбы! — пир на весь мир — соберу всю деревню, и стара и мала, всех с собой за стол посажу. (Смиренину) Не погневайся, мой друг! они всё тебе родня будут: потому, что они меня называют отцом. — Всё мы веселы, всё счастливы! — а право три часа тому назад я не ожидал, что завтра буду так веселиться. — *Утро вечера мудренее* (149-152).

[В связи с темой Пушкин — Голдсмит может представить некоторый интерес параллель к мотиву "разбивания зеркала" (как и спрашивания у него о своей красоте) в "Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях"; ср. "Я ль, скажи мне, всех милее, / Всех румяней и белее?"; с одной стороны, и, с другой, *Да как ручку замашнет, / Да по зеркальцу как хлопнет, / Каблучком-то как притопнет!.. / "Ах ты, мерзкое стекло! / Это врешь ты мне назло. [...]"* и даже: *Злая мачеха, вскочив, / Об пол зеркальце разбив, / В двери прямо побежала [...]*, — при: *Hardcastle*: *Au, Kate, but there is still an obstacle. It is more than an even wager, he may not have you. — Miss Hardcastle. My dear papa, why will you mortify one so? — Well, if he refuses, instead of breaking my heart at his indifference, I'll only break my glass for flattery* (ср. *льстивое стекло*); этот диалог передан и в русском "переложении": *Старомыслов*. Хорошо; да вопрос еще: понравиться ли ты ему? — *Софья*. Вы, батюшко! таким вопросом хотите унижить меня. — Однако не будьте уверены, что естли он меня и пренебрежет, то я сердца моего с досады не сокрушу; а может быть, *сокрушу зеркало*. [...]) (12). — Несколько позже в роли "зеркала" в английском тексте выступает Мисс Невилл: *Tell me, Constance, how do I look this evening? Is there any thing whimsical about me? Is it one of my well looking days, child? Am I in face to day?* — спрашивает у нее Мисс Хардкасл].

"Русский" колорит достигается в "Ошибках" прежде всего на языковом и стилистическом уровне. Ср., напр.: Дочка то не смазлива же из себя! — Ряба как кокушка, а рот по уши, как у ласточки. Ну ж за то сынок то парень удалой! — Кровь с молоком детина! (21) [в соответствии с полным экспрессии английским текстом: *T o n y . The daughter, a tall trapesing, trolloping, talkative maupole. — The son, a pretty, well-bred, agreeable youth, that every body is fond of*] или: Степан: Что как я да отплачу батшке [так! — *B.T.*] вотчину? — Он день денской сабачится. — И болван-то я у него — и пустая-та голова! Нет, старой хрыч! на проказы ума довольно! посмотри, какую те камедь сыграю! — только не попасть бы в просак — а чего бояться? — года через два сам себе барин! а деревеньки-то вить матшкины [так! — *B.T.*], а не его! (19). К этому же уровню принадлежат и некоторые характерные имена (ср. *Степан Балобанов*, сын Старомысловой от первого брака; *Паша* сирота в опеке; *Пахом*, стременной); кстати, большинство имен действующих лиц семантически прозрачны (*Старомысловы*, *Смиренины*, *Милонов*, *Высокопаров*) в отличие от пьесы Голдсмита, где такие случаи относятся к исключениям (*Lumpkin: lump*), если только не считать фамилии лиц, упоминаемых в пьесе, но в ней не участвующих (ср. *Stripplegate*, *Oddfish*, *Frizzle. Slang*, *Twist* и т.п.). Существен вклад в формирование "русского колорита со стороны "русских" реалий, иногда соотносимых с определенными событиями относительно недавней русской истории. В частности, неоднократно (иногда с особым умыслом) упоминается Петербург, его улицы, сады, магазины. Несколько примеров:

Степан. Нет, то здесь крестьянин не улыбнется. — Помещик Блесткин живет все в Питере: ему к Христову дню понадобилась новая карета да золотой кафтан [...]. Да вить и то правду сказать: коли в Питере жить, надобно золотой кафтан! (24); —

Старомыслов. Я еще от отца слышал, что в 34м году 28го числа стояли наши под Гданском. — Фельдмаршал Ласси, дай Бог ему царство небесное! [...] Он покойному отцу говорит: без штурма Гданска не видать. — А Граф Миних — нет, и так сладся [...]. Ко мне заезжают из Москвы и из Питербурга. — Добрые люди помнят мою хлеб соль (35-37, в соответствии с: *Your taking of a retreat, Mr. Marlow, puts me in mind of the Duke of Marlborough, when we went to besiege Denain*); —

Смиренин (*Милонову*). А пословицы то, Милонов! по платью встречают, а по уму —

Милонов (*Смиренину*). Полно братец, эта пословица давно из лет вышла. — Издатель собрания 1921 старинных русских пословиц, мне человек знакомой; я попрошу его, чтоб он ее так переменял: по числу лошадей встречают, а по платью провожают; —

Смиренин [...] спишь крепко, естли не разбудят доезжие добрые люди Петербургские и Московские (35-37); —

Старомыслова [...] Я, пожалуй готова хоть ни пить ни есть, только бы слушать о Питере, о тамошних людях, и поведенциях. Вить я сама, мой батюшка! только раз там была, и то на неделю.

Миловнов. Как сударыня? — вы только неделю пробыли в Петербурге? — вы меня приводите в изумление! позвольте мне вам не верить. — Вы так глядите, как будто бы от роду из Луговой Миллионной не выезжали [этот адрес отсылает почти к Эрмитажному театру и Зимнему дворцу, и в этом отношении он, видимо, не случаен; отчасти к сходным эффектам примерно в то же время и именно в связи с Эрмитажным театром прибежал Гонзага. — В.Т.].

Старомыслова. Полно мой батюшко! — где нам деревенским против ваших городских! на кого нам здесь поглядеть? у кого перенять? — во кабы в Питере пожить, там бы съездила и в летней сад, и к Неремберцам, и еще кое куда; это таки разумею. — В нарядах скусы имею. — Одеться ли, причесаться ли мое дело. [и далее колоритный диалог о модах: Старомыслова. [...] Скажите без пристрастия; каково у вас француз одета? — Миловнов. Безподобно, сударыня! — конечно вам Француз парикмахер чесал? — Старомыслова. Нет, батюшко! свой. — Я отдавала его к Французу, по контракту, на четыре года. — Харч: мука и крупы мои; да сверх того за выучку сто рублей. — Парень вышел изрядной; только что упрям немного. — Уж я ему говорю: Сенюшка! чеши повыше; ставь пукли подлиннее. — А он: нет, барыня; уж это не по моде. Ньнеча как бы пониже да понатуральнее. — Правда ли это мой батюшко? (54) — (разумеется, и эта тема в таком виде отсылает к полемике рубежа 60-70ых годов XVIII в., инициатива в которой принадлежала "Всякой всячине" и, следовательно, Екатерине II; вместе с тем напрашиваются и далекоидущие аналогии между способами переложения отдельных текстов из "Spectator" во "Всякой всячине" и тем, что сделал с текстом голдсмитовской комедии И.М. Муравьев-Апостол)].

* * *

Эти частичные наблюдения над соотношением русского текста И.М. Муравьева-Апостола и английского текста Голдсмита должны быть приняты во внимание — тем более, что Кубасов, специально писавший о "русской" комедии, нигде не упоминал о ее переводном характере и скорее всего даже не подозревал этого. Сам же вывод Кубасова, исключая эту его неполноту, сохраняет в основном свое значение и

сейчас: "Конечно, в настоящее время эта довольно нехитросплетенная сеть всевозможных приключений и *qui pro quo*, составленных по всем правилам "единства времени и места", вся эта пьеса, скорее сбивающаяся на современный фарс, не может доставить большого эстетического удовольствия; но по тогдашним понятиям о смешном в комедии, пьеса Муравьева, полная действия и написанная при этом хорошим языком, имела право на успех и пользовалась таковым. Для историка литературы она представляет несомненный интерес и с внешней и с внутренней стороны" (И.А. Кубасов. Указ. соч., 15).

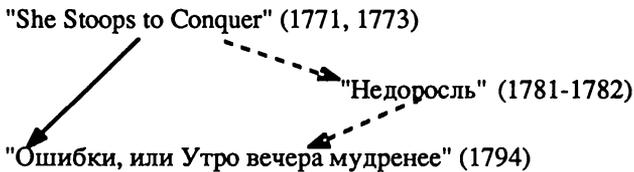
Этим же исследователем были указаны и явные переклички между "Ошибками" Муравьева-Апостола и "Недорослем" Фонвизина (Степушка Балобанов — "род Митрофанушки", Милонов — Милон и т.п., включая и иные соотнесения, напр., с Гоголем: Высокопаров — "Манилов екатерининских времен" и т.п.), которые он объяснял очевидным влиянием комедии Фонвизина на "Ошибки". Наличие этого влияния не вызывает сомнения, и оно распространяется не только на типы действующих лиц и на общую схему действия и способы развертывания интриги, но и на более частные детали. Ср. несколько примеров на выбор: Простак в. Странное дело, братец, как родня на родню походить может! Митрофанушка наш весь в дядю [...] — при: Ст а р о м ы с л о в . Ох! ты мой соловей! — ненаглядное дитя! — весь в покойника Сидора Пафнутьича! (в обоих случаях это говорится отцом о сыне [правда, Старомыслов неродной отец], в котором вольно или невольно подчеркивается "скотское" начало); — "скотская" тема, связанная со Скотининым и его родственниками в "Недоросле", в частности, с Митрофанушкой, и оценка слов Степушки Смирениным — "Какое скотское разсуждение!" — при М и л о н . Какое скотское сравнение!, о словах Скотинина; — Фомка-парикмахер, "направляющий" парик госпоже Простаковой, и Сенюшка, парикмахер, "чешущий" Старомыслову и взбивающий ей парик; — тема голубятни, гонения голубей. — Побегу-тка теперь на голубятню, так авось либо... в "Недоросле" — при: [...] котораго вся забава в том, чтобы гонять голубей [...] в "Ошибках"; — день Николы как некий временной ориентир. Вот около Миколы исполнится два года, как [...] в "Ошибках" — при: [...] шестнадцать лет исполнится около зимнего Николы [...] в "Недоросле"; — подразумеваемое противопоставление пустого лба ученому лбу в "Ошибках" и ученого лба пустому в "Недоросле"; — Старомыслов — Стародум; — многочисленные общие детали, относящиеся к нежеланию сына учиться и к набору оправдательных аргументов со стороны матери и т.д. и т.п. Наконец, нужно подчеркнуть тот особый акцент, который делается и в "Ошибках" и в "Недоросле" на

проблеме воспитания, хотя, конечно, здесь дело не столько в заимствовании, сколько в общих исходных установках обоих авторов (интерес И.М. Муравьева-Апостола к проблеме воспитания подтверждается, в частности, его ранним переводом — [Л а Ш е т а р д и , Т р о т т и д е] "Наставление знатному молодому господину, или Воображение о светском человеке". Переведено с французского на русский язык Лейбгвардии подпрапорщиком Иваном Муравьевым. СПб., 1778).

2. К вопросу об отношении "Недоросля" к "Ночи ошибок".

Количество совпадений между текстом комедии, русская версия которой принадлежит Муравьеву-Апостолу, и "Недорослем" Фонвизина столь велико, а качество этих совпадений вскрывает столь интимное знакомство с текстом фонвизинской комедии, что перед исследователем возникает совершенно неожиданная новая задача, требующая решения. Поскольку текст "Ошибок", изданный в 1794 году, не сомненно, связан с английским текстом комедии Голдсмита "She Stoops to Conquer: or, the mistakes of a night", написанной в 1771 и поставленной в 1773 году, как перевод-переложение последней и в то же время, не сомненно, зависим от текста фонвизинского "Недоросля", написанного в 1781 и поставленного в 1782 году, таким образом, что предполагает не только знакомство с "Недорослем", но и очевидные заимствования из него, — напрашивается при первом подходе к этой запутанной проблеме следующая альтернатива: или "Ошибки", являясь переводом-переложением комедии Голдсмита (основной источник-субстрат), многое заимствовали и из фонвизинского "Недоросля" (вторичный источник) — в той мере, в какой это допускалось структурой основного источника, — или же "Недоросль", как и "Ошибки", также имеют одним из важных своих источников комедию Голдсмита "Ночь ошибок". Сразу же следует оговориться, что понятие "источника" в этом последнем случае не вполне совпадает с тем смыслом, который придается этому понятию в первом случае, когда речь идет о комедии "Ошибки". Пьеса Фонвизина, разумеется, не является ни переводом, ни даже "переложением" в том понимании, которое утвердилось в результате литературной деятельности Лукина. Степень "источничества" комедии Голдсмита в отношении "Недоросля" предстоит выяснить, и здесь могут быть высказаны — и то в самом предварительном порядке — лишь самые первые и самые общие соображения на этот счет.

На этой начальной стадии исследования проблемы исходной и одновременно фундаментальной предпосылкой можно считать "сн я т и е" указанной выше альтернативы, возникшей из анализа, так сказать, логической схемы возможностей. На самом деле оказывается, что "параллели", "схождения", "переклички" между элементами двух текстов — "Ошибок" и "Недоросля" — укладываются в две категории случаев: наиболее весомые с точки зрения сюжетов, мотивов, интриги, типов действующих лиц и их функций, макросемантики, композиции и т.п. совпадения практически всегда находят аналогии и в английском тексте комедии Голдсмита "She Stoops to Conquer", которая, следовательно, может считаться общим для "Недоросля" и "Ошибок" источником; менее важные, "частичные", чаще всего носящие "русский" колорит совпадения, играющие специфицирующую и/или орнаментальную роль, не имеют (или в большинстве случаев могут не иметь) аналогий в английском тексте, и, следовательно, могут правдоподобно объясняться как заимствования в "Ошибках" из "Недоросля". Общая схема зависимостей пока рисуется в следующем виде:



Легенда: —> — отношение переводимого и переводящего.
 - - - - -> — отношение зависимости типа "заимствование"
 (историко-литературное влияние, в самом слабом варианте — "небеспоследственное" знакомство последующего с предшествующим, но никак не типология "чистых форм").

[Историко-литературная связь "Недоросля" с "Ошибками" дополняется другим примером "встречи" этих произведений: "В непродолжительном времени я увидел на театре "Недоросля", "Ошибки, или утро вечера мудренее" [...] С каждым днем росла и крепла во мне любовь к театру. Я выучил наизусть виденные мною на сцене пьесы и находил время, незаметно для моего воспитателя, разыгрывать перед самим собою все роли в вышесказанных пьесах, для чего запирался в своей комнате или уходил в пустые, холодные антресоли". С.Т. Аксаков. "Воспоминания", Казань, зима 1804 г.]

Далее речь идет только об аргументах в пользу знакомства автора "Недоросля" с комедией Голдсмита, которое обнаруживается через присутствие в "Недоросле" целого ряда черт, совпадающих с соответствующими особенностями голдсмитовской пьесы.

Общим "персонажным" ядром обеих сопоставляемых комедий, не совпадающим, естественно, полностью с таковым же ядром в каждой из порознь взятых пьес, оказывается треугольник, состоящий из персонажей-функций: "сын" — "молодая родственница" — ее будущий "жених", т.е. соответственно: Митрофанушка — Софья — Милон и Tony Lumpkin — Miss Neville — Hastings. Эти общие "функционально-персонажные" характеристики могут быть уточнены и конкретизированы — и сами по себе и через из внешние связи, — что приводит к выявлению еще более густого слоя общих черт.

"Сын" — бездельник, великовозрастный балбес, отказывающийся учиться и/или неспособный к учению, предпочитающий невозвыскательные развлечения — обжорство или вино, голубятня, псарня, конюшня, трактир (в обоих случаях "мать сына" трактует его как ребенка, дитяню /занижение возраста/, слабого здоровьем, нуждающегося в дополнительном питании и, строго говоря, не нуждающегося в обучении или в государственной службе, поскольку у него есть деньги или дворянские привилегии и возможность "удачной" женитьбы на "родственнице").

"Молодая родственница" — сирота живущая в доме родителей "сына" под их опекой; оказавшись богатой, становится объектом плана "родителей" женить на ней "сына" (при том, что сам "сын" более чем равнодушен к "родственнице" и полностью лишен любовных чувств), но у "родственницы" есть старая любовь, таймая ею от хозяев дома, где она живет, и выходящая наружу благодаря неожиданной встрече — случайному приезду "жениха"; на пути к соединению с "женихом" возникает неожиданное осложнение ("увоз родственницы"), благополучно разрешаемое.

"Жених" — положительный персонаж, по своим качествам прямая противоположность "сыну", связан со старшим, чем он положительным персонажем (Правдин /также и Стародум/, Marlow-отец); об отношениях с "родственницей", ставшей в финале его невестой, см. ниже; в целом "промежуточный" персонаж: лишенный отрицательных качеств одних (Простакова, Скотинин, Mrs. Hardcastle), он в мудрости и житейском опыте уступает другим (Стародум, Правдин, Marlow-отец), но "симпатичен" по положению.

Этот "персонажный" треугольник, общий для обеих комедий, в каждой из них имеет естественные "расширения", которые в принципе также обнаруживают высокую степень сходства, Одно из них, так

сказать, "эндемическое" — родители "сына" (госпожа Простакова и Простаков; Mrs. Hardcastle и Hardcastle), они же опекуны "родственницы" (при этом "родители" в обоих случаях, хотя и несколько по-разному дифференцированы: "мать" реализует "отрицательную", подвергаемую критике программу, "отец" — или положительную /Hardcastle/ или относительно нейтральную и во всяком случае несамостоятельную /Простаков/). Другое "распространение" в него характера: его воплощают положительные персонажи, локус которых — в не дома "родителей", где происходит действие (Стародум, Правдин, Marlow-отец), и которые "помогают", как "родственнице", так и "жениху" благодаря своей мудрости, справедливости, житейскому опыту.

Разумеется, при всех этих далекоидущих и, видимо, исключаящих случайность совпадениях в "персонажно-функциональном" наборе обеих пьес есть и специфические различия. Однако они, по сути дела, минимальны, легко "вычисляемы" и почти автоматически предопределяют соответствующие сдвиги в сюжетной схеме. Пьеса Голдсмита отличается от "Недоросля" наличием "дочери" (Miss Hardcastle), являющейся сводной сестрой Tony Lumpkin'a. "Недоросль" не знает этого персонажа, но зато вводит другой новый персонаж — "дядю" (Скотинин), одновременно брата "матери" (Простаковой). Соответственно строятся в каждой из комедий "оригинальные" (различающиеся) сюжетные ходы: "дочь" как бы имплицитно второго "жениха" (Marlow-сына) и мотив двойной свадьбы; введение "дяди" предопределяет мотив "любовного" соперничества с племянником ("сыном"); соответственно в "родственнице" комедии Фонвизина (Софья), если говорить "персонажным" языком пьесы Голдсмита, "склеиваются" два женских персонажа, две будущие невесты (Miss Hardcastle и Miss Neville). В этой "персонажно-функциональной" перспективе возможны и некоторые реконструкции соответствующих вероятностей. Некоторая излишность, "избыточность" Правдина, на которую нередко обращают внимание исследователи "Недоросля" (Правдин принадлежит не столько сюжетной схеме, сколько идеологической программе Фонвизина/ — Н.И. Панина/), объясняется отсутствием у него полноценной сюжетной нагрузки. Его "сюжетная" валентность остается не использованной в пьесе (по идее он мог бы стать женихом дочери Простаковых, сестры Митрофанушки, которая, однако, отсутствует в персонажной номенклатуре "Недоросля": Простаковы слишком "отрицательные", одиозные персонажи, чтобы их дочь была достойна такого жениха, как Правдин).

Уже "персонажно-функциональная" схема в значительной степени предопределяет структуру сюжета в каждой из сравниваемых пьес. Поэтому не приходится удивляться очень высокой степени конгруэнт-

ности этих двух структур, которые в принципе могут быть описаны как одна и та же сюжетная схема (точнее "теоретико-множественное произведение" сюжетных элементов):

В глубокой провинции живет супружеская чета ("родители"), у которой есть "сын" ("балбес") и "молодая родственница" (девушка-сирота), влачащая довольно жалкое существование. Неожиданный приезд "положительных" персонажей ("внешних"), вносящий информацию об изменении статуса "родственницы": она богата и может самостоятельно распоряжаться своим богатством, с одной стороны, и, с другой, у нее есть "жених", которого она знала и раньше, хотя и скрывала факт его существования от опекунов-"родителей" (сама встреча с "женихом" носит неожиданный характер). Изменение статуса "молодой родственницы" в выгодную сторону вызывает у матери "сына" план женить его на "родственнице", хотя сын не испытывает энтузиазма от этого плана. Возникновение плана похищения "родственницы" — "матерью" для ее "сына" или от "матери" для "жениха" — и его крушение. Счастливый конец благодаря усилиям "старших" (Стародум, Правдин, Marlow-отец, Hardcastle-отец). Предстоящий брак (браки). Наказание "матери", потерявшей крушение в ее матримониальных планах в отношении "сына", через ее разведение с ним.

Этот практически единый сюжет дополнительно скреплен целым рядом весьма специфических общих мотивов, не зависящих, строго говоря, от самого сюжета. Лишь несколько примеров. Мотив похищения реализуется сходным образом — рано утром беглецов поджидает в незаметном месте карета (Простакова. Завтра в шесть часов, чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу. — Mrs. Hardcastle. ... /Reads/ ... I'm now waiting for Miss Nevill, with a post-chaise and pair, at the bottom of the garden...), но в обоих случаях план рушится. Сходные черты обнаруживаются и в мотиве чтения письма, содержащего важную информацию о "родственнице", при том, что "противная" сторона испытывает серьезные затруднения в прочтении письма по причине малограмотности. Простакова, Простакон и Скотинин отказывается читать письма, вспоминают о Митрофанушке, которого "уж зачали ... учить грамоте", но и ему не пришлось прочесть письмо, после чего сама "родственница"-Софья предлагает прочитать его, на что встречает отказ Простаковой — О, матушка! Знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе верю. Вот, я чаю, учитель Митрофанушки скоро придет. Ему велю... (тем не менее, не будучи в состоянии прочитать письмо, Простакова отбирает его у Софьи: Письмецо-то мне пожалуй /Почти вырывает/). Сходная ситуация отмечена и в комедии Голдсмита при получении письма:

T o n y (Still gazing). A damn'd cramp piece of penmanship, as ever I saw in my life. I can read your print-hand very well. But here there are such handles, and shanks, and dashes, that one scarce tell the head from the tail ...

T o n y (Still gazing): A damned up and down hand, as if it was disguised in liquor. (*Reading*). *Dear Sir*. Ay, that' that. Then there's an *M.* and a *T.* and an *S.*, but whether the next be an *izzard* or an *R.*, confound me, I cannot tell.

В этой ситуации мисс Невилл, как и Софья в "Недоросле", предлагает тетушке свои услуги в прочтении письма, мотивируя это так — *No body reads a cramp hand better than I (Twitching the letter from her)*, ср. выше ремарку из "Недоросля" — *Почти вырывает*, о письме. Интересно, что ранний вариант "Недоросля", набросанный, видимо, Фонвизиным и если им, то до появления комедии Голдсмита начинается с малоудачных попыток Иванушки (вариант будущего Митрофанушки) разобратся в буквах [см. Ранняя комедия Д.И. Фонвизина. Первая редакция "Недоросля". Публикация Г.М. Коровина. — "Литературное наследство", 9-10. М., 1933, 243-263; следует заметить (и об этом нужно помнить при дальнейших упоминаниях этого текста), что вопрос об авторстве этой рукописи продолжает оставаться предметом спора: одни признают ее автором Фонвизина /В.Н. Всеволодский-Гернгросс, П.Н. Берков, Г.П. Макогоненко и др./, другие — и их число растет — оспаривают эту атрибуцию, как и датировку рукописи 60-ми годами; см. *К.В. Пигарев*. Творчество Фонвизина. М., 1954, 206-208, 281-284, 313-314; *А.В. Десницкий*. И.А. Крылов — автор "Кофейницы" и театральная жизнь в Твери 70-х и 80-х годов XVIII века. — "Ученые записки Ленингр. госуд. педаг. и-та", т. 120. Л., 1955, 140; *А.П. Могилянский*. К вопросу о т. наз. "раннем" "Недоросле". — "XVIII век". М.-Л., 1959, сб. 4, 415-421; *В.Д. Рак*. Был ли Фонвизин автором рукописного "Недоросля"? — "XVIII век". Л., 1983, сб. 14, 261-291, итоговая работа. В связи с историей постановки "Недоросля" и его литературной и театральной судьбой, помимо уже указанной литературы, см. *П.Н. Арапов*. Летопись русского театра. СПб., 1861; *Д.Д. Языков*. "Недоросль" на сцене и в литературе (1792-1882). — "Исторический Вестник" 1882, No. 10; *Н.С. Тихонравов*. Материалы для Полного собрания сочинений Фонвизина. СПб., 1894; *Н.В. Дризен*. Материалы к истории русского театра. 2-ое изд. М., 1913; *Л.Г. Бараг*. Комедия Фонвизина "Недоросль" и русская литература конца XVIII в. — В кн.: "Проблемы реализма в русской литературе XVIII века". М., 1940; *Он же*. Судьба комедии "Недоросль". — "Учен. Записки кафедры литературы Минского Педаг. института". 1940, вып. II, 109-125; *П.Н. Берков*. Театр Фонвизина и русская культура. — В кн.: "Русские классики и театр". Л.-М., 1947, 7-108; *М.П. Троянский*. К сценической истории комедий Д.И.

Фонвизина "Бригадир" и "Недоросль" в XVIII в. — В кн.: "Театральное наследство". М., 1956, 10 и след.; Г.П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь. М.-Л., 1961; В.П. Степанов. Полемика вокруг Д.И. Фонвизина в период создания "Недоросля". — ["XVIII век", сб. 15. Л., 1986, 204-229 и др.]

Еще один общий мотив связан с темой сознательного "занижения" возраста "сына", из-за чего он якобы вынужден оставаться дома, при родителях. В финале "Недоросля" оказывается, что Митрофанушка, которого мать и не собиралась отпускать от себя, может уже служить, ср.: П р а в д и н (Митрофану). С тобой, дружок, знаю, что делать. П о ш е л - к о с л у ж и т ь ... В комедии Голдсмита, и также в финале, выясняется — в опровержение высказанного в самом начале пьесы утверждения Mrs. Hardcastle о возрасте ее сына (... he's not come to years of discretion yet), — что Tony Lumpkin тоже достиг уже того возраста (21 год), когда он может принимать самостоятельные решения, в данном случае, — покинув мать, уйти в город (T o n y . Of age! Am I of age, father?), ср. в Эпilogue ("to be spoken in the character of TONY LUMPKIN"):

Well now all's ended — and my comrades gone,
Pray what becomes of *mother's nonly son*?
A hopeful blade! — i n t o w n I'll fix my station,
And try to make a bluster in the nation...

Между прочим, предпоследняя реплика Простаковой, обращенная к сыну — И ты! И ты меня бросаешь! А! н е б л а г о д а р н ы й — отвечает сходному определению сына со стороны Mrs. Hardcastle в аналогичных обстоятельствах — *My undutiful son*, в одном случае, и *Is this, ungrateful boy, all that I'm to get for the pains I have taken in your education?* в другом случае.

И заключительная сентенция Стародума — Вот з л о н р а в и я д о с т о й н ы е п л о д ы — также может быть соотнесена со словами Marlow, обращенными к Tony, — *You see now, young gentleman, the effects of your folly...* В этом же контексте находит себе место и совпадающая в обеих пьесах номинация "матери" — *презлая фурия* (Простакова, ср. еще *старая ведьма*, о Еремеевне) при *hag* (Mrs. Hardcastle, ср. при чтении ею перехваченного письма: ... *Dispatch is necessary, as the hag /ay the hag/ your mother, will otherwise suspect us*), и почти одинаковая ремарка, которая описывает ритуальный жест "старшего" и "мудрейшего" персонажа, увенчивающий все перипетии обеих комедий, — Стародум ([...] *Держа руки Софьи и Милона*)... при Hardcastle (*Joining their hands*)... [*their* — scil. Miss Hardcastle и Hastings — B.T.].

Число подобных совпадений легко может быть умножено (ср. тему слабого здоровья "сына" в высказываниях его матери; набор развлечений "сына"; отношение его к ученику; семейно-родовое подобие сына, ср., с одной стороны, П р о с т а к о в . Странное дело, братец, как родня на родню походить может! Митрофанушка наш весь в дядю [...] и, с другой, M r s . H a r d c a s t l e . M y b o y t a k e s a f t e r h i s f a t h e r , p o o r M r . L u m p k i n , e x a c t l y — и т.п.)

Но ни "персонажно-функциональный", ни сюжетно-мотивный уровни ни исчерпывают всех сходств между комедиями Голдсмита и Фонвизина: они продолжаются и на уровне, который можно назвать "программно-идеологическим". Разумеется, для Фонвизина, втянутого в важную политическую и идеологическую игру и исхившего из достаточно четкой программы (ср. "Завещание Панина", составленное примерно тогда же, когда писался и был поставлен "Недоросль" или оригинальную часть "Краткого изъяснения о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина"), этот уровень был актуальнее, чем для Голдсмита, и русский писатель и политик вкладывал в него больше жара и полемичности, переходящей в сатиру. Да и сама русская ситуация сильно отличалась от английской (на фоне Митрофанушки и его матушки "необразованность" T o n y L u m p k i n ' a и его матери выглядит почти как образованность, и то, чему учат Цифиркин, Кутейкин и Вральман своего ученика, по уровню очень сильно отличается от "греко-латинской" программы обучения T o n y , о которой можно составить представление по песенке, распеваемой им в "The Three Pigeons"), и ставка в этой идеологической игре, захватившей и литературу, была, конечно, существенно выше. Наконец, и личный и общественный темперамент русского сатирика был, бесспорно, иным, чем у Голдсмита, и все эти внелитературные различия не могли не отразиться и на собственно литературных различиях сравниваемых двух текстов, проявляющихся на указанном "программно-идеологическом" уровне.

И, тем не менее, удивляться приходится не различиям, а сходству (почти тождеству — при учете только что сказанного) идеологических программ. О теме в о с п и т а н и я в "Недоросле" написано достаточно. Она "разыгрывается" и в колоритных сценках обучения Митрофанушки, и в рассуждениях Стародума и Правдина, чаще всего носящих общий характер, но иногда и достаточно конкретных и содержащих важные намеки (ср.: С о ф ь я . Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку. — С т а р о д у м . Какую? — С о ф ь я . Французскую. Ф е н е л о н а , о в о с п и т а н и и д е в и ц . — С т а р о д у м . Фенелона? Автора Телемака? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее,

читай. Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель [...]). Проблема воспитания (и, в частности, образцового воспитания), несомненно, обсуждалась Фонвизиным с братьями Паниными. Петру Ивановичу писатель пишет из Аахена 18/22 сентября 1778 г.: "Воспитание во Франции ограничивается одним учением. Нет генерального плана воспитания, и все юношество учится, а не воспитывается. [...] Итак, относительно воспитания Франция ни в чем не имеет преимуществ пред прочими государствами. В сей части столько же у них недостатков, сколько и везде, но в тысячу раз больше шарлатанства". Ср. также известные переклички между "Недорослем" и "Завещанием Н.И. Панина".

Теме службы дворянина, должности также было уделено много внимания. К сожалению, именно этот животрепещущий, более того — жгучий вопрос нередко квалифицировался как ходульное, "вымученное" резонерство. То, как глубоко и широко была обоснована постановка этого вопроса, какой конструктивный пафос был ей придан и как конкретно и органично увязывались здесь самые разные стороны жизни, как правило, игнорировалось. Но, двести лет спустя, пора по достоинству оценить именно эту, якобы скучную, сторону "Недоросля", перестав противопоставлять ее "реалистическим" бытовым оценкам, изображающим "грубую" жизнь, пора понять ту морально-учительную направленность комедии Фонвизина, как бы предвосхищающую и предсказывающую будущую линию Гоголя, Достоевского, Толстого, наконец, пора увидеть, как много значил для Фонвизина образ Стародума (воспоминания об отце Иване Андреевиче Фонвизине обнаруживают в нем ряд "стародумовских" черт, а Менандр из переводного "Кориона" может уже рассматриваться как отдаленное предвестие этого образа) и что связывалось с ним для автора комедии. Письмо к Стародуму ("Друг честных людей, или Стародум") открывается словами: "Я должен признаться, что за успех комедии моей: *Недоросль*, одолжен я вашей особе.

Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составили я целья явления, кои публика и доньне с удовольствием слушает..." (ср. рассуждения Стародума в "Недоросле" об "истинном государе", как бы возвращающие к проблематике "Сифа"). Пожалуй, только П.Н. Берков по достоинству оценил этот образ, ср. его статью — Театр Фонвизина и русская культура..., 8 и особ. 67 и ср., 79.

В этой новой перспективе замечательна беседа Стародума с Софьей, занимающая все второе явление четвертого действия и в отрывках цитируемая далее:

Софья. Да скажите же мне, пожалуйста, виноваты ли они, всякий ли человек может быть добродетелен?

Стародум. Поверь мне. Всякий найдет в себе довольно сил, чтоб быть добродетельну. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что бы совесть угрызала.

Софья. Кто же остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучитого совесть?

Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть, как друг, всегда остерегает прежде, нежели как судья наказывает.

[...]

Софья. Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, что один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?

Стародум. Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он только что ум, самая безделица. С прегбеглыми умами видим мы худых людей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену ему дает бл а г о н р а в и е [ср. *злонравие* в последней фразе Стародума в "Недоросле. — В.Т.]. Без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает нем какого-нибудь качества с е р д ц а . Ему необходимо все иметь надобно. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек.

Софья. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которое я изъяснить не могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его д о л ж н о с т ь .

Стародум. Д о л ж н о с т ь ! А! мой друг! Как это слово у всех на языке и как мало его понимают! Всечасное употребеление этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует, когда, если б люди понимали его важность, никто не мог бы вымолвить его без душевного почтения. Подумай, что такое должность. Это тот священный о б е т , которым обязаны мы все тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочестии и было бы совершенно счастливо. Д в о р я н и н , например, считал бы за первое бесчестие не делать

ничего, когда есть ему столько дел: есть люди, которым помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было бы таких дворян, которых благородство, можно сказать, погребено с их предками. Дворянин, недостойный быть дворянином! Подлее его ничего на свете не знаю. [...] Друг мой! Что сказал я о дворянине, распространим теперь вообще на человека. У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например, большей частью мужа нынешнего света, не забудем, каковы и жены. О, мой сердечный друг! Теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый, с своей стороны, своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ли быть ужаснее их состояния? Дом брошен. Люди забывают долг повиновения, видя в самом господине своем раба гнусных страстей его. Имени расточается: оно сделалось ничье, когда хозяин его сам не свой. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели [...]. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонаравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа, и жены?

Софья. Боже мой! Отчего такие страшные несчастья!...

Стародум. Оттого, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуют. Дело о том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонаравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина — презнатная особа, что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может [...].

Но и здесь, среди широкого круга нравственных и практических проблем, и в дальнейших рассуждениях Стародума, отчасти Правдина и Милона, на практической поверхности два взаимосвязанных вопроса выделяются как главные, с которых и надлежит все начинать, — воспитание и государственная служба как исполнение своего долга (правда, П.А. Вяземский в своей книге "Фон-Визин" /СПб., 1848, 218/ тонко подметил некоторую странность в повелении Правдина, обращенном к Митрофанушке, — "Пошел-ко служить!"; ему

должно бы было предшествовать другое — "Пошел-ка в училище!"). Но именно эти два вопроса были основными в "программно-идеологическом" плане и для Голдсмита в его комедии, хотя они развернуты с меньшим пылом, сдержаннее и в несколько иной тональности. Как и в "Недоросле", в "Ночи ошибок" более рельефно описанному результату дурного воспитания (Топу Lumpkin) противопоставляется идеальная картина — образ просвещенного молодого человека, готовящегося к исполнению своего долга, к государственной службе. Давая характеристику сыну своего старого друга, сэра Чарлза Марло, Hardcastle, отец дочери, которую он прочит в жены Марло-сыну, говорит: *The young gentleman has been bred a scholar, and is designed for an employment in the service of his country. I am told he's a man of an excellent understanding.* Те же темы так или иначе отражены и в других местах комедии Голдсмита, не говоря уж о других его сочинениях.

Несмотря на несомненную выделенность этих двух вопросов на рассматриваемом уровне, они для каждого из сопоставляемых здесь писателей являются частью (хотя и наиболее существенной) более обширного круга проблем и идей и, следовательно, обнаруживают естественные связи с некоторыми другими частями этого круга. Для Фонвизина в "Недоросле" ближайшим продолжением этих вопросов нужно считать тему нарушения "свободы", деспотического и жестокого обращения "злонравных" дворян со своими людьми. Эта же тема, как известно, живо занимала и Голдсмита (ср. "The Deserted Village" и др.), но в "Ночи ошибок" она, естественно, не нашла отражения (понимание "свободы" так же было несколько различным у Голдсмита и у Фонвизина, как и понимание "образованности"). Зато в комедии Голдсмита существенным продолжением проблемы воспитания является тема излишнего увлечения модами (французскими, столичными), заставляющего забывать о чувстве собственного достоинства, своего рода "низкопоклонства" (ср. диалог отца и дочери в начале пьесы). У Фонвизина в "Недоросле" эта тема отсутствует: Простаковы и Скотинины слишком просты и грубы, слишком погружены в "скотство" собственной жизни и агрессивны по отношению к "чужому", чтобы быть способными к переимчивости даже в такой внешней области, как моды, подражание иным образцам и примерам. Но Фонвизину едва ли и нужно было вводить в "Недоросль" эту тему, которой всецело была посвящена его предыдущая комедия "Бригадир" (к тому же эта тема, так ярко возникшая в русских журналах рубежа 60-70-ых годов XVIII века, продолжала оставаться популярной, хотя и сильно "заезженной", и десятилетие спустя); к датировке "Бригадира" см. П.Н. Берков. К хронологии произведений Фонвизина. — "Научн. бюллет. ЛГУ" 1946,

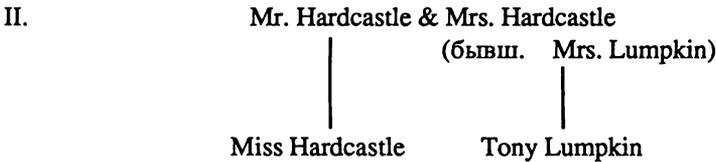
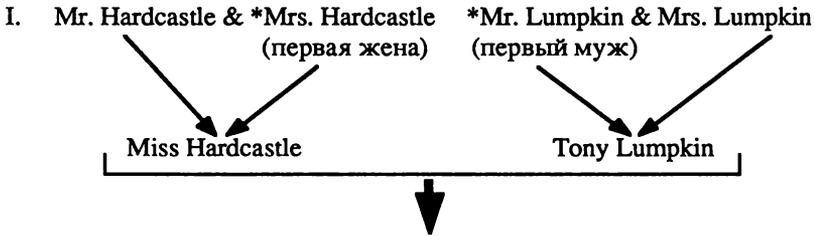
№ 13, 33-36; *ВН. Всеволодский-Гернгросс*. Когда был написан "Бригадир"? — "Известия Акад. наук. Отдел. языка и литер.", т. 15, вып. 5, 1956, 460-463; *Н.Н. Горбачева*. О датировке комедии Д.И. Фонвизина "Бригадир", Л., 1983, сб. 14, 292-303. Более того, в данном случае можно пойти еще дальше, высказав предположение, что к середине 60-ых годов у Фонвизина складывался не вполне отчетливый пока план некоей "суммарной" комедии, так сказать, "протокомедии", из которой вскоре возник "Бригадир", а несколько позже и "Недоросль" (здесь не место развивать и обосновывать эту идею подробнее, но достаточно обратить внимание на связи, существующие между условно "первой" редакцией "Недоросля", как и окончательной, и "Бригадиром" [ср. "общие" или сближенные персонажы — Иванушка, Софья, отчасти Добролюбов — Добромыслов, Милон, Миловид и т.п.], и на бóльшую близость "первой" редакции "Недоросля" к "Бригадиру" [ср. Улита Абакумовна — Акулина Тимофеевна и т.п.]; ср. в отрывке, писанном рукою Фонвизина, озаглавленном "Комедия" и опубликованном в известной книге П.А. Вяземского о Фонвизине, 273-276, такие имена, как *Стародум, Простосерд /: Простаков/*). Эта "протокомедия" впитывала в себя и личные жизненные впечатления, иногда граничащие со сферой "биографического" (ср. известные слова Н.И. Панина автору "Бригадира": "Я вижу, что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо бригадира ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет, или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу"), и впечатления от прочитанного и увиденного в театре. Поэтому общая основа "протокомедии", с одной стороны, все время насыщалась колоритным индвидуально-русским материалом, а с другой, поседователно организовывала себя по образцу "чужих" схем — будь то комедия Голдсмита "Ночь ошибок", или комедия Гольберга, пользовавшаяся популярностью, в частности, во Франции ("Jean de France") и переведенная-перделанная у нас И.П. Елагиным, непосредственным начальником и покровителем Фонвизина.

Комедия "Француз русской" появилась на сцене Придворного театра в сезон 1764-1765 г., почти одновременно с "Награжденной добродетелью", переложением вольтеровского "Вольного дома, или Шотландки", сделанным Б.Е. Ельчаниновым, и незадолго до "Бригадира". Интересна запись Порошина от 17 октября 1765 г.: "Вечеру изволил пойтить в комедию [Павел. — В.Т.] [...] Комедия была "Jean de France", по-русски [...] Большую комедию Государыня очень изволила хвалить, и говорить, что она разве тем только может не нравиться которые в ней себя тронутыми найдут; что в ней все такая правды, которых оспорить не возможно; что перевод весьма вольный и смелый, и приведен на

наши обычаи весьма удачно: переводил Иван Перфильевич Елагин. Особливо Ея Величество чрезвычайно изволила смеяться, как кухарка затянула французскую песню, а французский Иванушка так тем был тронут, что в слезах пал на колени. В нашей ложе сия комедия такой апробации неимела" (см. *С.Порошин*. Записки, служащие к истории Его Императорского Высочества Благоверного Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича, наследника престола Российского. СПб., 1844, 465). Комедия продолжала оставаться в русском театральном репертуаре и значительно позже. Впрочем, русский зритель знаком и с другими версиями оригинала. "Сегодня был в Нем/ецком/ театре. Давали Jean de Paris. Эта опера напомнила мне счастливые минуты моей жизни /.../, — записывает Н.И. Тургенев в дневнике от 26-го декабря 1816 года. Характерно место из письма Фонвизина родным из Парижа в апреле 1778 г.: "Если вы воображали, что мы пленимся чужими краями, то как обманулись! — Со всем тем, я очень рад, что видел чужие края. По крайней мере не могут мне импозировать наши Jean de France". — Связь этой пьесы с "Бригадиром" несомненна (см., в частности, *П.Н. Берков*. Театр Фонвизина и русская культура..., 35; здесь же приводится характерное высказывание Софьи об Иванушке: "русско й фран цуз обыкновенно никого, кроме себя и француз-ов, не почитает...").

Наложение на материал "протокомедии" схемы, заимствованной у Гольберга, способствовало появлению "Бригадира"; знакомство с комедией Голдсмита открыло возможность развить еще один вариант "протокомедии" — "Недоросль". Если сказанное здесь верно, то именно в предполагаемой "протокомедии" уже сочетались друг с другом все перечисленные выше "идеологические" темы — воспитания, государственной службы (дворянского долга), злоупотреблений, французомании, которые в "Бригадире" и в "Недоросле" уже не появляются в такой полноте и целостности. Впрочем, обращение к ранним версиям фонвизинской "протокомедии" поучительно и с точки зрения эволюции драматургических взглядов автора, и с точки зрения сравнительного анализа "Недоросля" и "Ночи ошибок". В условно "первой" редакции "Недоросля" поражает отсутствие персонажа, представляющего собой молодую девушку, будущую невесту (условно — Софья), и эта лакуна едва ли может быть объяснена тем, что текст этой редакции известен не полностью (важно, что в сохранившемся списке действующих лиц указанное амплуа отсутствует). В "Бригадире", напротив, показательно наличие пары Иванушка — Софья (ср. Митрофанушка — Софья в "Недоросле" и Tony Lumpkin — Miss Hardcastle в "She Stoops to Conquer"), причем на уровне "родителей" им соответ-

ствуют две супружеские пары — Бригадир и Бригадирша, Советник и Советница. Эта схема уже отчасти предвосхищает схему комедии Голдсмита и легко могла бы быть трансформирована в нее. Для этого было бы нужно, чтобы Советник, отец Софьи, волоочийся за Бригадиршей, матерью Иванушки, сочетались бы вторым браком друг с другом, и Софья стала бы сводной сестрой Иванушки. Если на основании текста комедии Голдсмита реконструируется следующая схема "перехода":



— то на основании "логики возможностей", вскрываемой "Бригадиром", можно было бы, так сказать, "про-конструировать" не-что сходное:



При этом в обоих случаях "женский X молодой" персонаж связан с будущим женихом (Miss Hardcastle — Marlow-son; Софья — Милон).

Следовательно, "персонажно-функциональная" схема "Бригадира" потенциально уже была чревата конструкцией связей, близко напоминающих схему комедии Голдсмита. Возможно, понимание этой близости, вероятное в случае знакомства (и, следовательно, после него) с "Ночью ошибок", заставило Фонвизина в "Недоросле" отказаться от идеи "сводного брака и, значит, отношений сводного "братства-сестринства" для Митрофанушки и Софьи. Сделать это было легко не только в силу соображений "негативного" порядка (чтобы избежать слишком далеко идущего совпадения со схемой комедии Голдсмита), но и потому, что "сатиричность" в изображении Митрофанушки и Простаковых была столь высокого накала, что ясно обнаружилась их несовместимость с Софьей — ни как с сестрой (пусть сводной), ни как с дочерью. Софья как "женский молодой" персонаж, будущая невеста могла быть спасена только через ее разведение "по родству" с Простаковыми-Скотининными и через мотивировку ее случая н о , по печальной необходимости, присутствия в доме Простаковых.

Все эти рассуждения, легко переходящие при их дальнейшем развитии в область типологии и "логики возможностей", не позволяют, однако, забывать об их исходном пункте — историко-литературной связи существенных элементов "Недоросля" с комедией Голдсмита, в которой, видимо, трудно теперь сомневаться. Во всяком случае сопоставление обоих текстов говорит в пользу именно такой зависимости. Зачеркивает или нет этот факт общепринятый тезис об оригинальности комедии Фонвизина? Ответ на этот вопрос сложен, затрагивает слишком широкий круг вопросов и здесь дан быть не может. Нужно думать, что значение комедии "Недоросль" в литературной и общественной жизни 80-ых годов XVIII века и в истории русской литературы не может быть преуменьшено от обнаружения одного из источников этой пьесы. Но картина того, чем обязана русская литература западноевропейской, к а к о в ы последствия "врожденного свойства душ российских" не только *перенимать*, но и *понимать*, (ср. в соответствующей статье П.А. Плавильщикова из "Зрителя": *Перенимать* значит то же самое делать, что видишь, в том, кому следуешь: в сем действии мысль не объемлет самого существа дела, а схватывает одну только поверхность и тогда человек бывает слепой только подражатель. *Понимать* же значит проникать мыслями во внутренность дела, доходящего до основания и ясно постигнуть умом его существо: в таком случае человек сам бывает творец и может превзойти своего учителя"), г д е ставил Фонвизин для себя границы

между "своим" и "чужим", — существенно обогащается и дифференцируется от учета подобных фактов литературного преемства.

Естественно, возникает вопрос — существовали ли внутренние и внешние основания, условия для знакомства автора "Недоросля" с комедией Голдсмита? Ответ на этот вопрос должен быть, видимо, безусловно, положительным. В самом деле, известен рано пробудившийся у Фонвизина интерес к чтению (в частности, и, может быть, даже прежде всего современной ему литературы на немецком и французском языках) и к театру ("Ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отроду [...] Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно". — "Чистосердечные признания" [здесь позможна неточность: по другим данным, Фонвизин уже в Москве сам выступал на сцене]; в Петербурге Фонвизин посещает русский, французский и итальянский театры, поддерживает дружеские отношения с И.И. Дмитриевским, интересуется французской драматической литературой), пафос познания и активного освоения достижений культуры, заставлявший его уделять особое внимание самообразованию, наряду с гимназическими и университетскими занятиями, увлечение (чуть ли не с детских лет) переводами. Обстановка и в семье и в университете (сначала в гимназии, потом на философском факультете) благоприятствовала развитию этих интересов, и около Фонвизина всегда оказывались люди, дававшие нужное направление его природным талантам (среди них был и приверженец Готшеда профессор университета Рейхель, оценивший дарование юного студента и способствовавший началу переводческой деятельности Фонвизина, ср. *И.Г. Рейхель*. Слово, говоренное по совершении высочайшего коронавания Екатерины Втория о том, что науки и художества процветают защищением и покровительством владеющих особ и великих людей в государстве. Пер. с немецкого [Д.И. Фонвизина]. М., 1762). Переводить он начал очень рано, переводил много, и эта переводческая практика отличалась исключительным разнообразием переводимого материала. Фонвизину было 16 лет, когда вышла большая книга "Басен нравоучительных" Л. Гольберга (М., 1761, 191 стр.), переведенная с немецкого и выдержавшая три издания (всего было переведено им 226 басен). Вскоре он выпускает и другие переводы — политико-дидактического романа Ж. Террассона "Героическая добродетель или жизнь Сифа, царя египетского..." (ч. I-IV. М., 1762-1768), повесть Ж.Ж. Бартелеми "Любовь Кариты и Полидора" (СПб., 1763), "Превращений" Овидия (перевод не дошел до нас), повести Ф.Т. Арно "Сидней и Силли, или Благоедеяние и благодарность. Аглинская повесть" (опубликована позже, в 1769 г.), трактата Куайе "Торгующее

дворянство" (1766), девяти песен "Иосифа" П.Ж. Битобе (М., 1769) и т.п. В 1762 г. Фонвизин переводит трагедию Вольтера "Альзира", а в 1764 г. пишет комедию "Корион", являющуюся переделкой психологической комедии Грессе (некоторые нововведения Фонвизина в этой переделке позволяют представить ряд деталей "протокомедии", о которой речь шла выше). Во всяком случае к 25 годам Фонвизин стал одним из наиболее известных и плодовитых русских переводчиков. Его Переводческая деятельность привлекла к себе внимание (даже перевод "Альзиры", который Фонвизин считал неудачным и не публиковал его при жизни, относя этот опыт к "грехам юности", в рукописи, по словам переводчика, "стал делать много шума"), и она продолжалась и позже, принадлежность некоторых переводов Фонвизину доказана недавно (ср. "Та-Гио" в "Академических известиях" за 1779 г., ч. II, май, 53-101, см. Л.В. Крестова. Из истории публицистической деятельности Д.И. Фонвизина. — "XVIII век". М.-Л., 1958 сб. 3, 480-489), здесь еще раз нужно напомнить то, о чем писал Н.С. Тихонравов в письме во Второе Отделение Императорской Академии наук о плане сборника "Материалы для Полного собрания сочинений и переводов Д.И. Фонвизина": "Только *первые* по времени *переводы* Фонвизина изданы были с его именем [...]; все остальные произведения его появлялись *анонимно* [...]".

Но еще важнее, что Фонвизин был довольно ярким представителем нового направления в русской переводческой практике: язык его переводов был достаточно легкий, динамичен, современен и ориентировался, несомненно, на более широкий круг читателей. Главное же заключалось в том, что подобно Лукину или Веревкину, Фонвизин тоже стал делать переводы, представлявшие собой переложение "чужих" текстов на русские нравы (и уже в 1764 г. в "Корионе" не только изменено само название пьесы в оригинале /"Sidney"/, но и введено упоминание Петербурга и Москвы, появляется "русского" типа слуга Андрей, и делаются другие, менее заметные, поправки применительно к "русским нравам"; в "Бригадире" Фонвизин пойдет по этому пути несравненно дальше).

И по окончании университета, после переезда в Петербург, связь с переводческой деятельностью не только не прерывалась, но крепла; переводы стали профессией Фонвизина. С 1762 г. он переводчик в Иностранной коллегии, которую сначала возглавлял Н.И. Панин, а потом И.П. Елагин, сам подвизавшийся в области перевода. Служивцем Фонвизина по Иностранной коллегии был и В.И. Лукин, ведущая фигура в том направлении переводов-переделок, которое получила название "склонения на русские нравы". В 1765 г. появились "Сочине-

ния и переводы" Лукина (в двух частях), и они, естественно, не могли пройти мимо Фонвизина, хотя отношения между двумя писателями-переводчиками были окрашены в цвета вражды и соперничества (думают, что выпады против Лукина в "Трутне" принадлежат Фонвизину, который, в частности, рассчитывал на разрыв Елагина с Лукиным). Тем не менее, именно в 60-ые годы при Иностранной коллегии складывается узкий круг энергичных переводчиков ("перелогателей") нового типа, выпустивших первые образцы "переложений" и, несомненно, осознававших их теоретические основы и их практическую важность (к этому кругу нужно присоединить и Б.Е. Ельчанинова, служившего в Шляхетном кадетском корпусе; с его именем связаны две комедии "Награжденное Постоянство" и "Наказанная Вертопрашка"). Поездки за границу (первая из них — к Шверинскому двору — состоялась в 1762 г.) и знакомство с тамошней жизнью, в частности, с новой литературой и новыми театральными постановками, расширяли культурный кругозор Фонвизина и вводили в сферу его внимания новые образцы западной литературы и театра. "Переимчивость" же Фонвизина и его умение почти без остатка "склонить на русские нравы" чужой текст в сочетании со всем его богатым предыдущим писательско-переводческим опытом не только не делают странным предположение о "западноевропейских" связях "Бригадира" и "Недоросля", но — более того — позволяют почти с уверенностью говорить об актуальности для Фонвизина этих связей и соответствующих источников на протяжении всего его творчества. Удивляться приходится не наличию этих связей, а предположению о возможности их отсутствия.

И в этом отношении продолжает оставаться верной (хотя и небезошибочной в деталях) общая характеристика Фонвизина под этим углом зрения, данная почти век назад в знаменитой книге Алексея Николаевича Веселовского "Западное влияние в новой русской литературе" (далее цитируется по пятому изданию, М., 1916), вызвавшей немало справедливой критики, но еще больше необоснованных упреков, клеветы и поношений. Помня, что в данном случае основным является тема историко-литературных связей, а не определение степени оригинальности или подражательности, уместно привести то, что говорит о Фонвизине А.Н. Веселовский:

Автора "Бригадира" и "Недоросля" мы привыкли считать оригинальным сатириком. [...] Но, чтобы проверить степень оригинальности его приемов, стоит собрать различные разоблачения сделанных им заимствований; ряд указаний на них, начинающихся еще с двадцатых годов прошлого века [имеется в виду статья в

"Вестнике Европы" 1820, No. 15 — В.Т.], особенно обогащен был исследованием князя Вяземского и библиографическими разысканиями Тихонравова [имеются в виду "Материалы для полного собрания сочинений Д.И. Фонвизина. Посмертный труд Н.С. Тихонравова". СПб., 1894. — В.Т.], и, как увидит читатель, не перестает разрастаться и до сих пор. Целыми периодами черпал Фонвизин свои "наблюдения" над социальным положением современной Франции из книги "Considérations sur les moeurs de ce siècle", 1752 г., из посредственной статейки немецкого журнала "Literatur- und Völkerkunde", отчасти из "Философских мыслей" Дидро; Лабрюйер, Дюкло, Дюфрени, Вольтер, Ларошфуко, даже невинный словарь синонимов Жирана подверглись такому же опустошительному набегу для "Недоросля", и сшивная работа вставлена именно там, где читатель всего скорее ожидает оригинальных комических штрихов, например, в экзамене Митрофанушки из географии, где известный ответ Простаковой взят из вольтеровской повести (Jeannet et Colin). В "Выборе гувернера" одна из остроумнейших выходов заимствована из размышлений Ла-Бомелля; "Корион" предложен на русские нравы из комедии Грессе "Sydney". К этому длинному списку мы прибавим с своей стороны факт влияния на "Бригадира" (и в особенности на обрисовку характера Иванушки) комедии Гольберга "Jean de France", и затем укажем на новый, случайно бросившийся в глаза пример явного плагиата: одно из украшений сатирического журнала "Стародум или Друг честных людей", задуманного Фонвизинным в годы его размолвки с Екатериной и потому неразрешенного администрацией, — Переписка между дедиловским помещиком Дурькиным и Стародумом о приискании учителя для помещичьих детей, — в главных чертах, и даже во многих выражениях, взято из "Сборника сатирических сочинений" любимого в восемнадцатом веке немецкого сатирика Рабенера [Sammlung satyrischer Schriften. Leipzig, 1752, 3. Th., 10-25, Мы имеем в виду две статьи: 1) Schreiben eines von Adel an einen Professor, in welchem einen guten Hofmeister zu wählen gebeten, und gesagt wird, was man von ihm für Fähigkeiten verlange и 2) Antwort des Professors, nebst zwei Taxen von einem geschickten und eilf ungeschickten Hofmeistern [...] ...], с переделкой имен на русский лад, — и все это несмотря на категорическое заявление Фонвизина в предисловии к своему журналу, где говорится прямо, что переводы из сего периодического творения вовсе исключаются", что "ни одно сочинение, где-нибудь напечатанное, в сей книге места иметь не может,

словом, *все сочинения будут совсем новые*". И при том именно те черты сатирической картины, которые мы склонны были бы считать отпечатком русской действительности, — домашняя обстановка помещика, лакейство набивающихся к нему учителей, иронические замечания насчет новой странной моды учить русских детей по-русски, — все это оказывается точным оттиском с немецкой сатиры, рисовавшей прямо с натуры... Если же мы к этим *скрытым* займам прибавим много *явных* переводов и переложений, сделанных Фонвизиним из разнообразных писателей, из Гольберга, Гесснера, Битобе, Арно, Буасси, Вольтера и т.д., и с полной достоверностью предположим, что ненапечатанные вполне или же не отысканные политические рассуждения Фонвизина (о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина) и политический меморандум об ограничении верховной власти, составленный от имени графа Н.И. Панина (для Павла Петровича) и исходивший из основного положения о договорном происхождении правительства, были также построены по иностранным образцам, с частями переводами из них, подобно дошедшему до нас "рассуждению о торгующем дворянстве" (перевод из книги аббата Souyer), то получим точку зрения на нашего писателя, весьма отличающуюся от общепринятой. Богато одаренный от природы, но непостоянный и легкомысленный, плохо образованный и потому способный в лучшие свои годы (по меткому выражению Вяземского), "только что не гласным образом, а отрицательными умствованиями *проповедовать выгоду невежества*" и осыпать в своих заграничных письмах бранью лучших мыслителей Европы, этот человек был обязан западному влиянию вообще и порожденному им в России обновляющему движению лучшими сторонами своей писательской деятельности, всей программой своих сатирических нападок [...]. Степень оригинальности его творчества значительно понижается, и несомненным его достоянием остается бойкий, неистощимо насмешливый ум (способный невзначай создать истинно трагический характер Простаковой), искреннее стремление к роли обличителя, стража общественной совести, много наблюдательности и еще более пересмешичанья, не отступающего ни перед какими излишествами, способного даже издеваться над тем, что создало его как писателя, и вложило в его создание живую душу (81-85).

Пожалуй, как это ни парадоксально, единственное, в чем А.Н. Веселовский определенно не прав, — это как раз недооценка роли

"чужого" в формировании "своей" культуры. Оказывается, что иногда это "чужое" составляет наиболее эффективный язык для описания "своего", служит его катализатором. Фонвизин был, конечно, менее "добросовестен" и аккуратен, чем Лукин, и более дерзок, чем он, в своих "необъявленных" захватах, иногда, действительно, граничащих с плагиатом, но зато Фонвизину быстрее, полнее и лучше удалось сократить этот разрыв между "чужим" и "своим", и в конечном счете он оказался тем победителем, которого не судят. И еще одно соображение в оправдание Фонвизина: в 60 - 70-ые годы XVIII века пришло осознание очень большого разрыва между уровнем развития европейской и русской литературы, и понадобилась титаническая деятельность Новикова и Типографической компании, с одной стороны, дерзость Фонвизина и культуртрегерская программа Карамзина, с другой, чтобы к рубежу двух столетий разрыв был существенно сокращен, и, главное, обозначились очертания нового периода в освоении западной литературы в России, связанного с такими именами, как Жуковский и Батюшков.

Все сказанное до сих пор позволяет с надежностью включить (хотя бы потенциально) и имя Фонвизина в историю русской Goldsmithiana'ы. Разумеется, что многое еще предстоит выяснить и уточнить. В частности, особое значение имел бы ответ на вопрос о том, каким образом Фонвизин мог познакомиться с комедией Голдсмита. Ясно, что это могло произойти в отрезок времени между выходом из печати "Ночи ошибок" и началом 80-ых годов, когда шла работа над известной нам редакцией "Недоросля", приблизительно между 1773-1774 и 1780 гг. Практически же этот отрезок должен быть сокращен еще более. Наиболее вероятным представляется знакомство Фонвизина с "Ночью ошибок" в 1778 г. во время его пребывания в Париже (с февраля) во время второго заграничного путешествия. Фонвизин вместе с женой прожил здесь несколько месяцев, живо интересовался новостями литературы, театра, политики (он встречался с Даламбером, Мармонтелем, Тома, Франклином и др., неоднократно видел Вольтера, посещал Французскую Академию и Академию наук). В письмах к родным из Парижа немало новостей о французском театре и наиболее известных актерах. В этой обстановке Фонвизин скорее всего и мог познакомиться с французским переводом комедии Голдсмита — "Elle s'abaisse pour vaincre" (также — "Elle s'abaisse pour triompher", "Les méprises d'une nuit" — другие варианты названия), а может быть, и с постановкой ее на парижской сцене. Конечно, нельзя исключать и возможность знакомства с комедией в панинском кургу (конституционализм Н.И. Панина делал для него актуальным ряд черт английского полити-

ческого и общественного устройства, в частности, и состояния воспитательного дела, которому в известной степени и посвящена комедия Голдсмита). Этими приблизительными соображениями приходится пока ограничиться.

-
- * О сем позорище мает быть ты и не слышал, живучи в стране, о театре нимало не пекущейся, и я согрешил бы пред тобою, не уведомив тебя о том, что сведения всякаго человека, пользу общественную любящего, достойно. Со второго дня Святыя Пасхи открылся сей театр; он сделан на пустыре за Малою Морскою. Наш низкия степени народ толь великую жадность к нему показалл, что оставя другия свои забавы, из которых инья действием не весьма забавны, ежедневно на оное зрелище сбирался. Играют тут охотники, из разных мест собранные, и между оными два-три есть довольно способностей имеющие, а склонность чрезмерную. Сия народная потеха может произвесть у нас не только зрителей, но со-временем и писцов, которые сперва хотя и неудачны будут, но в следствии исправятся. Словом, я искренно тебя уверяю, что сие для народа упражнение весьма полезно и потому великия похвалы достойно.
- ** Сим именем называется начальник всех таковых комедиантов.

Приложение VI.

Голдсмит в России в 40-ые годы.

В настоящей работе обсуждаются вопросы русского голдсмитианства, не выходящие за рамки пушкинской эпохи. Но в истории знакомства с Голдсмитом и освоения его наследия это лишь первые страницы. На них выступают очень немногочисленные фигуры, благодаря деятельности которых голдсмитианство укореняется в России. Круг читателей Голдсмита в это время известен, главным образом, лишь в верхнем, самом литературно искушенном слое, но в любом случае весь этот круг был довольно узок.

Контрастны по отношению к этим годам "первоначального" знакомства с Голдсмитом сороковые годы, определившие отношение к английскому писателю на полтора-два десятилетия. Эти годы характеризуются самым значительным в истории русской голдсмитианы ростом интереса читателей к английскому писателю, своего рода взрывом, открывшим путь к нему широкому кругу уже не только дворянского, но и разночинного читателя. В эти годы Голдсмита не только усиленно переводят, но и интересуются его жизнью, его личностью. На почве проблем его творчества завязывается полемика (по сути дела) о нравственных основах его мировоззрения и об оценке его произведений (прежде всего "Векфилдского священника"). Зато русские писатели, исключая, пожалуй, Дружинина, в своем творчестве не обнаруживают, кажется, следов усвоения наследия Голдсмита. Поэтому целесообразно кратко обозначить период 40-ых годов в истории русского голдсмитианства.

Разумеется, и в 30-ые годы XIX в. имя Голдсмита время от времени (но в целом очень редко) появлялось на страницах русской печати. Так, в 1830 г. появляется русский перевод "An Elegy on the Death of a Mad Dog", включенной в роман Голдсмита (Chapter XVII), см. М.В. Элегия на смерть бешеной собаки: (Из Гольдсмита). — В кн.: Подснежник на 1830 год. СПб., 1830, 57-59. Перевод (подписан — М.В.) принадлежит одному из первых и наиболее значительных русских переводчиков английской литературы (но не только английской) Михаилу Павловичу Вронченко (1801 или 1802-1855). Перевод был сделан значительно раньше, о чем свидетельствует сохранившаяся тетрадь с переводными и оригинальными стихотворениями Вронченко, относящимися к 1821-1824 г. и оставшимися неопубликованными кроме, видимо, одного, именно голдсмитовского (ИРЛИ, 19453/СХХХ б.1). См. Ю.Д. Левин. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода.

Л., 1985, 28-29. Для своего времени перевод этой "Элегии" был большим достижением: простой естественный язык, легкий стих, достаточная точность в отношении к подлиннику делают его удовлетворительным и с современной точки зрения. Перевод именно этого стихотворения был рассчитан, несомненно, на определенный вкус (юмор, анекдотичность, некоторая парадоксальность) и на уже изменяющуюся читательскую аудиторию. Ср.:

Элегия на смерть бешеной собаки (из Гольдсмита).

О люди добрые! моей
Внемлите повести не ложной
Не можно быть ее простей,
Но и короче быть не можно.

Был человек собаке друг;
Но мирно живши с ним полвека,
Взбесилась собака вдруг
И укусила человека.

Жил человек, (не помню где),
Он в рай прямую знал дорогу,
Все будни провождал в труде,
А в праздники молился Богу,

Соседи собрались толпой:
Помочь хотел больному всякой
И все шептали меж собой,
Что овладела дурь собакой.

Он друга, недруга любил;
Счастливым вместе веселился,
С несчастным вместе слезы лил
И с бедным, чем лишь мог, делился.

Все думали: спасенья нет!
И в общем решено совете,
Что без сомнения сосед
Не проживет трех дней на свете.

Жила собака. Сих зверей
Везде мы много видим сами:
Борзых, и мосек без ушей,
И пудлей с длинными ушами.

Но суд их был, как видно, лжив:
Судьба назначила инако,
И человек остался жив,
А умерла — увы! собака.

М.В.

(ср. сходство интонаций и некоторых ходов с известным стихотворением Жуковского "Максим", 1814, напечатанным, однако, только в 1864 г. в "Русском архиве").

Другой пример упоминания Гольдсмита связан как раз с критическим откликом Н.А. Полевого на выход в свет "Баллад и повестей" Жуковского. Подчеркивая мысль о том, что у всех переводимых им поэтов Жуковский искал и находил свое и что этим отчасти объясняется некое единство его переводов, критик писал: "Одна мысль, одна идея занимает нашего поэта: ее берет он без разбора из Уланда, Шиллера, Гете,

Байрона, Гебеля [...]. Переберите романсы и песни, большею частью переведенные Жуковским, — одна и та же мысль, одна и та же мечта [...]. Разные вариации из Бюргера, Монкрифа, Гольдсмита, Шиллера, все на одну тему — тоску любви, тихую радость, жертву любви, свидания за гробом" (Московский телеграф 1832, ч. 47, No 19, 377; No 20, 539). См. Ю.Д. Левин. Указ. соч., 19, ср. 17.

Но подлинный взрыв интереса читающей публики к Голдсмиту датируется серединой 40-ых годов XIX в., когда знакомство с переводами Диккенса, Теккерея и других английских прозаиков привело к своего рода моде на английский роман, прежде всего в более демократической и, следовательно, более широкой среде. Впрочем, Голдсмита продолжали в это время читать и по-французски и, следовательно, в более узком кругу. Говоря о дороговизне сочинений Жуковского, нередко не позволяющей читателю приобрести их, Белинский пишет: "Тот же читатель заходит мимоходом во французскую лавку; видит, между прочим, парижское компактное издание — "Oeuvres complètes de Sterne". — "Oeuvres choisies de G o l d s m i t h . Nouvelle édition, ornée de huit vignettes, revue et augmentée de notices biographiques et littéraires par Walter Scott, traduits par M. Francisque Michel". Развертывает — издание красиво, изящно; виньетки названы — прекрасный гравированный портрет Стерна и семь прекрасных гравированных картинок. Что стоит? *Десять рублей*. Если б и не нужно было этой книги, нельзя не соблазниться, не купить, хотя бы под опасением быть обвиненным в пристрастии к лукавому Западу и в равнодушии к российской словесности [...]" (см. В.Г. Белинский. "Стихотворения В. Жуковского". — Отечественные Записки. 1844, т. XXXVII, No 11, отд. VI = Полное собр. соч., т. 8, М., 1955, 346). Но описанная ситуация характеризует скорее уже иссякающую традицию, чем возникающее новое положение вещей. Переводить и издавать английские романы стало не только интересно, но и выгодно ("теперь хороший английский перевод с удовольствием везде возьмут", — считал один из самых плодовитых переводчиков английской литературы и горячих ее пропагандистов Иринарх Введенский, как свидетельствует об этом А.П. Милюков, вместе с Введенским изучавший английский язык, см. А. [П.] Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, 66-68). Количество переводчиков с английского и переводов увеличилось многократно по сравнению с предыдущим периодом. И чисто познавательные и коммерческие интересы шли рука об руку. На повестку дня стало "открытие" новых (или забытых и малоизвестных публике) английских романов. На этом пути не могли не вспомнить и о Голдсмите, прежде всего, конечно, о его знаменитом романе. Читатель, уже в той или иной степени подготов-

ленный и ценящий именно "Englishness", впервые принял Голдсмита близко к сердцу. Именно с середины XIX в. можно говорить об усвоении этого писателя русским читателем, получившим возможность достаточно обстоятельно познакомиться с жизнью писателя. На книгу Вальтер Скотта о Голдсмите отзывается в 1846 г. В.Н. Майков (О Гольдсмите и его творениях [Вальтер Скотт]. СПб., 1846. — "Отечественные Записки", т. 47, 1846, No. 7, 64). В том же журнале появляется заметка того же критика о переводе "Векфилдского священника" (No. 6, 58-61). В следующем году (1847) издается перевод романа Голдсмита /сделанный А. Огинским/, "с присовокуплением сведений о жизни и творениях автора, заимствованных Вальтер Скоттом из сочинения Приора").

Среди наиболее заметных (или, по меньшей мере, существенных) век можно назвать работу И.И. Введенского над переводом "Векфилдского священника", начатую летом 1845 г. (считают, что это был, возможно, первый его опыт в переводе с английского). Нет сведений о том, был ли закончен этот перевод, но издан он не был ни полностью, ни частично. Возможно, что Введенский опоздал со своим переводом. В 1846 г. в Петербурге вышел новый (на этот раз с английского) перевод "Векфилдского священника", выполненный Яковым Гердом. В 1847 г. выходит в свет уже названный другой перевод романа, сделанный с английского А. Огинским, и появляется ряд значительных работ о Голдсмите, в центре которых стоял разбор романа "Векфилдский священник". Среди них особого упоминания заслуживают три — анонимный критический разбор романа в "Современнике" (1847, No. 11; автором разбора был А.Д. Галахов, сообщивший об этом позже в своих воспоминаниях, см. Исторический вестник, 1886, No. 11, 323-324); статья И.И. Введенского, посвященная разбору "Outlines of the English Literature" Т. Шоу (Shaw, или Ша у Введенского) и опубликованная в "Библиотеке для чтения" (1847, т. 83, No. 8, отд. 5, 58 и сл.); и, наконец, отзыв Белинского о "Векфилдском священнике" (1847 г.) Сформулированные в этих работах оценки романа Голдсмита весьма характерны — как в своих позитивных, так и негативных частях. Введенский называет роман "превосходным" и подчеркивает, что "очаровательный характер самого героя, его жены, дочерей, художественно обрисованные подробности скромной семейной жизни, теплое и нежное чувство, растворенное игровой веселостью, — все это делает книгу до того увлекательною, что читаешь ее с истинным наслаждением". Вместе с тем сюжет романа казался ему малоинтересным, и за такой характеристикой сюжета легко угадываются

и более серьезные претензии литератора, свидетеля зарождения в русской литературе "натуральной школы".

Эти претензии более остро и детально были сформулированы Белинским, который, однако, тоже был тронут романом как "поэтической картиной прошедшего времени, воспроизведением отживших идеалов блаженства", ср., напр.:

"Теперь предстоит надобность в человеке трезвом, бодром, деятельном, который бы смотрел на вещи прямо и любил бы землю, жилище наше и наших потомков на долгое время [...]. Трудно даже решить, отчего больше проигрывает общество: от злобы ли злых людей, или от равнодушия, тупости, неповоротливости [...] людей, по природе добрых, которые ни рыба, ни мясо [...]. Люди, воспитанные в школе векфильдского священника принадлежат или к ничтожным существам, вредным своим учением, отчужденным от всего здорового и действительного. Исчислим главные их свойства: леность и беспечность при всяком действительном труде; погружение мысли в фантастические занятия, крайне благоприятные ленивой натуре; удивительное равнодушие ко всякому порядку общественному — благому и тягостному; довольство собственной особой, вложенное от природы, а не купленное заслугами, не вытекающее из благородного сознания достоинств; оптимистическое воззрение на мир, которое крайне покровительствует апатии, производит застой и противодействует каждому успеху; пассивная жизнь или прозябание, доверенность к слепой судьбе и недоверенность к разумному движению человечества, неумение смотреть на предметы прямо, выводить из них необходимые следствия, анализировать их истинные основания, и пр. и пр. Многие из этих свойств обнаруживаются почти в каждой главе гольдсмита творения".

Судя роман с узких позиций своего времени и своей "партийной" программы, Белинский, естественно, не мог почувствовать того главного в романе, что определило его место в истории английской литературы и ввело его в круг великих произведений мировой литературы. По сути дела, роман Голдсмита был изъят русским критиком как из диахронического ряда, так и из синхронного роману контекста. "Литературоведческая" ошибка не позволила критику пробиться к сфере высших и единственно подлинных смыслов романа, которая была глубоко прочувствована Гете, познакомившегося с "Векфильдским священником" в чтении Гердером немецкого перевода

романа. Понимание Белинским этого произведения Голдсмита, по сути, является настолько "антигетеанским", что отзыв Гете о романе оказывается ценным не только сам по себе, но и в связи с позицией Белинского и значительной части поколений 40-ых и 60-ых годов, и поэтому заслуживает хотя бы частичного воспроизведения:

Ein protestantischer Landgeistlicher ist vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Idylle; er erscheint wie Melchisedek als Priester und König in einer Person. An den unschuldigsten Zustand, der sich auf Erden denken läßt, an den des Ackermanns, ist er emistens durch gleiche Beschäftigung, sowie durch gleiche Familienverhältnisse geknüpft; er ist Vater, Hausherr, Landmann und so vollkommen ein Glied der Gemeinde. Auf diesem reinen, schönen, irdischen Grunde ruht sein höherer Beruf; ihm ist übergeben, die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu sorgen, sie bei allen Hauptepochen ihres Daseins zu segnen, sie zu belehren, zu kräftigen, zu trösten und, wenn der Trost für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Zukunft heranzurufen und zu verbürgen. Denke man sich einen solchen Mann, mit rein menschlichen Gesinnungen, stark genug, um unter keinen Umständen davon zu weichen, und schon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten kann; geben man ihm die zu seinem Amte nötigen Kenntnisse, sowie eine heitere, gleiche Tätigkeit, welche sogar leidenschaftlich ist, indem sie keinen Augenblick versäumt, das Gute zu wirken — und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Zugleich aber füge man die nötige Beschränktheit hinzu, daß er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einem kleineren übergehen möge; man verleihe ihm Gutmütigkeit, Versöhnlichkeit, Standhaftigkeit, und was sonst noch aus einem entschiedenen Charakter Löbliches hervorspringt, und über dies alles eine heitere Nachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler — so hat man das Bild unseres trefflichen Wakefield so ziemlich beisammen.

Die Darstellung dieses Charakters auf seinem Lebensgange durch Freuden und Leiden, das immer wachsende Interesse der Fabel, durch Verbindung des ganz Natürlichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen, macht diesen Roman zu einem der besten, die je geschrieben werden; der noch überdies den großen Vorzug hat, daß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne christlich ist, die Belohnung des guten Willens, des Beharrens bei dem Rechten darstellt, das unbedingte Zutrauen auf Gott bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Böse beglaubigt, und dies alles ohne eine Spur von Frömmelei oder Pedantismus [...].

[...] Gedachtes Werk hatte bei mir einen großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Übereinstimmung mit jener ironischen Gesinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Unglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt und so zu Besitz einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewußtsein kommen, genug, es machte mir für den Augenblick viel zu schaffen; keineswegs aber hätte ich erwartet, alsbald aus dieser fingierten Welt in eine ähnliche wirkliche versetzt zu werden.

("Dichtung und Wahrheit", цит. по кн.: Goethes Werke. Neunter Teil. Hrsg. von Karl Alt. Berlin — Leipzig — Wien — Stuttgart [s. a.], 363-365).

Наконец, стоит указать еще одну работу, венчающую русскую "Goldsmithiana'y" 40-ых годов, — статью "Галерея замечательных романов. II. Векфильдский Священник. Роман Оливера Гольдсмита", появившуюся без подписи в "Современнике" (1850, т. XIX, No. 2, отд. IV, 41-80 = А. В. Дружинин. Собрание сочинений. Т. 5. СПб., 1865, 47-86), но принадлежащую перу А. В. Дружинина, одного из лучших русских прозаиков того времени, большого поклонника и знатока английской литературы, выступавшего и как литературовед, критик и переводчик. Эта статья была для своего времени лучшим, наиболее полным и квалифицированным описанием романа Гольдсмита.

Имя Белинского в ней ни разу не названо, но ряд мест, несомненно, полемичны по отношению к его высказываниям, — начиная от начального общего положения, что труд биографа Гольдсмита "легок и приятен. Анализ и сочувствие — вот два качества, необходимые для него, имея их, он может смело приниматься за свою задачу" (47-48), и до заключительного (правда, открыто связываемого лишь с немецкими критиками Гольдсмита, но этой связью, бесспорно, неисчерпываемого) вывода о "литературных судьбах", которые "давно уже пользуются исключительною привилегиею смотреть на вещи сквозь призму собственных своих философских убеждений и, что еще хуже, своей задорной нетерпимости к чужим мнениям". И далее —

"По нашему личному сознанию, нетерпимость составляет погибель критика, особенно в деле изящной словесности, и мы твердо убеждены, что, давая отчет публике о каком-нибудь знаменитом творении [...], критик должен забыть свою личность и свои убеждения, затем, чтоб на некоторое время жить жизнью автора и тем вернее знакомить своих читателей с

правами, понятиями и требованиями того времени. [...] по нашему мнению, каждый этюд по поводу такого произведения должен иметь целью не разрушение славы, которым оно пользуется, а объяснение причин этой славы. [...] предлагая нашу статью о "Векфильдском Священнике", мы просим читателей откинуть светские и философские предрассудки, а смотреть на знаменитый роман так, как смотрели на него литераторы и деревенские джентельмены времен Оливера Гольдсмита" (85-86).

Отчасти подобная полемичность обнаруживается и в "позитивных" частях статьи. Ср.:

"Причины, поставившие роман Гольдсмита "Векфильдский Священник" в разряд самых народных и любимых произведений, были трех родов: происходящие от высоконравственного направления сочинения, потом от чрезвычайной его краткости и общей доступности и, наконец, от неоспоримых совершенств книги в чисто литературном отношении" (78)

— и дальше — о "сердечном простодушии" автора, о том, что "выше всех других достоинств сочинения действует на душу тихий и патриархальный колорит, которым оно проникнуто..." (84). Также полемичным является и высказывание Дружинина о том, что "все стихи Шатобриана не стоят "Покинутой Деревни" или одной главы из "Векфильдского Священника" (84), но оно предполагает другого адресата. — Интерес к жизнеописаниям писателей у Дружинина обнаруживается и позже, но взгляды на сделанное им в этой области меняются. В дневниковой записи от 30 июня 1854 г. говорится: "Наука писать биографические этюды так шагнула вперед, что все это кажется детской работой. [...] Я утвердился в мысли писать о Смоллете, но прежде надо прочитать многое. Я стыжусь своего Гольдсмита и Ричардсона, которые когда-то нравились читателям. "Скотт" и еще более "Джонсон" [...] отчасти выкупают этот грех моей юности. См. *А.В. Дружинин. Повести. Дневник. Издание подготовили Б.Ф. Егоров, В.А. Жданов. М., 1986, 304 (ср. там же, 387: о заметке Гольдсмита, приписываемой Талейрану, из записей 1856 г.)*.

В 60-ые годы о Гольдсмите в русской печати говорят уже как о старом знакомце, как о некоем типе писателя, изображающего ушедшую в прошлое красоту идиллической английской жизни. Нередко оттенок иронии сопровождает упоминание этих картин. Так, возможно, именно Гольдсмита имеет в виду Достоевский в "Зимних

заметках о летних впечатлениях" ("Время" 1863, No. 2, отд. I, 289-318; No. 3, отд. I., 323-362): "Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных, белокурых дочерей с голубыми глазами" (см. *Ф.М. Достоевский*. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том пятый. Л., 1973, 73, 369).

В конце XIX в., в 90-ые годы внимание снова было привлечено к роману Голдсмита, в короткий промежуток времени пятикратно (четырежды в Петербурге, однажды в Москве) изданному в русском переводе — в 1890 (перевод И.В. Майнова), в 1893 (перевод З.Н. Журавской и перевод Елизаветы и Екатерины Бекетовых, упоминаемый Блоком в своей "Автобиографии", см. Собрание сочинений. Т. 7. М.-Л., 1963, 9), в 1897 (новое издание перевода Я. Герда), в 1899 (третье иллюстрированное издание). Тогда же появляются первые переводы комедии Голдсмита "She Stoops to Conquer" ("Победила!", пер. Г. Райс, — "Изыщная литература", 1884, No. XI; "Вечер с приключениями", пер. А. Веселовского, — "Артист", 1894, No. 40).

В последние десятилетия трижды издавался новый перевод "Векфилдского священника" (пер. Т.М. Литвиновой — 1959, 1972, 1978), появились новые переводы комедии ("Ночь ошибок", пер. и обработка А. д'Актиля. Л.-М., 1939; "Ночь ошибок", пер. Н.С. Надеждиной. М., 1954). В 1974 г. вышел в свет первый перевод "Гражданина мира", сделанный А.Г. Ингером (М., Наука. Литературные памятники), перевод одного отрывка из этого сочинения был сделан более 200 лет назад, см. Приложение V. В последние годы опубликован ряд литературоведческих работ о Голдсмите. Из них ср. *Б.А. Кузьмин*. О Голдсмите, о Байроне, о Блоке. М., 1977 и др.

Приложение VII.

К русской "англomании" начала XIX века.

Почти любой эпизод рецепции Английской литературы в России в начале XIX века должен учитывать тот очень большой сдвиг к "английскому", который произошел в высшем русском обществе в это время и захватил самые разные сферы. "Английское" стало модным и в литературе, и в садовом искусстве, в оформлении интерьера, в одежде, в туалете, в методах обучения (ланкастерская система) и т.п. Моден стал английский язык, английские знакомства, английский юмор, отчасти терминология и фразеология английской социально-экономической и политической литературы. Результаты этого увлечения были, бесспорно, положительны: именно в это время русская культура непосредственно встретилась с английской и были заложены основы все более крепнущих культурных связей. Пребывание в России Камерона, Аткинсона, Гулда, Доу осталось небесспорным (Доу в своих портретах генералов 1812 года как бы раскрывает модель "англизации" разных типов русских лиц, усвоенную и рядом русских портретистов; хорошо известно, чем был обязан Воронихин Камерону и Англии). Разумеется, были и многочисленные издержки, проявлявшиеся в более или менее внешней форме и вызывавшие в России же иронию, насмешку, сатиру, впрочем, почти всегда лишённую подлинной резкости (ходячая формула, объясняющая слишком многое, чтобы быть верной, — *англичанин гадит* — появилась позже, в николаевскую эпоху). Во всяком случае англomания была не только новым, но и весьма заметным явлением русской жизни.

Русская литература более позднего времени (за редкими исключениями) уделила достаточное внимание образу первых русских англomанов и выработала довольно однообразный стандарт описания этого типа. Характерно и достаточно точное хронологическое приурочение становления этого типа, иногда подкрепляемое "предисторией" и эволюцией англomанства ("сползание" к русским привычкам). Обращают на себя внимание многочисленные *loci communes* в описании англomанов. Ср., напр.:

Что за люди! топ шер! Без дльних я историй

Скажу тебе: во-первых, князь Григорий!!

Чудак единственный! нас сб смеху морит!

Век с англичанами, вся а н г л и й с к а я с к л а д к а ,

И так же он сквозь з у б ы г о в о р и т ,

И так же к о р о т к о о б с т р и ж е н д л я п о р я д к а —

у Грибоедова ("Горе от ума") — при сходных мотивах (остриженность, чудачество, произношение сквозь зубы [ср. уже у Карамзина: "Так труден Английский выговор [...]. Кажется, что у Англичан рты связаны или на отверстие их положена Министерством большая пошлина: они чуть, чуть разводят зубы, свистят, намекают, а не говорят. Вообще Английский язык груб, неприятен для слуха, но [...]". — "Письма русского путешественника", <151> и т.п.) в описании Ивана Петровича Лаврецкого у Тургенева ("Дворянское гнездо", 1859), воспитывавшегося в детстве на "французский манер":

"Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну — все в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом. Но — чудное дело! превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, по крайней мере он называл себя патриотом хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. [...] Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень был недоволен всем, что видел, — отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь [...].

Между тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках [...], а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более, чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя [...]. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился; здоровье ему изменило. Вольнодумец — начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец — стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек — сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником; человек с закаленной волей — хныкал и

жаловался, когда у него вскакивал веред, когда ему подавали тарелку холодного супу".

Вторая часть описания этого англomана в значительной степени совпадает с тем, что говорится о другом англomане этого же времени Дружининым ("Обрученные", 1857):

"Владислав Сергеевич Мережин родился за границей, где отец его провел почти всю свою жизнь по делам службы [...]. Покойный отец его был великим англomаном, почти не умел говорить по-русски, и — странное дело для человека старых времен — стыдился этого последнего обстоятельства. При жизни своей он часто посылал сына в Россию, держал при нем русских гувернеров, всеми мерами заботился о сохранении святой связи между юношей и его родиной, но, к сожалению, достиг своей цели лишь до некоторой степени".

[К "английской" манере речи ср. еще у Достоевского: "Наш генерал поражен ужасно, и ему очень хотелось бы узнать подробности. Милорд знает подробности и довольно обязательно уже промямлил сквозь вставные свои зубы две-три пары слов, впрочем не глядя на генерала и неизвестно кому говоря" ("Маленькие картинки /в дороге/"). Милорд — русский, "высокий, худошавый, с сильною проседью джентельмен, лет уже примерно пятидесяти шести или семи, и независимо усевшийся почти на самом проходе на пароходном складном стульчике, решительно спиной к публике, и через борт лениво и беспредметно смотрящий на воду. Всем известно, что это такой-то, камергер и щеголь в прошлое царствование, и хоть не бог знает какого значения теперь, но зато самого высшего круга барин, проживший много в своей жизни денег и что-то очень долго скитавшийся в последнее время за границей. Он одет даже несколько и небрежно [...] но осанка самого безукоризненного русского милорда и даже почти без примеси французского парикмахера, что уже одно составляет совершенную редкость в настоящем русском англичанине. У него на пароходе два лакея, а с ним собака сеттер удивительной красоты" (ПСС 21, 170-171). Ср. к восприятию английской речи: "Манера англичан и англичанок мямлить и искать слов может на нервного человека действовать прямо убийственно" (см. П.Д. Боборькин. Воспоминания. Т.1. М., 1965, 451). Число подобных характеристик легко умножить].

Но ведь и Григорий Иванович Муромский, несмотря на его "английскую дурь" ("[...] уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал

проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе [...]), "был настоящий русский барин".

От этого наивного англоманства начала XIX в., как правило, бескорыстно-чудаческого и поэтому вызывающего у его описателей добродушную, слегка ироническую улыбку, сильно отличается как рафинированная аристократическая англомания начала века (ср., напр., графа С.Р. Воронцова и его сына М.С. Воронцова и соответствующий "англизированный" тип внешности, отраженный, в частности, и в русской портретной живописи начала XIX века), так и чиновное, столичное англоманства, начавшее входить в моду после царствования Николая I: "С получением важной должности, образ жизни их принял размеры более широкие. Появились английские привычки и английская складка: даже достойный Виктор Петрович, всю жизнь свою сидевший сиднем, начал ездить в известные часы по Летнему саду, на очень долгоногой и куцой лошади" (Дружинин. "Прошлое лето в деревне" /1862/, о чиновнике по особым поручениям при министерстве Викторе Петровиче Краснопольском).

Институализация "англоманства" как формы определенного социального поведения как раз и отмечается важным процессом рекрутирования "англоманов" из природных "сидней", обратным "сползанию" с годами англоманов начала века и превращению их в "сидней". С 70-ых годов XIX в. типология "англизированных" форм жизни и ее носителей в русском обществе становится более разветвленной и специализированной, и литература (от "Анны Карениной" до Кузмина и Набокова) дает в этом отношении богатый и разнообразный материал.

Впрочем, не следует забывать, особенно в связи с темой английских литературных связей Пушкина, что особая мода на английское появилось с воцарением Александра I. "Англомания" в этом случае исходила с самого верха — от царя, его соратников по "негласному комитету", ряда лиц из его непосредственного окружения. Это явление отражено и в серьезных исторических исследованиях царствования Александра I (Н.К. Шильдер, великий князь Николай Михайлович и др.), и в мемуарной литературе. Выразительно характеризует это явление Вигель в своих "Записках". Ср.:

"Всех старше если не летами, то чином был граф Кочубей, родной племянник умершего канцлера князя Безбородки. [...] Ничего не пошадив на его воспитание, в самых молодых летах

отправил он его в лондонскую миссию, к искусному дипломату, посланнику нашему графу Воронцову на выучку. [...] Перед соотечественниками ему [Кочубею. — В.Т.] было чем блеснуть: он лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских публицистов [...].

Другой сообщник в важном предприятии был [...] Чарто-рышский. ... Чтобы сойтись с другими любимцами царя, надобно было ему притвориться а н г л о м а н о м , что ему небольшого стоило [...].

Третий соучастник был двадцатидевятилетний Павел Строганов [...] С трудом могли его извлечь оттуда [из Парижа во время революции. — В.Т.] и перевести в Лондон, где глазам его представлялось другое зрелище. Там увидел он блестящий призрак свободы, коим искусный деспотизм лордов тешил народ, и еще более пленился, и молодой русский лорд долго еще потом тешился Англией [...].

Он [П.В. Чичагов. — В.Т.] также в душе был англичанин, в Англии учился мореплаванию и женат был на англичанке. [...] Суровость моряка, в соединении с надменностью англичанина, сделала его потом ненавистным для русских [...].

Всех старее летами и, конечно, всех выше умом был Николай Николаевич Новосильцев. [...] Англия совершенно обворожила его; в ней только могла утолиться жажда его к познаниям, как и всякого другого рода его жажда. Так увидел он, что великий разврат не мешает быть великим человеком, и, кажется, Фокса взял он себе за образец. Отчизну портера и эля, где не рождаются, а льются мадера и портвейн, где опрятность и роскошь у самых грубых наслаждений отнимают все, что есть в них отвратительного, сию землю втайне сердца избрал он своим отечеством [...].

И вот люди, которые, едва достигнув зрелости, хотели быть опукунами России и брались ее перевоспитывать. Нет сомнения, что они не могли бы иметь такого успеха, если б сам царь не имел склонности подражать всему английскому [...], в первые годы александрова царствования Англия была нашею патроншей [...] (Ф.Ф. Вигель. Записки, 150-154). И даже о будущем "франкофиле" Сперанском:

"В одеянии, в образе жизни старался он прилаживаться к господствующему вкусу. К счастью его, был он женат на девице Стивенс, дочери бывшей гувернантки в доме графини Шуваловой; он ее лишился, но сохранил много из навыков ее земли. Например, тогда уже завтракал он в одиннадцать часов, и завтрак

его состоял из крепкого чая, хлеба с маслом, тонких ломтей ветчины и вареных яиц. Он не знал по-английски; умел, однако же, говорить маленькой дочери своей [...]: *my dear, my pretty child, my sweet girl*" (там же, 157).

О Мордвинове: "Политический сей мечтатель, с превыспренними идеями, с ложными понятиями о России и ее пользах, должен был естественным образом сойтись в мыслях с молодыми законодателями. К тому же и он был женат на англичанке Кoble, говорил и жил совершенно по-английски. Но не более трех месяцев пробыл он морским министром. Он вообразил себе, что у нас подлинно парламент; мнения, им подаваемые, были столь смелы, что через два года после Павла показались даже мятежными, и он должен был оставить место [...]" (там же, 159; во время войны 1812 г. Вигель неожиданно встретил Мордвинова в Пензе: "Передо мною был человек не с большим лет шестидесяти, невысокого роста, одетый с изысканною опрятностью, в черном фраке не нового покроя, с расчесанными и на обе стороны распущенными белыми волосами, с чрезвычайною живостью во взорах, с удивительною приятностию в голосе, что-то напоминающий собою Вакефильдского священника: передо мною был прославившийся в государстве Николай Семенович Мордвинов)."

Эта идущая сверху мода (в известный период, 1802-1807 гг., она совпадала с ориентацией внешней политики России, многое определявшей и во внутренних делах: министерство, управлявшее государственными делами в эти годы, было прозвано "английским", см. там же, 279), а иногда и независимые и глубокие убеждения (Батеньков в одном из своих показаний заявил, что читал сочинения госпожи Сталь о французской революции и был проникнут "величайшим уважением к английской конституции и совершенной ненавистью к конституции 1791 г.", см. Письма Г.С. Батенькова., 15-16; под влиянием этих идей Батеньков сделался горячим поборником двухпалатной системы и родовой аристократии как основы верхней палаты; в круг его чтения входили "Тристам Шенди", видимо, "Сентиментальное путешествие", Байрон; среди его книг — "Опыт о морали" Юма, Бентам, Адам Смит и др.; ср. на другом уровне гоголевского Варвара Николаевича Вишнепокормова, приехавшего к Тентетникову, "чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состояния финансов в Англии"), конечно, в

известной мере затрагивали и ту часть культурного дворянства, которая была связана с французской культурой и, строго говоря, не испытывала сколько-нибудь серьезной потребности в переориентации. Характерным представителем этого слоя был дядя Пушкина, поэт и "галломан" Василий Львович. Можно думать, что его посещение Англии во время заграничного путешествия 1803-1804 гг. объясняется не только желанием следовать Карамзину, но и распространяющимся в русском обществе "английским" поветрием. Такой партизан последней моды, как В.Л. Пушкин, едва ли мог не откликнуться на ее зов. Отчасти как дань этой моде нужно рассматривать и приобретение во время путешествия английских (наряду с французскими и латинскими) книг, привезенных в Москву, где они и сохранялись до пожара 1812 года. См. *И.Н. Трубецкн*. Из поездки Василия Львовича Пушкина за границу. — В кн.: Пушкин и его современники. Вып. XIX-XX. СПб., 1914, 239-269. Можно также напомнить, что В.Л. Пушкин был автором стихотворения "Сельский житель. Подражание" (8-го января 1804; напечатано — "Друг Просвещения" 1804, ч. I), представляющего собой изложение-перевод отрывка из поэмы Томсона "The Seasons"; в качестве эпиграфа приводятся четыре английских стиха, с которых, собственно, и начинается затем перевод: *Oh, knew he but his happiness, of men, / The happiest he! who far from public rage, / Deep in the vale, with a chosse. Few retir'd / Drink the pure pleasures of the Rural life!* Отдельные образы "Сельского жителя" откликнутся позже в стихах племянника, см. ниже. Вообще "английское" не всегда исключало "французское", и в ряде случаев складывались определенные типы их дифференциации в разных сферах поведения. Так, о П.А. Вяземском мемуарист пишет: "С ними [женщинами. — В.Т.] только был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами — холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский и гуляка" (Вигель. Записки. II, 31).

Но представление об англomanии начала XIX века (и — шире — об образе англичанина и Англии в русской среде) было бы неполным без хотя бы самого краткого обозрения более широкого спектра русского общества. В нем должны найти отражение и английские знакомства и связи столичной "золотой молодежи" (ср. англичанина-моряка Стивенса и дерзко-безрассудное пари с ним Долохова в игорном обществе в доме Анатолия Курагина / "Война и мир", т.1, ч. 1, VI), и "англофильство" грубого бурбона и хвастуна генерала Измайлова с его диким разгулом и потехами ("По его мнению, они тем были хороши и безупречны, что, имели, будто бы, чисто русский характер, а он недаром хотел быть и слыть всегда "истым русским баринoм". Ничего "заморского", ничего утонченного он не жаловал [...] Любил он только

простые, исконно русские потехи [...] Не жалуя все заморское, он и из европейских народов уважал только одних англичан, которые, — как говаривал он, — «хотя и торгаши, однако лихой народ; из-за торговли своей не забывают же, как надо борьбу вести с Бонапартом, и ведут ее без усталы бодро и весело». Нравились ему тоже английские эксцентричности, а особенно страсть англичан к пари. Так, и он был готов биться об заклад из-за всего, хоть бы из-за того даже, кто дальше плюнет... [см. Словутинский — "Генерал Измайлов и его дворня"], и предрассудки провинциального губернского чиновничества ("Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно, странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что дескать Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой разумеется Наполеон! Смотри-мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку и вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков"; ажиотаж, связанный со слухами о Чичикове, привел даже к тому, что "показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда"), и достойное и глубокое уважение к английской культуре в сочетании со следованием заветам русской старины. Лишь об одной фигуре придется напомнить здесь. Речь идет о Василии Ивановиче Киреевском, отце Ивана и Петра, владельце села Долбина в сорока верстах от Оптиной Пустыни. Описатель последней сообщает, что "при всей своей добродетели В.И. был большой оригинал: он был англофил, занимался химией и медициной [...]. Любил читать лежа на полу и мало заботился о своей внешности..." (И.М. Концевич. Оптина Пустынь и ее время. Нью Йорк, 1970, 203). И далее: "Его образованность надо признать редкою для его времени: он знал 5 языков, любил естественные науки, имел у себя лабораторию, занимался медициной и довольно успешно лечил; на смертном одре он говорил старшему сыну о необходимости заниматься химией, и называл ее «божественной наукой». Он много читал, и знания его, говорят, были очень многосторонними. Пробовал он писать, и переводил повести и романы и даже сам сочинял. Он был англоман — любил английскую литературу и английскую свободу. Вместе с тем был очень набожен, ненавидел энциклопедистов и скупал в Москве сочинения Вольтера с тем, чтобы жечь их. Свой дом он вел строго по заветам старины; занятия химией и англоманство нисколько не поколебали в

нем патриархального духа и не заставили с пренебрежением отвернуться от народного быта; напротив, он сохранил во всей силе ту близость усадьбы с народом, тот открытый приток народного элемента в господскую жизнь, который отличал помещичий быт старого времени" (Там же, 228-229).

Особая тема — влияние английского масонства в России. И тоже лишь один пример. Как известно, Батеньков был одним из основателей ложи "Восточного светила на востоке Томска" (1818 г.). Она работала по английской системе на русском языке. Этот опыт позже высоко оценивался Батеньковым. С ним он связывал двукратное избавление от верной смерти — после тяжелейшего ранения в 1814 г. и жестоких душевных страданий в крепости, "пока не отсекся от всего внешнего и не обратился внутрь самого себя". И далее: "Тогда я воспользовался методом масонов к обозрению и устройству представшего мне нового мира. Таким образом укрепил себя и пережил многократные нападения смерти и погибели" (масонские воспоминания Батенькова в кн.: А.Н. Пыпин. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. Пг., 1916, 468). Из вставки, известной по другим источникам, видно, как усваивался Батеньковым английский парадоксализм в этой области: "Ипотезы, парадоксы, софизмы, сочетание слов, не связующихся в логичное "предложение", сарказмы и проч. Все это принимается, как неизвестные, неопределенные, иррациональные, мнимые в математике, и могут, как приметы, приводить к результатам чрез сочетание с известными, обращаясь в функцию простую или трансцендентальную [так! — В.Т.]. Большая задача переступить через впечатление, произведенное словом смерть" (Там же, 546).

Тема смерти также имела свой английский вариант в русской транскрипции греевой "Элегии, написанной на сельском кладбище". Следы ее были достаточно многочисленными, о чем писалось в другом месте. Но наряду с этим появляются эпитафии на английском языке на могилах отдельных представителей высшего слоя русского общества (обычно на Смоленском евангелическом кладбище). Так, в усыпальнице Чичаговых три эпитафии: одна адмиралу Василию Яковлевичу Чичагову (1726-1809), другая адмиральше Екатерине Петровне Чичаговой (1737-1791), обе на русском языке, третья на английском — Елизавете Чичаговой. На фронтоне мавзолея надпись: "My Bliss for ever I have buried here the 24 of July. 1811. P. *Chechagoff*". Внутри — беломраморный барельеф Чичаговой; ниже — скульптурная композиция из двух сердец — черного и белого; на первом: "Poorest P[aul]", на втором: "My only treasure". Еще ниже — скорбно склоненная мужская фигура, в полу-

опущенной руке книга с надписью "My Journal 1809. E.C." На гранитной плите, образующей фон, высечено:

Ceaseless Sorrow
Elisabeth

O! The tender ties close twisted with the fibres of the heart,
Which broken, break them and drain of the soul
Of human joy, and make it pain to live,
And it then to live when such friends [are] far,
Tis survivor dies

(см. *Великий Князь Николай Михайлович*. Петербургский Некрополь. Т. 4 / С-Н/. СПб., 1913, 489). Об англоязычных эпитафиях петербургских англичан — в другой работе автора.

Интерес к Англии возникал несколько позже и в том круге лиц, которые группировались вокруг "Библейского Общества" (Александр Тургенев был его секретарем и директором департамента духовных дел), были читателями "Журнала Императорского Человеколюбивого Общества" (учрежден в 1817 г., I-III) и интересовались религиозно-нравственными и филантропическими проблемами, получившими специфическую окраску именно в Англии. Об этом круге Пушкин знал прежде всего, конечно, от А.И. Тургенева, над занятиями которого, видимо, нередко иронизировал (ср. "Тургеневу" /Тургенев, верный покровитель.../, 8 ноября 1817 г., одно из первых послелицейских стихотворений). Более того, сам Пушкин осенью 1817 г. по приглашению А.И. Тургенева оказался участником вечера "соединения исповеданий" по случаю трехсотлетия Реформации, на котором были и английские миссионеры, лютеранские священники, реформатские пасторы, проповедники и т.д.

Следует напомнить и о филантропической и специально воспитательной деятельности англичан, в частности, "квакерш", начиная с 30-40-ых годов XIX в. В "Юдоли", написанной по воспоминаниям раннего детства и голодных годов на Орловщине, Лесков рассказывает о той помощи, которую оказывали больным и голодающим крестьянам квакерша Гильдегарда и "тетя Полли" /Пелагея Дмитриевна/, и о впечатлениях, поразивших его детскую душу:

"Они пели "cantique" на текст "приходящего ко мне не изгоню вон" (Иоанна VI, 37), и слова их песни перед звездами (в русском переводе) были таковы:

Таков как есть, — во имя крови,

За нас пролитой на кресте,
 За верой, зреньем и прощеньем,
 Христос, я прихожу к тебе.

Я был поражен и тихой гармонией этих стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл дружественных слов песни пленил мое понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость оттого, что всякий человек *сейчас же*, "таков как есть", может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства. И мне казалось, что как будто, когда *они* тронулись к нему "за верой, зреньем и прощеньем", и *он* тоже шел к ним навстречу, он подавал им то, что делает иго его благом и бремя его легким...

О, какая это была минута! я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом, и свет этот плывет сюда прямо со звезд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, и затем озаряет внутри меня мое сердце, а в то же время все мы — и голодные мужики и вся земля — несемся куда-то навстречу мирам.

О, если бы за все скорби жизни земной еще раз получить такую минуту при уходе из тела! Этот вечер, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снегом житейской зимы, кажется, имел для меня значение на всю мою жизнь ("Юдоль", — Собр. соч., т. 9. М., 1958, 298-299).

И в статье «О "квакерах" (Post-scriptum к "Юдоли")», написанной в ответ тем, кто сомневался в столь раннем появлении квакresh в России, Лесков еще раз подтвердил сказанное, ссылаясь на свой личный опыт:

"Так как в "Юдоли" я сообщаю воспоминания, касающиеся только моего родственного круга, то для оправдания себя лично я почел бы достаточным сказать, что по отношению к протестантам мы в своем родственном кругу были в особых, сближающих условиях, так как одна из моих теток была замужем за англичанином, и все мы (тогдашняя молодежь) выросли в уважении к верованиям и благочестию родственного нам английского семейства, в котором наши старшие нередко ставили нам, молодым, на вид образцы деятельной христианской жизни, послужившие нам во многом примерами. Мне кажется, одной этой ссылке было бы довольно, чтобы читателю стало ясно, как в семью нашу проникал немножко дух английской религиозности и почему живая душа тети Полли [...] нашла облегчение и попутный ход

к свету в содружестве такой женщины, как описанная мною молодая и очень красивая квакерша Гильдегарда Васильевна, которую тетя Полли встретила случайно, быстро ее поняла и оценила, а потом страстно к ней привязалась и часто называла ее своею "крестною матерью" [...] («О квакереях»). — Собр. соч., т. 9, 314-315; и дальше об английских обитателях "Шкотовского дома" в Леонтьевском переулке, в Москве, откуда по всей России разъезжались англичанки-воспитательницы). Правда, сын писателя все-таки считает возможным назвать "тетю Полли" "полуапокрифичной", а англичанку Гильдегарду — "еще менее достоверной", см. *Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям.* М., 1984, т. 1, 68.

Можно добавить, что англичанки-подвижницы, сделавшие много доброго для русских людей и для России и достойные столь же доброй и благодарной памяти, нередко подвергались слежке, изоляции, преследованиям, — еще хуже была судьба ранних последователей квакерской "ереси" среди русских. Уже с первой половины XVIII в. они ссылались в Сибирь, заключались насильственно в монастыри (ср. томский Девичь-монастырь), но и там они "имели большое влияние на религиозные понятия тогдашних [...] обывателей" (т. 9, 317), как отчасти и редстокисты 70 — 80-ых годов XIX в., о которых, кстати, также писал Лесков. Образ смешной нелепой "гувернантки-англичанки", сложившийся позже в русской литературе, частично связан с представлениями об этих более ранних их предшественницах. В заключение "квакерской" темы уместно напомнить о заметке "О первых Аглинских Квакерах", появившейся (в переводе с франц. Н. Дементьева) в "Новых Ежемесячных Сочинениях" за 1789 г. (ч. 40, 63-66).

В 60-ые годы XIX в. редет круг людей, помнивших англomанию александровской эпохи или принадлежавших к числу ее приверженцев. В 1864 г. умирает Александр Васильевич Дружинин, самая характерная в этом отношении фигура среди русских литераторов. "Он умер еще совсем не старым человеком (сорока лет с чем-то), но смотрел старше, с утомленным лицом. Он и дома прикрывал ноги пледом, "полулежа" в своем обширном кабинете, где читал почти исключительно английские книжки, о которых писал этюды для Каткова, тогдашнего Каткова, либерала и англomана" (*П.Д. Боборькин. Воспоминания*, т. 1, 194). Многие эксцентричности в его поведении и манере держаться были окрашены в английские цвета и сродни тем чудачествам развлекающих путешествия Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам" (1850). Нужно отдать должное Дружинину: в николаевской России, среди столичной молодежи он заметил и засвидетельствовал новый тип

"альтернативного" поведения, упущенный другими писателями. "Английская" подкладка этого поведенческого типа с его "парадоксально-абсурдистским" акцентом несомненна и в целом напоминает поведенческую программу некоторых из обэриутов (Хармс).

Именно в эти 60-ые годы эстафета англomanии и сопутствующих ей явлений переходит к новому поколению, и англomanия приобретает несколько отличный оттенок, вырабатывая, правда, в довольно еще примитивном виде, тот комплекс английского воспитания и культа английского, от которого уже не так далеко до тех более совершенных форм, которые неоднократно описывались Набоковым в воспоминаниях о своем детстве и своем отце. Это промежуточное звено достаточно точно и не раз, не без иронии, *cum grano salis* описано Софьей Ковалевской и в ее художественной прозе и в воспоминаниях. Описывая русские элементы своей жизни в детстве, она не забывает и о существенно ином:

"Зато гувернантка внесла в нашу семью совсем новый элемент. Хотя она воспитывалась в России и хорошо говорила по-русски, но она вполне сохранила все типические особенности англосаксонской расы: прямолинейность, выдержку, умение всякое дело довести до конца. Эти качества давали ей громадное преимущество перед всеми домашними, которые все отличались совсем противоположными свойствами, и ими объясняется то влияние, которое она приобрела в нашем доме.

Поступив к нам, все ее старания стали клониться к тому, что бы устроить из нашей детской род английской nursery, в которой она могла бы воспитывать примерных английских мисс. А бог ведает, как трудно было завести рассадник английских мисс в русском помещичьем доме, где веками и поколениями привились привычки барства, неряшливости и "спустя рукава". Однако благодаря ее замечательной настойчивости она все же до известной степени добилась своего. [...] По английской манере меня каждое утро обливают водой [...].

Самый размер стихов производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи. Но гувернантка моя это занятие не одобряла; у нее в уме сложилось вполне определенное представление о том здоровом, нормальном ребенке, из которого потом выйдет английская примерная мисс, и сочинение стихов с этим не вяжется. Поэтому она жестоко преследует все мои стихотворные попытки [...]

Главное же богатство нашей библиотеки состояло в массе старых английских романов, преимущественно исторических, в которых действие происходило в Средние века, в рыцарский период. Для сестры моей эти романы были настоящим откровением [следует напомнить, что сестра, привыкшая к полной свободе, не поддалась воспитательным "английским" принципам — В.Т.]. Они ввели ее в неведомый ей до тех пор чудесный мир и дали новое направление ее фантазии" (*С.В. Ковалевская. Воспоминания детства* /1890/. — В кн.: *Воспоминания и повести. М., 1986, 54-59, 84*).

Эта традиция иронического описания английской гувернантки, подчеркивания смешных или странных черт, известного подсмеивания и поддразнивания началась значительно раньше (ср. ключницу-англичанку *мисс Шорт*, которую все дворовые и домашние звали *мисс Черт*, в повести Николая Полевого "Эмма" /1834 г./) и продолжалась у целого ряда писателей (в их числе и Чехов), иногда с сочувствием и симпатией. К теме гувернантки Ковалевская возвращается в своей "Нигилистке", опубликованной уже посмертно, в 1892 году. Но здесь, описывая чету Баранцевых, родителей Веры, она дает и почти сатирический образ оголтелого англомана, попавшего в имение и мечтающего о перестройке губернской жизни по "английскому" плану:

"И Михаил Иванович и Марья Дмитриевна были в восторге от произведенного ими в губернии впечатления, и оба вполне прониклись важностью своей, так сказать цивилизаторской миссии. Граф произнес даже на одном официальном обеде спич о значении английской *gentry* и о желательности, чтобы русские помещики превратились в *landlord'ов* [...] Дом Баранцевых был всегда открыт для гостей. Обед был поздний, по-городскому, и все домашние были обязаны переодеваться перед обедом, как водится у англичан. За русской закуской подавалась не простая очищенная, а английская горькая. [...] В детских баранцевского дома росли и развивались три барышни на попечении двух гувернанток, из которых одна, *m-lle Julie*, была высокая, очень живая и разговорчивая брюнетка, а другая *m-me Night*, — почтенная вдовца со строгим монументальным лицом обрамленным крупными седьми буклями" ("Нигилистка", — Там же, 143-144).

Возвращаясь к более раннему времени и к пушкинскому (в частности) кругу, нужно отметить еще одну сферу, в которой "английское" пользовалось значительным престижем. На рубеже 10-ых — 20-ых го-

дов XIX века, в частности, и в пушкинском кругу, складывается особая разновидность радикализма, высоко ценящая английские гражданские и политические "свободы", образующие резкий контраст с русскими условиями жизни; об Англии начинают думать как об убежище: "Я тебя сегодня во сне встретил в Лондоне. Пойдет ли сон в руку. Сплю и вижу, как бы пуститься по белому свету и выпрягаться из упряжки. Нельзя всегда думать так, а поступать иначе [...]. Не только словом, но и молчанием, и бездействием потакать не хочу ненавистному ходу вещей и в списке ливреи быть гнушаюсь", — пишет Вяземский А.И. Тургеневу из Варшавы 4 января 1820 г., см. Остафьевский архив князей Вяземских. II. Переписка П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым 1820-1823. СПб., 1899, 2 (No. 256). Разумеется, ни этот круг, ни предыдущий, строго говоря, не может быть отнесен к англomanскому слою, но приверженность "английскому" (в различной его трактовке) остается существенной характеристикой этого круга.

Но еще интереснее, что в эти годы было обращено внимание на Англию и "английское" и в купеческом сословии, причем интерес был не "престижного" характера, а по существу. В одном из своих произведений ("Внук русского миллионера. *Листки из моих петербургских воспоминаний.*" — "Современник". 1858, No. 7) И.И. Панаев описывает визит к деду рассказчика, знатному человеку, генералу, богатого и пользующегося заслуженным уважением купца, привезшего с собой девятилетнего внука:

— "Я привез к тебе внука своего показать, ваше превосходительство, — посмотри, какой он у меня славный мальчик: это мой наследник. Познакомь его с твоим внуком, — пусть они побалуют, позабавятся вместе. Ведь он у меня ученый: по-французскому уж болтает, по-английски учится. Я не жалею денег на его воспитание, — хочу, чтобы он все науки прошел; хочу потом послать его в Англию, во Францию — пусть все видит, пусть научится на месте, как там у них коммерция идет. [...] Ты не думай, чтобы я прочил его в дворяне, чтобы то есть эдакое у меня помышление было втайне. Оборони господи от этого! Он должен оставаться в своем, в торговом сословии! нам в чужие сани не след лезть, а для коммерции-то наука, еще, чай, важней, чем для дворянства. Правду ли я говорю, ваше превосходительство?"

Все это еще раз подтверждает разнообразие мотивов, определявших уже в начале XIX века интерес к "английскому".

В заключение этого раздела уместно процитировать заметку А.С. Хомякова об Англии и английском воспитании, опубликованную в "Русском Архиве" за 1881 г. (Год 19ый, кн. 2, No. 3, 38-40), т.е. много лет спустя после смерти автора. Эта малоизвестная и почти никогда не упоминаемая заметка возвращает нас сразу к нескольким важным темам — Англии, английскому воспитанию, английской литературе, сути английского характера и английской культуры в широком смысле (об "английскости"), к пониманию всего этого комплекса русским самосознанием. То, что говорит здесь Хомяков, сказано открыто, в широкой перспективе, с подлинной заинтересованностью и доброжелательностью. Эти слова, может быть, из числа лучшего и наиболее глубокого и справедливого из того, что было сказано в России об Англии и "английском". Поэтому напоминание о них здесь особенно уместно:

Давно уже Англия занимает одно из первых мест между Европейскими государствами и обращает на себя невольное внимание других народов; давно уже известны всем и ея торговля и особенности ея государственных учреждений; но долго никому в голову не входило проникнуть в тайники ея внутренней жизни. В конце прошлого столетия, начала она завоевывать мир своею словесностию, по милости Немцев, которые стали ревностно изучать ея великого Шекспира. В начале нынешнего века, она продолжала это завоевание по милости своих современных литературных деятелей, которые дали совершенно новое направление искусству и отчасти исторической науке. Еще позже, ежедневно возрастающая сила Англии и ея решительное первенство в смысле политическом и промышленном заставили глубже изучить общественные основы ее внешних сил и внутренние начала, умственные и духовные. Наконец, с недавнего времени особенное внимание обращено на ея воспитание, которым эти силы, питаются и передаются от поколения к поколению.

Действительно, Англия отличается во всем от прочих народов Европы. Она — страна передовая, страна постоянных нововведений, за которыми не угонится подражание; она же и страна сохраненной невьирающей старины. Тут куются пушки, перед которыми все прежние орудия обращаются чуть-чуть не в карманные пистолеты; на Темзе стоит железная гора, которая будет бегать по морям, провозя в утробе целые поселения; строятся фабрики, в которых все осововершенствования науки перешли в промышленную практику; составляются в громадных размерах союзы мелких капиталов или труда, обещающие новую эру жизни народной; дикая сила собственности обуздывается требованиями человеческой нравственности; города растут с волшебною быстротою; поля учетверяют свою плодородность; люди удлинняют

свой век, как будто им вовсе не скучно [так! - В.Т.] жизнь на земле; наконец, Европеец, проезжая в ея пределы, как будто уходит на целое столетие вперед от своего отечества. А тут же законы Норманского завоевателя цитуются, как власть имущие, парламентом и судебными присутствиями; французския слова звучат при коронации королей и подписываются под их правительственными велениями; воспитанники многочисленного училища ходят по улицам Лондона с непокрытыми головами и в странном наряде последних Саксонских королей; средневековая шапочка и мантия отличают студента университетского; шерстяной мешок служит почетным сидением для первого из государственных сановников: словом, антикварий ходит как будто в своей знакомой, давно уже везде умершей старине.

Странная земля! Она как-то догадалась, что только то охранительно, что движется вперед и только то прогрессивно, что не отрывается от прошедшаго. — Другие страны Европы подчинились законам химическим и механическим: Англия одна живет по физиологическому закону.

Эта своеобразная жизнь являлась в своем начале, в воспитании, и потому Английская система воспитания совершенно разнится от всех других. Оно представляет в себе общие черты самой страны, и не даром Прусский король сказал, любуясь Оксфордом: "Как все здесь ново, и как все здесь старо"

Чем любопытнее и самостоятельнее человек, тем любопытнее и поучительнее его автобиография и все его собственные отзывы о себе. Правда, он часто может ошибаться на свой счет и даже ложно понимать свои собственные побуждения; но самыя ошибки его полезны для тех, которые его изучают. В правде, им высказываемой и даже в его самообольщениях, узнаются такие стороны его жизни и сознания, которых со стороны нельзя угадать. Что сказали мы о людях, тоже самое должно разуметь и о народах. Такова причина, почему Русская Беседа, против своего обыкновения, помещает статью ученаго и истаго Англичанина о воспитании в Английском университете.

Русская Беседа не берет нисколько на себя ответственности за общую мысль автора, а еще менее за ея подробности; но уверена, что статья, здесь помещаемая, должна быть читана со вниманием и может внушить читателю много новых и полезных мыслей. Какия бы ни были странности Английского воспитания, они поучительны. Когда плоды так добры, самое дерево, дающее их, конечно чего-нибудь да стоит. Очевидно, что система Английская во многом совершенно противоположна той системе, которая преобладает в других землях. Которая лучше? Этого мы не беремся решить. Но если бы нам следовало опре-

делить разницу между ними, то мы назвали бы систему обще-европейскую системой *учительной*, а Английскую — *воспитательной*. - А.Х.

Читая эти слова, естественно припомнить и отрывок Чаадаева, относящийся к концу 20ых годов, в котором намечены оба полюса русского "освоения" Англии и "английского" - отталкивание в начале и радость постижения в итоге: "Иностранец, очутившись в Англии без предуведомления, без всякого приготовления прежде, чувствует, что все пружины многосложной машины, составляющей наружную жизнь англичан, неприязненно его отталкивают. Нет мысли для деления: движение необъятное, вот все, что предстоит ему везде, симпатизировать не с чем. В Англии одна действующая мысль является наружу; мысль рассудка, мысль спокойная хранится в святилище связей семейных или во внутренности души, там только можно найти ее. - Но и там, сблизясь с этим хранилищем, странное смешение застенчивости и многосторонней общительности, характеризующее английский ум, долго отчуждают пришлеца. - Когда же вы поселились однажды в недрах древней Англии, когда кроткая приязнь, наслаждение симпатии окружают вас отовсюду и заменят всю скуку первого приема; когда вам удастся, наконец там, посреди английского семейства, на зеленой лужайке красивого загородного дома, под тенью прекрасных дубов и кленов, - удастся произнести слово *home*, как говорит его прирожденный житель, тогда, не знаю, но мне кажется, что без сожаления изгладится из памяти воспоминание об отечестве, хотя бы это отечество была дорогая наша Россия!" (П.Я. Чаадаев. Статьи и письма. М., 1989, 163).

Приложение VIII.

Страничка из ранней истории русского байронизма
(Жуковский и Пушкин: первое знакомство с Байроном).

В связи с дальнейшей творческой эволюцией Пушкина важно подчеркнуть, что одними из ранних "видимых" знаков наступления эпохи русского байронизма можно считать опубликование первых переводов нескольких отрывков из лирики Байрона и, может быть, особенно появление в "Вестнике Европы" за 1818 г. (май, ч. ХСІХ, No. 9, 33-52) статьи под названием "Обозрение нынешнего состояния Английской литературы", представляющей собой извлечение из женевского журнала "Bibliothèque universelle" (переводчик обозначен — Пер. У.), который был авторитетным для русской публики источником сведений по новейшим западным литературам (тогда же, в частности, был опубликован в "Вестнике Европы" обзор современной немецкой литературы). Перевод этой статьи и его появление в журнале, который в это время еще был основным периодическим изданием, безусловно и притом по горячим следам читаемым Жуковским, Пушкиным, Вяземским и другими писателями и читателями этого и близкого ему круга, конечно, лишь с оговорками могут быть отнесены к фактам "русского" байронизма. Статьи такого рода нередко оставались без отклика и публиковались издателями не столько в силу читательской потребности в них, сколько на всякий случай, так сказать, впрок. Но эта статья, несомненно, была не только замечена, но и живо, творчески воспринята. Перевод и выход ее были, бесспорно, своевременными, и по ней можно хорошо судить, что узнал русский читатель и прежде всего читатель-поэт о Байроне, чем мог привлечь его английский поэт. Поэтому здесь позволительно процитировать довольно обширный фрагмент этой статьи (в частности, и кажущуюся сейчас парадоксальной общую часть об английском менталитете, своего рода теоретическую преамбулу, объясняющую многое в дальнейшем изложении "материкового" европейского взгляда на английскую литературу):

"Англичанам почти совсем неизвестна потребность блистать остроумием (esprit), разливающим столько приятностей в обществах французов; Англичане не имеют на своем языке даже слова, которое в точности выражало бы сие понятие. Может статься, по той же причине у них нет и слова скуки (ennui), сей нравственной болезни, которой виною бывает излишнее, ненасытное желание беспрестанно занимать работою ум свой и воображение.

Из сего видно, почему Англичане не знают ни цели, ни надлежащей меры. Когда они рассуждают о каком-либо предмете, то никак не воображают себе, что есть пределы разговору сего рода, и что без них он может сделаться крайне утомительным. Их так называемое wit есть слишком тяжелое оружие для легкой благопристойной шутки. Вообще их способ шутить имеет в себе нечто грубое; и если остроумию их удастся иногда блеснуть счастливой мыслию, то она вдруг теряет половину своей прелести от излишнего распространения. Им вовсе неизвестно, сколь часто и сколь много успех в таких вещах зависит единственно от намека, от искусственной неопределенности и темноты в выражении" (37-38).

И далее, коснувшись творений Радклиф, Вильяма Годвина, мисс Байлей, которая "в драматическом роде отличается", и некоторых других сочинений и авторов, составитель обзора переходит к английской поэзии, к тем строкам, которым было суждено привлечь к себе преимущественное внимание будущих русских "байронистов":

"Что касается до стихотворений, важных и легких, Англия может хвалиться великим изобилием. Свойство языка смелого, живописного и свободного, столько благоприятствует опытам, что самые посредственные головы непрестанно подвизаются на сем литературном поприще. Всякой может писать гладкие стихи с рифмами и без рифм, хотя бы не имел даже понятия о том, в чем состоит истинная Пoesия.

Между тем два необыкновенных человека показали в сем роде отличнейшие успехи. Вот как отзывается об них один неизвестный писатель: "Два превосходных Поета возбудили в Англии живейшую любовь к своему искусству, и одни теперь разделяют все внимание, все похвалы публики. Оба одарены сильным воображением и богатством мыслей, оба единственно следуют врожденному чувству изящного, отвергая другие правила. Впрочем, между ними ничего нет общего. "Стихотворения" Лорд *Бейрона* (Вугон) отличаются каким-то мрачным колоритом. Он долго путешествовал по Востоку и потому в сочинениях своих везде ищет случая представить разительную картину противоположности между благодеяниями попечительной Природы и опустошительным действием деспотизма. Даже в его описаниях человека всегда приметна наклонность изображать первобытную возвышенность души, униженной и подавленной мятежными страст-

ями. Он равно Философ и Поет; стихотворения его столько же отличаются прелестями благозвучия, сколько и своим внутренним глубоким смыслом. Талант его имеет в себе весьма много оригинального, необыкновенно разительного и блестящего; но сей блеск утомителен, и Пoesия его оставляет какое-то тягостное чувство в душе читателя.

Другой Поет *Валтер Скотт*, родом Шотландец, обладает, напротив, даром занимать воображение своих читателей самым живым и приятным образом [...] (41-42).

"Невидимые" или, по крайней мере, глубоко завуалированные, кажущиеся иногда случайными и/или периферийными знаки, отыскание и восстановление которых в связи с темой "Пушкин и Байрон" (или даже — английская литература) особенно важно, оказываются во многих случаях более реальными и существенными, поскольку они принадлежали более интимному пласту отношений, так или иначе отрывому и для Пушкина. В этом контексте приобретают значение и присылка Блудовым Жуковскому летом 1819 г. английского текста байроновского "Мазепы", и чтение его Александром Тургеневым и И.И. Козловым, и тогда же написанное варшавское письмо Вяземского с призывом к друзьям изучать Байрона — "Что за скала, из которой бьет море поэзии!", и чуть более позднее высказывание в письме от 25 февраля 1821 г. А.И. Тургеневу — "Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием на притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими" (см. Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2 [вып. 1], СПб., 1899, 170-171), и многое другое.

На этом первом этапе Пушкин еще отстает от тех нескольких своих современников, которые первыми донесли до России взволнованные вести о Байроне и его творчестве или даже успели уже сделать первые опыты в переводах Байрона на русский язык. Уже, видимо, в июле - августе 1819 г. Батюшков сделал вольный перевод (кажется, с итальянского) строфы 178 из четвертой песни "Странствований Чайлд-Гаролда" — *Есть наслаждение и в дикости лесов...* (напечатано в "Северных цветах на 1828 г.", 23). Известно, что Батюшков заинтересовался Байроном, оказавшись в 1818 г. на дипломатической службе в Италии. В письме от 7 января 1820 г. А.И Тургенев сообщает Вяземскому смысл письма, полученного из Италии от Батюшкова: "Итальянцы, как и вы же, висяне и невяне, переводят поэмы Байрона и читают их с жадностью [...]. Это сок письма Батюшкова. Следственно от севера до юга восхищаются Байроном" (Остафьевский архив, т. 2, 5; см. также

К.Н. Батюшков. Полное собрание стихотворений. М.-Л., 1964, 318-319: примечания Н.В. Фридмана). Еще интереснее, что Пушкин собственноручно описал этот перевод Батюшкова под названием "Элегия" и, кроме того, вписал его в свой экземпляр "Опытов" (см. Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, 290-291; В.Л. Комарович. Пометки Пушкина в "Опытах" Батюшкова. — "Литературное наследство", No. 16-18, М., 1934, 902). Высоко был оценен этот перевод Батюшкова из Байрона и другими авторитетами — Белинским, Аполлоном Майковым и др. В том же 1819 г. Козлов начинает переводить "Абидосскую невесту", отрывки из которой появляются с начала 20-ых годов в разных журналах (полностью перевод был напечатан в 1826 г.; позже он испытывает себя и в переложениях ряда лирических стихотворения Байрона), а Николай Тургенев заносит в свой дневник (22 июля): "Теперь, читая la Renommée, я нашел артикль о Поэте Байроне, и в сей статье следующее:

"... Si, comme Rousseau, les hommes, le troublent, comme lui, il s'apaise en présence de la nature; il jouit à la vue de la mer, du ciel, des montagnes; il erre avec plaisir dans des bois sans traces ou parmi les ruines des anciens empires; il retrouve de l'enthousiasme pour la solitude, il en retrouve encore pour le génie, et surtout pour la liberté: la l i b e r t é est son idole" etc.

Неужели человеку остаются одним утешением не люди, но неодушевленная природа? ("Дневники и письма...", т. III, 1921, 201).

Наконец, видимо, в 1820 г. (так думают большинство исследователей) Жуковский переводит байроновские "Stanzas for Music" под названием "Песня" (*Отымает наши радости / Без замены хладный свет...*). Этот перевод, представляющий собой шедевр русской лирики и блестящий образец переводческого искусства одновременно, был напечатан в "Сыне Отечества" 1822, No. 15, 35 (Е.В. Петухов полагает, что и сам перевод был сделан в этом же году), см. Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского. Том 1. М., 1985, 602 (комментарии К.Н. Атаровой).

Но при некотором отставании с знакомством с Байроном во времени обращает на себя внимание быстрая реакция Пушкина, стремящегося, как можно скорее и полнее, восполнить пробелы в этом отношении. Вернувшись из Михайловского, где он провел вторую половину лета, Пушкин уже осенью того же 1819 года знакомится с Байроном — и по переводам (первым русским и прежде всего французским), и по рассказам и отзывам друзей, а в последней песни "Руслана и Людмилы" (поэма окончена 26 марта 1820 г.) уже можно видеть (несомненные, кажется) следы знакомства с Байроном (правда, высказываются и

соображения иного рода, см. *Б.В. Томашевский*. Пушкин. Книга первая (1813-1824). М.-Л., 1956, 364). Как бы то ни было, но лето 1820 г. на Кавказе и особенно в Гурзуфе (август — сентябрь) окрашено для Пушкина отчетливо байроновскими тонами. Он впервые подробно знакомится с произведениями английского поэта по двухтомному изданию "Choix de poésies de Byron, Walter Scott et Moore" (Genève — Paris, 1820) и при совместном чтении английского текста Байрона с Николаем Раевским, где последний был ведущим в языке (возможно, в отдельных случаях обращались за разъяснением сложностей в английском языке к Екатерине Николаевне Раевской, кстати, переводившей и Байрона и Вальтер Скотта на французский); о всех *pro* и *contra* этой ситуации совместного английского чтения, восстанавливаемой по разным (поздним) свидетельствам см. *В.М. Жирмунский*. Байрон и Пушкин. Л., 1978, 409-412 и др. Следы знакомства с Байроном скоро обнаружатся и в собственных текстах Пушкина — поэтических и "метапоэтических" (ср. признание автора: «"Бахчисарайский фонтан" слабее "Пленника" и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил...» или отрывок 1827 г. "Ни одно из произведений Лорда Байрона...", высказывания о Байроне в письмах и т.п.).

Известные переклички в "Братьях-разбойниках" с русским переводом "Шильонского узника", сделанным Жуковским, разъясняются на этом пути и дополняют объяснение Пушкина в письме Вяземского от 11 ноября 1823 г. ("Вот тебе и Разбойники. [...] Некоторые стихи напоминают перевод *Шильонского узника*. Это несчастье для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 1821 года"; русский перевод "Шильонского узника", над которым Жуковский работал с 4 сентября 1821 г. по начало апреля 1822 г., был опубликован в 1822 г.; кстати, перевод появился с посвящением "Князю П.А. Вяземскому"). Это произведение Байрона входило в "Choix de poésies", изучавшиеся Пушкиным в 1820 г. До осени 1822 г. Пушкин не мог читать перевода Жуковского: "Шильонского узника еще не читал", — пишет Пушкин из Кишинева Вяземскому в письме от 1 сентября 1822 г. (ср. также: "С нетерпением ожидаю Шильонского узника; это не чета Пери и достойно такого переводчика, каков певец Громобоя и Старушки", в письме Н.И. Гнедичу от 27 июня 1822 г.). См. *Б.В. Томашевский*. Указ. соч., 413, 457; *В.М. Жирмунский*. Указ. соч., 40, 54 и др.; ср. *В.И. Маслов*. Начальный период байронизма в России. Киев, 1915. Стоит напомнить, что в планы Жуковского входил перевод "Гяура" и даже "Манфреда". Наконец, в связи с "Шильонским узником" необходимо отметить еще два круга фактов.

Речь идет, в о - п е р в ы х , об очень существенной для Жуковского роли его личных впечатлений от посещения Шильонского замка (3 сентября 1821 г.). Они были изложены переводчиком в заметке, пред- посланной переводу, и в письме к великой княгине Александре Федоровне: "В тот день, в который я оставил Веве, успел я съездить на лодке в замок Шильон; я плыл туда, читая the Prisoner of Chillon, и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бонниварову, которую Байрон довольно верно описал в своей несравненной поэме" (Полн. собр. соч, т. XII. СПб, 1902, 17). Вторично посетив эти места в 1833 г., снова и более подробно описывает их, подчеркивая следы пребывания в них Байрона: "[...] Эти места напомнят тебе и Руссо, и Юлию, и Бейрона. Для меня красноречивы только следы последнего в Шильоне, на Бонниваровом столбе вырезано его имя, а в Кларане у самой дороги находится простой крестьянский дом, в котором Бейрон провел несколько дней и из которого он ездил в Шильон [...] По той дороге, по которой, вероятно, гулял здесь Бейрон, хожу я каждый день, или влево от моего дома к Шильону, или вправо через Кларан и Веве" (письмо к И.И. Козлову от 27 января 1833 г.). О роли Жуковского в ознакомлении с этими местами ср. письмо А.И. Тургенева Вяземскому от 9 июля 1833 г.: "Из своих окон Жуковский указал мне дом, где жил Байрон [...] Вечеру ездил в Шильон, сходил в его сырое подземелье [...] На одной из колонн в тюрьме вырезал свое имя; под ним русские читают имя его переводчика — Жуковский [...]" (см.: Переписка А.И. Тургенева с П.А. Вяземским, т. I. Пг., 1921, 236-237). — В о - в т о р ы х , речь идет об исключительно высокой оценке этого перевода Жуковского со стороны Пушкина, писавшего 27 сентября 1822 г. Н.И. Гнедичу: "Перевод Жуковского est un tour de force [...]. Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить. Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть...". Пушкину в этой оценке следовали и другие. Ср.: П.А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, 67 и др. (подробнее см. Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского, т. I, 602-606).

Байроновская тема, конечно, волновала Жуковского более всего на рубеже 10-ых — 20-ых годов, но познакомился он с Байроном, видимо, значительно раньше. Отчасти такой вывод можно сделать из письма С.С. Уварова Жуковскому от 20 декабря 1814 г. как бы в ответ на просьбу поэта к А.И. Тургеневу (письмо от 1 декабря 1814 г.) о присылке английских книг, обещанных ему Уваровым. Последний в свою очередь сообщает Жуковскому: "Надеясь на будущее с вами

свидание, ныне книг вам не посылаю [...]. Теперь у Англичан их [позтов. — В.Т.] только два: Walter Scott и Lord Byron. Последний превьщает, может быть, первого" (см. Русский Архив 1871, 0163). В недатированной записке А.И. Тургеневу Жуковский пишет: "Что же нет у меня Манфреда? Возьми его (если его отдал) у Козлова, также и Мазепу, и доставь [...]. Нельзя ли мне прислать всего Байрона своего на время?" (см. Письма В.А. Жуковского Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895, 309, см. также 133-134).

Тем не менее, несмотря на более раннее и основательное знакомство Жуковского с Байроном и два великолепных переводческих опыта, уже на первом этапе байронизма в русской поэзии никто, по сути дела, не оказался впереди Пушкина. Он и Жуковский шли здесь нога в ногу. "Кавказский пленник" появился в августе 1822 г. и, следовательно, лишь немного запоздал по сравнению с выходом "Шильонского узника". Зато за два года до этого Пушкиным была написана элегия "Погасло дневное светило...", позже помеченная как "Подражание Байрону" (ср. письмо Л.С. Пушкину от 24 сентября 1820 г.). Практическая одновременность "байронических" опытов этих двух русских поэтов не только сделала их лидерами байронизма в России, но и, по крайней мере отчасти, способствовала тому, что "через Байрона" они как бы сблизились на короткое время друг с другом и в течение нескольких лет воспринимались как поэты одного литературного направления. Крайними временными вехами периода, когда господствовали эти представления, можно считать, с одной стороны статью П.А. Плетнева в "Соревнователе" (1822, ч. 20, кн. 1, No. 10, 24-44), представляющую собой сопоставительный анализ "Кавказского пленника" и "Шильонского узника", и, с другой, письмо Вяземского А.И. Тургеневу от 26 мая 1824 г.: "Какая поэтическая смерть — смерть Байрона!... Вот случай Жуковскому [...]. Надеюсь и на Пушкина" (Остафьевский архив, т. III. СПб., 1899, 48-49). Эти же два имени (правда, с подчеркиванием различий) упоминаются и в письме Д.В. Дашкова Вяземскому от 24 июня 1824 г.: "Смерть Байрона поразила меня точно так же, как вас [...]. На Жуковского надеяться нечего; авось Пушкин [...] напишет что-нибудь достойное умершего" (см. М.И. Гиллельсон. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969, 45). Пушкин оправдал эти ожидания ("К морю" и др.; ср. в письме Вяземскому от 24-25 июня 1824 г. "тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии" и далее как отражение эволюции пушкинских взглядов на Байрона: "Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чильд Гарольда. [...] Его поэзия видимо изменялась. Он

весь создан был навыворот; постепенности в нем не было, он вдруг возрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые звуки его уже не возвратились [...], писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Твоя мысль воспеть его смерть в 5-ой песне его Героя прелестна — но мне не по силам [...]" и позднее: "Что ж, душа моя, твоя проза о Байроне? я жду, не дождусь" в письме к тому же адресату от 29 ноября 1824 г. или ему же от 13 июля 1825 г.: "и что твой Байрон или Бейрон"). В первую годовщину смерти Байрона он заказал обедню за упокой его души (см. письмо Вяземскому от 7 апреля 1825 г.). Смерть английского поэта оплакивал и приятель Пушкина П.П. Каверин, живо интересовавшийся западной литературой, в частности, английской (см. *Ю.Н. Щербачев. Приятели Пушкина* М.А. Щербинин и П.П. Каверин. М., 1913, 52 и др). Смерть Байрона как бы подвела итог ранней стадии знакомства с Байроном в России, ограничивающегося в основном узким кругом связанных между собой людей, и открыла доступ к Байрону и более широкому кругу интересующихся и, главное, людям разной эстетической ориентации. За полгода до 14 декабря Батеньков пишет своим друзьям А.А. и А.П. Елагиным (письмо от 23 мая 1825 г. Петербург): "В Грузии я довольно отдохнул и не скучал: прочел лорда Бейрона во французском переводе от доски до доски" (см. Письма Г.С. Батенькова, И.И. Пушина и Э.Г. Голля, 156).

Этот экскурс в область русского байронизма в связи с именами Жуковского и Пушкина имеет двоякую цель, — с одной стороны, показать "одинаковость", сходство, параллельность эволюции двух поэтов, с другой, выявить те узловые точки, где их пути начинают расходиться, и это расхождение становится для обоих поэтов осознанным и принципиальным. К рубежу 10-ых — 20-ых годов "побеждающий ученик" практически сравнялся с "побеждаемым учителем", который с этого времени перестает быть для своего младшего собрата по поэзии "проводником" в новые области, к новым поэтическим фигурам (характерно, что именно к этой поре "расхождения", к первой половине 20-ых годов, относятся критические, отчасти иронические, иногда и несколько раздраженные отзывы Пушкина о поэзии Жуковского ["Жуковской меня бесит — что ему понравилось в этом Муре? [...] пора ему иметь собственное воображение и крепостные вымыслы" — из письма Вяземскому от 2 января 1822 г.]; впрочем, пародийное *Послушай, дедушка, мне каждый раз...* относится еще к 1818 году). Описанная через отношение к Байрону (по преимуществу) динамика эволюции позволяет довольно точно представить то соотношение, которое было определяющим непосредственно перед этим периодом, т.е. в 1817-1819 годах, когда поэзия Голдсмита могла

попасть в поле зрения Пушкина. Несомненно, в эти годы в отношении суждений об английской поэзии и, в частности о Голдсмите авторитет Жуковского был значительно выше (и даже позже, в письме Вяземскому от 25 мая 1825 г. Пушкин скажет: "Но ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имел и не будет иметь слога равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный"), и именно Жуковский мог быть одной из тех наиболее вероятных фигур, которую допустимо подозревать во введении Пушкина в голдсмитовскую поэзию.

* * *

Здесь уместно сказать несколько слов еще об одной фигуре русского байронизма, объединяющей вокруг себя ряд рассматриваемых здесь тем, о человеке другого поколения и иной судьбы - Владимире Сергеевиче Печерине (1807-1885), будущем патере, *révérend V. Petcherine*. В "Замогильных записках" Печерин сам описал, как произошло его знакомство с Байроном и в какой контекст оно было включено. В мае 1818 г. ребенком вместе с родителями он путешествовал по бессарабской степи. Она произвела на него глубокое впечатление, и, предвосхищая Чехова, он описал ее ("Ничего не видно кроме неба и земли; колеса так и тонут в высокой траве. Едешь целый Божий день - ни жилья, ни души человеческой не встретишь [...] и т.п.). И далее - "В этой же степи года два позже - я впервые познакомился с Байроном, прочитавши обзор его сочинений в "Соревнователе просвещения и благотворения" [...]. Байрон тоже страстно любил пустыню и волю; но его идеалом - был океан. "Он был, о море, твой певец [...]". Иметь свой собственный корабль и на нем носиться по волнам неизмеримого океана не завися ни от каких властей земных - вот идеал Байронова блаженства! Я, не будучи моряком и не имея никакого понятия о море, любил безграничную свободу степи. Солнце восходит, солнце заходит, и ничего не видишь кроме голубого неба и зеленой земли. Но с какою-то непреодолимою страстью я стремился за заходящим солнцем: оно, как пламенный шар, тонуло в густой траве на самом краю горизонта - что-то непостижимое - какая-то странная любовь - тянула меня к нему ... Клянусь Богом, я не раз становился на колени, простирая руки к заходящему солнцу, молился к нему: "Возьми меня с собой! туда, туда, на запад!"

Солнце к западу склонялось,
 Вслед за солнцем я летел:
 Там надежд моих, казалось,
 Был таинственный предел.

(В.С. Печерин. Замогильные записки. М., 1932, 123) [позже автор убедится на личном опыте, что море вызывает в душе такие же чувства, как и степь, и свою первую встречу с морем (путешествие по Штранду от Мемеля до Кенигсберга в 1833 г., по пути в Берлин) он описывает в первом же письме из Берлина с теми же чувствами (и нередко сходными словами), что и степь: "На пространстве этих 7 миль не встретишь ни одного живого существа: только иногда покажется корабль на горизонте, или белая морская птица пролетит возле берега; вы целый день не слышите никакого звука, кроме однообразного звона вашего колокольчика и плеска волн ... Но с вами говорит море, говорит сама природа. [...]. Как хотелось мне в то время быть морскою птицею, свободно парящего над свободною стихиею [...]. Воздух морской имеет удивительное действие: он как-то удивительно освежает и облегчает человека: в нем вы пьете забвение всех забот жизни, пьете гордое сознание достоинства и свободы человека [...]" (см. М. Гершензон. Жизнь В.С. Печерина. М., 1910, 42-43). Море возвращает ощущение свободы еще в большей степени, чем степь; свобода манит и погружает молодого человека в мечтания ("Как же я проводил время в этой Комиссаровской пустыне? А вот как. Одним моим утешением был - географический атлас. Бывало по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картою Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия! Воображение наполняло жизнью это разноцветные четверугольники и кружки - эти миры, департаменты, кантоны. "Ach, wie schön muss sich's ergehen dort, im ew'gen Sonnenschein", а сердце на крылах пламенного желанья летело в эти блаженные страны, и Шиллерово Sehnsucht переливалось в русские стихи [...] - "Замогильные записки", 33). Эти мечтания уводят от родины и, каким бы реальным ни был их субстрат, поселяют иллюзию обретения абсолютной свободы только там, а в то десятилетие эта свобода говорила на языке Байрона или это так казалось юноше Печерину и не только одному ему. "Сколько здесь накопилось скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему оуружающему, ко всему родному, к целой России? Да из-за чего же было мне любить Россию? У меня не было ни кола ни двора - я был номадом, я кочевал в Херсонской степи - не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний, - родина была для меня просто тюрьмою, без малейшего отвращения, чтобы дышать свежим воздухом.

Неудивительно, что впоследствии, когда я выучился по-английски, Байрон сделался моим задушевным поэтом. Я напал на него, как голодный человек на обильную пищу. Ах! как она была мне по вкусу! Как я упивался его ненавистью! Как я читал и перечитывал его знаменитое прощание Англии: *Adieu, adieu my native shore!* [позже, в ночь перед отъездом из Риги, написав письмо на родину, Печерин закончит его словами из "Чайлд - Гаролда" - *Прости, прости, мой край родной! Ночь добрая тебе!* - см. М. Гершензон. Указ. соч., 41. - В.Т.]. Как часто я говорил с ним: "О быстрый мой корабль! неси меня, куда хочешь, то только не назад на родину!" Неудивительно, что в припадке этого байронизма, я написал (в Берлине) эти безумные строки:

Как сладостно - отчизну ненавидеть,
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь вчувствуйтесь в мое положение!" ("Замогильные записки", 34).

И сам пытаясь вдуматься в ситуацию, Печерин естественно и невольно одновременно обращается к сравнению жизни в России и в Англии. "Вот молодой человек 18-ти лет, с дарованиями, с жаждою знания, и вот он послан на заточение в Комиссаровскую пустыню, один без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни, без малейшей надежды в будущем. Ужасное положение! А вот вам и другая картина! В Англии, в Америке - молодой человек 18 лет, преждевременно возмужалый под закалом свободы, уже занимает значительное место среди своих сограждан [...] у него под рукою все подспорье цивилизации. Все пути ему открыты: наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь [...] - выбирай, что хочешь! нет преграды. [...] Он начинает дровосеком в своей деревушке и оканчивает президентом в Вашингтоне! А я - в 18 лет едва-едва прозябал, как былинка, - кое-как пробивался из тьмы на Божий свет, но и тут, едва я подымал голову, меня ошеломливали русскою дубиною" (там же, 34-35).

Море в мире природы, Байрон в поэзии, Англия в социально-историческом контексте сливались для Печерина с идеей свободы, а именно ради нее он и покинул Россию, предпочтя "почве" полную неопределенность и зыбкость ожидающего его будущего. Поэтому в

сентябре 1844 года, когда Père Provincial Бельгии де-Гельд, улыбаясь, спросил: "Как вам это покажется, если мы вас перебросим через канал в Англию? Согласны вы?", - у Печерина колебаний не было (To the west, to the west! to the land of the free", - вспомнил он слова американской песни). "Я душевно этому рад", - писал он позже. - "Новая более свободная жизнь миссионера, новый край, новые приключения и волшебное обаяние Англии - все меня туда влекло" (Там же, 158), и первые впечатления подтвердили правильность выбора. "Лондон изумил меня своею огромностью; тут все было колоссально величаво; это была неизмеримая *пустыня*, беспредельный океан [...]. В моей маленькой гостинице все мне казалось как-то знакомым: этот камин с пылающими угольями и четверугольным зеркалом и даже эта рыжеватая кошка, гревшаяся у огня - все это я прежде видел на английских эстампах [...]. Какая прелесть - Англия! Несмотря что это было в январе, светлая река Трент струилась между зелеными бархатными лугами, и тихо паслись *красные коровы*. Опять старое воспоминание! Опять английский пейзаж!" (159).

Это "узнавание" Англии через уже узнанные и усвоенные ее образы, в ситуации, когда образы, "изображение" первичны по сравнению с тем, образами чего они являются, с "изображаемым", с самой Анлией, которая, кажется иногда, нужна лишь для того, чтобы подтвердить достоверность ее образов, очень характерно для Печерина. Вот он едет в кабриолете с милой двадцатилетней девицей Каролиной. "Мы вместе восхищались прекрасным местоположением. Сверкающее море, холмы и долины, рощи и луга - все было облито ярким светом летнего дня. «Как мне знаком этот пейзаж, — сказал я, — мне кажется, я видел его где-то давно, давно - во сне или на яву, не знаю, но все это мне ужасно как знакомо: эти дубы и вязы, обвитые плющом, эти деревья, круто согнутые в одну сторону по направлению морского ветра, эти красивые домики с живыми заборами и розовыми кустами, даже эти красные коровы, все это я видел где-то и когда-то, да все и» - едва-едва не прибавил - «и эту милую англичанку, сидящую возле меня». Да, теперь помню: я видел все это в романах Стерна, *Гольдсмита*, Вальтер Скотта, в английских эстампах ... С самого детства я люблю Англию. Посреди русских степей в долгие зимние вечера я сидел и мечтал над картою Англии, следил за всеми изгибами ее берегов, внимательно рассматривал все эти разноцветные *ширы*, города, реки, бухты, заливы, и душа неслась туда, туда, в неведомую даль ... И вот мечта моя осуществилась и то, что мне грезилось во сне, теперь я вижу на яву!" (Там же, 116-117). Этот эпизод, относящийся к 1845 году, первому году пребывания в Англии, свидетельствует и о роли Гольдсмита в становлении образа

чужой, но желанной страны для Печерина, читавшего английского писателя еще в юности.

Понято, что в этом ряду имен нет Бацрона: сельские пейзажи "старой доброй Англии" (и, может быть, жизнь английских поселян угадываемая за ними) привлекают в этот момент Печерина, скорее уют, чем свобода; мир и спокойствие, а не титаническая борьба. Но дань памяти Байрону отдается тоже. В то самое лето 1833 года (еще во время первой поездки Печерина за границу), когда Жуковский из окна своего жилища указал Александру Тургеневу дом, где когда-то жил Байрон, и когда Тургенев "ввечеру ездил в Шильон", спустился в подземелье и на одной из колонн тюрьмы вырезал свое имя рядом с именем Жуковского, русского переводчика "Шильонского узника", и Печерин побывал в этом священном месте романтизма. "Вот, после 4-ехчасового подъема он с товарищами достигает вершины Кульма. Уже темно, столовая гостиницы ярко освещена [...]. Он садится подле трех молодых англичан, быстро завязывается знакомство, закрепляемое парой бутылок хорошего вина, - и за пуншем идет шумная беседа с песнями и смехом до двух часов ночи [...]. Вот он идет по Сен-Готардской дороге [...] вот он идет из Лозанны в Веве - «совсем так, как Руссо: пешком и в чудную погоду», вот из Веве с томиком «Новой Элоизы» в кармане идет в Кларан [...]. Вот *Шильон!* «там в подземелье семь колонн» - и имя Байрона выщарапано на одной из них" (М. Гершензон. Указ. соч., 55). Может быть, наряду с этими именами было записано и имя двадцатилетнего профессора Московского университета, поэта, человека, обольщенного свободой до той степени, когда он уже знал, что принесет скоро ей в жертву всю свою судьбу.

Что касается связей с Жуковским, то остается сказать, что *Чудная звезда светила / Мне сквозь утренний туман; / Смело я поднял ветрило / И пустился в океан .. или Не погиб я среди крушенья, / Не пришел еще мой час! / И среди бурного волненья / Мой светильник не погас!* - написано не Жуковским, как легко было бы предположить, но Печериным, вполне усвоившим уроки этого поэта.

Приложение IX.

Карамзин о деревне.

"Деревенская" проза Карамзина, по давней традиции, явно недооценивается; не учитывают ее программного и практического характера. В "Письме сельского жителя" и тем более в "Деревне" обычно склонны видеть только или главным образом идиличность (стоит напомнить, что три-четыре десятилетия спустя эту идиличность деревенской жизни открывает для себя молодой Гоголь; оказавшись на родине в Васильевке, он пишет другу Карамзина И.И. Дмитриеву в письме ок. 20 июля 1832 г.: "Теперь я живу в деревне совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Мне кажется, что он копировал малороссийскую деревню [...]"; но далее: "Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные"; ср. также деревню "благодетельного" помещика в "Выбранных местах") и не склонны замечать или должным образом оценивать "социальную" программу автора, которая, как бы ни подходить к ней, была продуманной и во всяком случае хорошо принимающей во внимание сложившиеся (к счастью или к несчастью) условия. Николай Тургенев, как и ранее его брат Андрей, не могли не ощущать общей направленности этой программы и чуждости ее им. Отсюда — постоянная полемичность по отношению к Карамзину в дневниках и письмах Николая Тургенева при глубоком уважении к нему, иногда восхищении и, еще важнее, ориентировании (или интерпретации) фактов своей биографии и жизненных переживаний "на Карамзина". Ср., напр., Архив..., вып. 1-ый, 131 (запись от 26 июня 1808 г.), 186 (запись от 18/30 сентября 1808 г.) и др., ср. еще 26, 282 и др. Уже в ранних записях складывается некий стереотип отношения к Карамзину (ср. запись от 9 ноября 1806, после того, как за четыре дня до этого в дневник вписан текст "Меланхолии" Карамзина: "Стихи эти мне понравились. Только можно бы про меланхолию сказать гораздо более и при всем том ненадобно называть ее утешением"), который позже и в отношении "социального" все более устрожается, и "крестьянская" программа Николая Тургенева строится как отчетливо "антикарамзинская". И в более поздние годы (1817-1820), в значительной степени определившие последующую судьбу Н.И. Тургенева, в его дневниковых записях "нейтральный" вариант карамзинской темы ("После Библ[иотеки] был я у Карамз[ина] и говорил с ним о финансах [...]", 4 января 1817; "Из клуба приехал я

домой читать Карамзина", 25 февраля 1818; "Сегодня по утру окончил 3 т[ом] Истории Кар[амзина] [...] Никогда не чувствовал я того, что чувствовал, читая описания несчастий России, тогда ее постигших [...]", 11 марта 1818; "Вчера были у брата Карамзин, Муравьев и проч.", 27 октября 1820) все чаще сменяется сомнением и несогласием с Карамзиным (ср.: "Вчера был я при заседании Арзамаса. [...] После заседания говорил я с Карам[зиным], Блудовым и другими о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят тоже [так! — В.Т.], что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и желать надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают — на время: но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое. Вопрос в том: должно ли то быть, что желательно? — Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действо? — Есть", 12 ноября 1816), а иногда и отчетливо "антикарамзинскими" выступлениями: "И этот Карамзин будет мне говорить: *si vous restez froid à ce recit, alors nous ne pouvons plus discuter!* — Он, который за 10 минут перед тем разговором своим поселил во мне непреодолимое чувство отвращения к нему. — Он говорит об Отечестве языком, для меня непонятным — и, по-просту сказать, он иногда пустомеля [...] Карамзин имеет хорошую сторону; но он с вчерашнего дня будет навсегда чужд моему сердцу" (31 декабря 1819 г.).

Интересно, что в названных выше "деревенских" произведениях Карамзина более или менее отчетливо ощущается явная или неявная ориентация на "английское" (иногда более общо — "иностранное"), ср. в "Письме" — филантропические Авторы, иностранные Филантропы, иностранные глубокомысленные Политики, мудрые Английские, Французские и Немецкие головы, иностранные путешественники, Йорики и т.п. Особенно показательны полемические отрывки, например:

Наконец — без всяких А н г л и й с к и х мудростей, без всяких хитрых машин, не усыпая земли ни золою, ни известкою, ни толчеными костями — смею похвалиться, что и друзья земледелия и друзья человечества могут с удовольствием взглянуть на мои поля, село и жителей его [...].

или:

Тем лучше! сказал я садовнику, и не думаю больше о лабиринтах. Поля и рощи служат для меня самым приятнейшим А н г л и й с к и м садом. Некоторые из здешних дворян жалеют о моем дурном вкусе: что делать? я люблю добрых, исправных земледельцев гораздо более садов, и не могу без вины наказывать их

трудами вымышляемыми прихотью. Одно нужное и полезное кажется мне хорошим.

Особенно любопытен один отрывок из "Письма сельского жителя", в котором рассказывается, что произошло после того, как было принято решение последовать рекомендациям "филантропических Авторов" (очевидно, и Голдсмита в их числе), благодетельным для английских условий жизни, но губительным для России:

Я вырос там, где живу ныне. Путешествие и служба совершенно раззнакомили меня с деревнею; однакожь, сделавшись рано господином изрядного имения, и будучи, смею сказать, налитан духом филантропических Авторов, то есть, ненавистию ко злоупотреблениям власти, я желал быть заочно благодетелем поселян моих: отдал им всю землю, довольствовался самым умеренным оброком, не хотел иметь в деревне ни управителя, ни прикащика, [...] и с удовольствием искреннаго человеколюбия написал к крестьянам: "Добрые земледельцы, сами изберите себе начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы и считайте меня своим верным заступником во всяком притеснении". Возвращаясь наконец к Пенатам родины, чтобы умереть там, где начал жить, я сердечно утешался приятною мыслию, что найду деревню свою в цветущем состоянии; как Поэт воображал богатые нивы, пажити, полные житницы, избыток, благоденствие и сочинял уже в голове своей письмо к какому-нибудь Русскому Журналисту о щастливых плодах свободы, данной мною крестьянам... Приезжаю и нахожу бедность, поля весьма худо обработанные, житницы пустыя, хижины гниущия!... С горестным удивлением призываю к себе стариков, которых имена были мне еще с ребячества памятны, — разспрашиваю их, и наконец узнаю истину! Покойный отец мой, живучи сам в деревне, смотрел не только за своими, но и за крестьянскими полями: хотел, чтобы и те и другие были хорошо обработаны — и в нашей деревне хлеб родился лучше, нежели во многих других; господин богател и земледельцы не беднели. Воля, мною им данная, обратилась для них в величайшее зло: то есть в волю лениться и предаваться гнусному пороку пьянства, дошедшему с некоторого времени до ужасной крайности как в нашей, так и в других Губерниях.

Отрывок " Возвращаясь наконец к Пенатам родины, чтобы умереть там, где начал жить, я сердечно утешался приятно мыслию, что найду деревню свою в цветущем состоянии, как Поэт воображал [...] и сочинял уже в голове своей [...] Приезжаю и нахожу бедность [...]" содержит те же, по сути дела мотивы, которые представлены и в "The Deserted Village":

In all my wanderings, round this world of care,
 In all my griefs — and God has given my share —
 I still had hopes my latest hours to crown
 Amidst these humble bowers to lay me down .

 I still had hopes, for pride attends us still
 Amidst the swains to shew my book - learned skill .

 I still had hopes, my long vexations past,
 Here to return — and die at home at last .

Но надежды обмануты: деревня разорена, опустошена, и крестьяне стали бедняками.

Ср. этот фрагмент в переводе "Опустевшей деревни", сделанном Жуковским:

Я в свете странник был, пещец уединенный!
 Влача участок бед, Творцом мне уделенный,
 Я сладкою себя надеждой обольщал
 Там кончить мирно век, где жизни дар приял!

 О, гордость!... Я мечтал, в сих хижинах забвенных
 Слыть чудом посреди оратаев смиренных.

 Так мнил я, переждав изгнанничества срок,
 Придти, с остатком дней, в свой отчий уголок!

К опустению и одичанию голдсмитовской "The Deserted Village" ср. у Карамзина: "Нет, нет! я никогда не буду украшать Природы. Деревня моя должна быть деревнею — пустынею. Дикость для меня священна" ("Деревня"). Там же присутствует и "английский" мотив:

"Теперь перебираю книги свои; нахожу Томсона — иду с ним в рощу, и читаю — [...] слушая разногласный шум листьев, столь

отличный от городского, Парижского, Лондонского шуму — погружаюсь в задумчивость, и потом снова берусь за книгу".

И.П. Смирнов

О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории

В книге исследуются три эпохи в развитии древнерусской культуры: раннее и позднее средневековье и XVI век. Автор выдвигает гипотезы о зарождении нескольких русских традиций, тянущихся вплоть до современности.

**WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
LITERARISCHE REIHE
HERAUSGEGEBEN VON AAGE HANSEN-LÖVE
SONDERBAND 28; WIEN 1991, ca. 220 S., DM 42.-**

Светлана Ельницкая

Поэтический мир Цветаевой:

Конфликт лирического героя и действительности.

Общая характеристика поэтического мира Цветаевой; Исходные смысловые инварианты; Описание неистинного мира и истинного мира; Конфликт лирического героя и "этого" мира; Общее описание ситуации "Лирический герой и мир"; Губительное воздействие "этого" мира на лирического героя; Страдание лирического героя в "этом" мире; Неприятие и отрицание "этого" мира лирическим героем.

**WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
LITERARISCHE REIHE
HERAUSGEGEBEN VON AAGE HANSEN-LÖVE,
SONDERBAND 30; WIEN, 1990, 396 S., DM 65.-**

Psychopoetik.

Tagungsbeiträge München 1991.

Inhalt: **A. Hansen-Löve**, Psychopoetische Typologie der russischen Moderne; **I.P. Smirnov**, Sadoavangard; **A. Thomas**, A Russian Oedipus: Lacan and Puškin's *The Queen of Spades*; **E. Greber**, Subjektgenese, Kreativität und Geschlecht in Pasternaks *Detstvo Ljuvers*; **R. Fieguth**, Zur immanenten Psychopoetik in Vladimir Nabokovs *Zaščita Lužina*; **W. Koschmal**, Die 'befleckte Empfängnis' Solomonijas; **D. Rancour-Laferrrière**, Why the Russian Formalists had no Theory of the Literary Person; **T. Seifrid**, Literature for the Masochist: "Childish" Intonation in Platonov's Later Works; **E. Naiman**, "Ne grešno li eto želanie?" Nakanune, Failure and the Psychopoetics of Literary Evolution; **P.A. Jensen**, Boris Pasternak als Ästhetiker im Sinne Kierkegaards; **J.R. Döring-Smirnov**, Gender shifts in der russischen Postmoderne; **W. Schmid**, Zur Entstehung der Bewußtseinskunst in der russischen Erzählprosa; **A. Flaker**, Psycholožestvo; Texte von **Vladimir Sorokin** und **D. Prigov** und weitere Beiträge von R. Lachmann, A.K. Žolkovskij u.a.

**WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
LITERARISCHE REIHE
HERAUSGEGEBEN VON AAGE HANSEN-LÖVE,
SONDERBAND 31; WIEN, 1992, ca. 400 S., DM 65.-**

WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH SONDERBÄNDE

HERAUSGEGEBEN VON AAGE A. HANSEN-LÖVE UND
TILMANN REUTHER

Еще в продаже:

14. **I.A. MEL'ČUK, A.K. ZHOLKOVSKY**, *Tolkovo-kombinatornyj slovar' russkogo jazyka / Explanatory Combinatorial Dictionary of Modern Russian*, 1984, 2. Auflage 1986, 992 S., öS 630.-, DM 90.-.
16. **I.A. MEL'ČUK**, *Poverchnostnyj sintaksis russkich čislovyh vyraženij*, 1985, 509 S., öS 350.-, DM 50.-.
19. **G. NEWEKLOWSKY / K. GAÁL**, *Totenklage und Erzählkultur in Stinatz*, 1986, XLVII+315 S., öS 200.-, DM 28,50.
20. **Mythos in der slawischen Moderne**. *Hamburger Kolloquium*. Herausgegeben von W. Schmid, 1987, 421 S., öS 300.-, DM 42.-
21. **Zabytyj avangard**. *Rossija - pervaja tret' XX stoletija*. *Sbornik teoretičeskich materialov*. Hg. von Konstantin Kuz'minskij, Gerald Janeček und Aleksandr Očereťanskij, 1988, 335 S., öS 300, DM 42.-
22. **J. FARYNO**, *Poëtika Pasternaka ("Putevyje zapiski", "Ochranaja gramota")*, 1989, 316 S., DM 58.-
23. **Marina Cvetaeva**. *Bibliografičeskij ukazatel' literatury o žizni i dejatel'nosti*. 1910-1941 gg. i 1942-1962 gg. Sost. L.A.Mnuchin, 1989, 151 S., DM 35.-
24. **Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin**. Edited by John E.Malmstad, 1989, 212 S., DM 35.-
25. **G. NEWEKLOWSKY**, *Der kroatische Dialekt von Stinatz*. *Wörterbuch*, 1989, 220 S., DM 42.-
- 26.1. **Ju.K. ŠČEGLOV**, *Romany I.II'fa i E. Petrova*. *Sputnik čitatel'ja*, 2 toma, 1-yj tom, *Vvedenie, Dvenadcat' stul'ev*, 1990, 377 S., DM 48.-
- 26.2. **Ju.K. ŠČEGLOV**, *Romany I.II'fa i E. Petrova*. *Sputnik čitatel'ja*, 2 toma, 2-oj tom, *Zolotoj telenok*, 1991, ca 330 S., DM 48.-
27. **B.M. GASPAROV**, *Poëtičeskij jazyk Puškina kak fakt istorii russkogo literaturnogo jazyka*, (Anfang 1992), ca. 420 S., DM 65.-
28. **I.P. SMIRNOV**, *O drevnerusskoj kul'ture, russkoj nacional'noj specifikje i logike istorii*, 1991, 296 S., DM 42.-
29. **V.N. TOPOROV, A.S. Puškin** i "Goldsmithiana", (Mitte) 1992, ca. 250 S., DM 58.-
30. **S. EL'NICKAJA**, *Poëtičeskij mir Cvetaevoj*, 1991, 396 S., DM 65.-
31. **Psychopoetik**. *Tagungsbeiträge München 1991*. Herausgegeben von A. Hansen-Löve, ca 380 S., DM 65.- (März 1992)
32. **Marina Cvetaeva**. *Stat'i i teksty*. Herausgegeben von L.A. Mnuchin, (Mai) 1992, ca 300 S., DM 60.-

Order from: A. Neimanis Buchvertrieb, Hans Sachs-Str. 10,
D-8000 München 5, Germany